



А. П. Богданов

Перо и крест

Русские
писатели
под
церковным
судом



Политиздат

Перо и крест

Русские
писатели
под
церковным
судом

А. П. Богданов

Перо и



КРЕСТ

Русские
писатели
под
церковным
судом

Глава I

«Молчи, отче!»

Глава II

ЖЕРТВЫ СМУТЫ

Глава III

РАСКОЛЬНИКИ

Глава IV

РАЗУМ ПРОТИВ
БЛАСТИ

Глава V

ДУХОВНОЕ ВЕДОМСТВО
ИМПЕРИИ

Москва
Издательство
политической
литературы
1990

ББК 86.1
Б73

Богданов А. П.

Б73 **Перо и крест: Рус. писатели под церковным судом.** — М.: Политиздат, 1990. — 480 с.: ил.
ISBN 5-250-00765-1

Корни громких политических процессов над инакомыслящими, имевших идеологическую и назидательную подоплеку, уходят в глубь веков русской истории. Стяжательствующее духовенство и Иван Грозный против монаха-проповедника Артемия; всеильный патриарх Филарет против поэтов князя Ивана Хворостинина и Антония Подольского; абсолютный монарх — „солнце” — Алексей Михайлович с сонмом русских и иноземных православных иерархов против протопопа Аввакума; сверхмощный карательный аппарат петровского государства и „мудроборцы” во главе с патриархом Иоакимом против просветителя Сильвестра Медведева — вот неполный перечень событий и героев книги.

Рассчитана на широкий круг читателей.

Б 0401000000-055 78-90
079(02)-90

ББК 86.1

Заведующий редакцией *О. А. Белов*
Редактор *Н. А. Баранова*
Младший редактор *М. В. Архипенко*
Художник *А. М. Горлаченко*
Художественный редактор *А. А. Пчелкин*
Технический редактор *Е. Ю. Куликова*

ИБ № 7879

Сдано в набор 19.10.89. Подписано в печать 16.03.90. Формат 70 X 108^{1/32}.
Бумага книжно-журнальная офсетная. Гарнитура „Сенчури”. Печать офсетная. Усл. печ. л. 21. Усл. кр.-отт. 43,05. Уч.-изд. л. 22,13. Тираж 100 тыс. экз. Заказ № 306. Цена 1 р. 60 к.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Текст набран в издательстве на наборно-печатающих автоматах.

Ордена Ленина типография „Красный пролетарий”.

103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

ISBN 5-250-00765-1

© БОГДАНОВ А. П., 1990

Предисловие



книге рассказывается о людях, которые искали пути духовного совершенствования, стремились познать и улучшить мир, а также о тех, кто старался им в этом воспрепятствовать. И те, и другие изначально принадлежали к сообществу верующих, русской православной церкви. Писатели, подвергавшиеся судебному преследованию, оставались в рамках христианского мировоззрения. Они не были еретиками, но они самостоятельно мыслили и в своих сочинениях отстаивали это право. Церковь как идеологическая организация, имеющая определенную политическую власть, стремилась ограничить свободу творчества, не стесняясь в выборе средств насаждения единомыслия. Высший эшелон церковной иерархии проводил такую политику последовательно на протяжении столетий. И дело вовсе не в моральных качествах или особом консерватизме православных архиереев (среди которых встречались весьма просвещенные и смелые в своих суждениях люди). Объяснение позиции церковных соборов, а позже Синода, осуществлявших суд над русскими

писателями, требует более широкого взгляда на церковную организацию как стабилизирующий фактор системы — в данном случае системы феодально-крепостнической, перерастающей в военно-полицейский, бюрократизированный абсолютизм Российской империи.

Дело не только в том, что русская православная иерархия была экономически связана с системой, получала значительную часть доходов от феодальной эксплуатации населения. Со времен принятия восточного христианства князем Владимиром церковная организация на Руси находилась под политическим влиянием светской власти, перераставшим в подчинение единодержавию по мере его становления и укрепления. Уже Иван Грозный терпел возле трона только холопов, без различия кафтанов и мантий. Иерархи, осмеливавшиеся протестовать против государственного произвола, заточались в темницы и истреблялись, как митрополит Филипп, патриарх Гермоген (уморенный боярами-изменниками в союзе с интервентами) и многие другие. Попытка Никона утвердить церковный суверенитет была подавлена мощной машиной абсолютистской власти царя Алексея Михайловича, а его сын — Петр I превратил православное духовенство в служащих духовного ведомства своей империи. С этого времени до 1917 года на деформированную церковную организацию были официально возложены охранительные функции.

Главы этой книги, посвященные конкретным людям и историческим событиям, отражают процесс втягивания церкви в государственную охранительную систему с XVI до начала XX века — процесс равно дра-

матический для русской церкви и российского общества. Единовластие требовало единомыслия — и оно при самом непосредственном участии государственной власти насаждалось в церковной иерархии и церкви в целом. Логика исконно противного человеческому духу авторитарного правления определяла философскую, моральную суть конфликта и его формы. Власть выступала против Человека, силилась наложить оковы на гуманистическую мысль. Ложь, клевета, пытки, послушные продажные и подставные судьи, другие подобные средства сокрытия от народа и искажения сути конфликта с писателем складывались в особую форму политического процесса для уничтожения инакомыслящих и воспитания у благонамеренных ненависти к „чужим”.

Церковное осуждение духовных и светских писателей всегда превращалось в идеологический и дидактический акт „отмежевания” от чего-то, якобы чуждого русской православной церкви, вредного и опасного для государства, а следовательно, и для каждого верующего. Духовное порабощение подразумевало воспитание чувства единства в одинаковости, превосходства этого единообразия над окружающим враждебным миром, насаждение ненависти и страха перед живущими иначе, постоянного поиска врагов-агентов: чуждых идей и чуждых людей. Мощь организации государственной церкви, последовательная трансформация ею христианского мировоззрения не могли не обеспечить успехов на этом пути. Недаром основанием для подавляющего большинства политических процессов на Руси были добровольные доносы.

Читатель этой книги, безусловно, задастся вопросом о причинах страха, почти патологического ужаса церковных и светских судей перед писательским словом, их стремления любой ценой и всеми средствами воспретить письменное или устное обращение подсудимых и осужденных к людям. Нет, организаторы политических процессов не были параноиками. Если они воспринимали листок исписанной бумаги как бомбу, то, очевидно, имели на это основания. Русская литература — духовная и светская, художественная и научная, поэтическая и прозаическая — заключала в себе неосязаемый, но могучий дух сопротивления, а затем и наступления на бастионы единовластия и единомыслия.

Слово истинного писателя, в самые тяжелые времена обращавшегося к лучшим сторонам человеческой души, находило отклик, переписывалось и распространялось, несмотря на все препятствия. Оно выражало и сберегало духовные ценности народа. Оно было идеалистическим, поскольку, не смиряясь с жизненной практикой, открывало человеку более совершенный мир. В то же время оно было реальным по своему противодействию существующему строю жизни, гармонично сливалось с глубинными народными идеалами правды и справедливости.

Донести это слово до читателя — важнейшая задача книги. Ее герои говорят собственным языком (лишь слегка адаптированным для лучшего понимания древних авторов современным читателем) — языком своих книг, поэм, писем, проповедей. По-своему примечательный язык и у антигероев — в доносах, поношениях и

проклятиях, судебных обвинениях и приговорах, секретных документах и расписках о заслуженной мзде. Жизнь и труды писателей — не просто наша история, опыт которой только начинает возвращаться обществу. Очень часто это живой урок человеческого поведения в антигуманных условиях, утверждения нравственных основ, форма которых исторична и личностна, но суть вечна. В судьбах писателей — главных героев книги — отразились важные исторические процессы, познание которых не только полезно, но и необходимо.

Содержащийся в книге материал позволяет увидеть закономерность осуждения накануне опричного террора и Великого разорения России монаха Артемия, смиренно проповедовавшего отказ от эксплуатации духовенством чужого труда, любовь к ближнему и духовное совершенствование в противовес стяжательству, ненависти, внешней обрядности. Человек, выступавший против охоты за „еретиками“, против беззакония и осуждения за мысль, сам был осужден. Его христианские идеалы были объявлены ересью — и вскоре кровь народа, да и духовенства, реками потекла по Русской земле во славу Ивана Грозного.

Может ли духовное лицо распалить народные страсти, призывая к кровопролитию? — задавался вопросом поэт и публицист князь Иван Хворостинин, воевода Смутного времени. Есть ли между врагами — католиками и православными — различие, которым можно было бы оправдать смертоносную ненависть? Мог ли избежать осуждения критик порядков и нравов, сложившихся в условиях массовых репрессий, гражданской войны и интервенции, перераставших в сражение за веру?

Критически мыслящий, отстаивающий свою точку зрения человек оказывался равно неуместен в духовном звании, при дворе и в административном аппарате. После Смуты реакция продолжала наступление, результаты которого сказывались на духовном здоровье народа, деформировали нравственные основы мировоззрения писателей. Если Артемий утверждал, что „еретиков ныне нет”, то Хворостинин в запальчивости бросал обвинение в ереси своим доносителям и судьям, а подъячий, поэт и книжник Антоний Подольский участвовал в церковном осуждении своих противников прежде, чем был осужден сам. Ограничение мысли, истребление духовности и насаждение нетерпимости все более сводили религиозную мысль к внешнему ритуалу и букве. Богословие окостеневало, противники уже не способны были слушать друг друга.

Осуждение Антония Подольского, пытавшегося бороться с общественными пороками, но зараженного нетерпимостью к инакомыслию, как бы предрекало судьбу „огнепального” протопопа Аввакума Петрова. Закономерен был раскол русской православной церкви, не нашедшей выхода из кризиса религиозного мировоззрения. Активнейшую роль сыграла в трагическом развитии событий светская власть во главе с царем Алексеем Михайловичем, подминавшая под себя остатки церковного суверенитета. Раскольниками были не только и не столько Аввакум и его соратники. Вышние иерархи русской церкви и преследуемые старовееры, приехавшие в Москву подлинные и мнимые архиереи с православного Востока и направлявшие их действия государственные чиновники — все объединили свои

усилия в смертельной вражде к инакомыслию и раскололи веками складывавшееся подлинное церковное единство, осветив свою пиррову победу кострами инквизиции и самосожженцев.

Поиск путей, основы для диалога, а не взаимоуничтожения, заставил настоятеля Заиконоспасского монастыря, историка, поэта и просветителя Сильвестра Медведева обратиться к рационализму. Каждый человек имеет право рассуждать самостоятельно, истина не зависит от воли и авторитета власти, заявил в своих сочинениях этот мужественный человек, нашедший поддержку у народа. Организация травли и осуждение Медведева как политического преступника, якобы желавшего уничтожить светскую и духовную власть, его казнь на Лобном месте показали бессилие церковной иерархии в открытой борьбе с новыми идеями и ее готовность спрятаться под крыло двуглавого орла.

Не только насилие Петра I, но и логика развития церковной организации в составе российского общества вели к трансформации ее в духовный департамент империи. И до этого церковные суды над видными мыслителями и общественными деятелями проходили при поддержке, участии и даже руководстве светской власти. С 20-х годов XVIII века церковный суд потерял и видимость самостоятельности. Осуждения и отлучения, запретительство духовной цензуры продолжались в XVIII, XIX и начале XX века уже как деятельность одного из государственных учреждений российской монархии. Для истории русской православной церкви синодальный суд малоинтересен, все более снижалось и его общественное значение.

А человеческая мысль все смелее двигалась по путям рационализма, отбросив, как это сделал М. В. Ломоносов, всякую заботу о соответствии знаний церковным установлениям. Своеобразный индифферентизм Ломоносова по отношению к церкви — сам по себе глубоко показательный — продолжался до той поры, пока чины духовного ведомства не мешали „приращению наук”. Попытка Синода осудить Ломоносова окончилась плачевно для духовенства, едко высмеянного замечательным поэтом и разоблаченным великим русским ученым.

Под эгидой самодержавия духовное ведомство все более и более „отступало из культуры”. Если в XVI веке Артемий пытался проповедовать гуманистические идеалы христианства в лоне церкви, то для Л. Н. Толстого утверждение любви к ближнему, человеческого равенства, отрицание насилия оказались несовместимыми с православием. Отлучение Толстого в 1901 году стало самоосуждением государственной церкви, завершающей строкой приговора, писавшегося ее преступлениями против человеческой мысли и человеческих прав и совершившегося над ней вместе с падением самодержавия.

Глава I

«Молчи, отче!»





ступая в Новое время, Европа освещала сумрак средневековья не только светом гуманистической мысли Возрождения, но и огнем десятков тысяч костров, сжигавших плоть еретиков, отступников, ведьм — на деле же силившихся уничтожить вольнолюбивый человеческий дух. Никогда еще христианские народы не вели между собой столь жестоких истребительных войн, никогда еще столь свирепо не избивали „внутренних врагов”. Католицизм и реформация, распавшаяся на отдельные потоки, терзали многострадальный континент, с особым изуверством преследуя собственных „уклоняющихся” адептов, „очищая” от них землю всеопалющим огнем аутодафе. В конце XV и начале XVI века инквизиционные костры запылали и в России, только что сплотившейся в единое государство. С этих пор один за другим следовали судилища над новыми и новыми еретиками, уничтожаемыми русской православной церковью хоть и в меньших масштабах, чем на Западе, но не менее беспощадно. Жестокостям религиозных конфликтов, одичанию церковных и светских властей и целых народов, орудиям пыток и пламени костров прстивостояли духовные искания, до сих пор поражающие гуманизмом, глубиной и смелостью нравственного чувства. Малочисленные и безоружные перед

сонмами палачей, с одним лишь пером в руках, подвижники человеческого духа воздвигались над кровавыми волнами своего века. Одним из них был русский монах Артемий.

Источников о его жизни сохранилось очень мало. Это — часть его сочинений, чудом дошедшая до нашего времени, доносы и другие материалы преследования его церковным судом, кратчайшие упоминания в летописях и сказаниях, а также высокие отзывы просвещенных современников. Из этих крупиц историкам удалось, однако, восстановить основную канву биографии Артемия¹. Мы же постараемся, наряду с внешними событиями, проследить внутреннюю жизнь литератора в России, последуем за его пером, тем более что далеко не все, записанное на толстой шершавой бумаге в XVI веке, устарело в наше „просвещенное время” (как называют свои времена современные уже несколько столетий). Мысли Артемия в религиозной форме — господствовавшей в то время форме мировоззрения — содержат легко читающийся общечеловеческий, безотносительный к какой-либо идеологии смысл, не требующий, на мой взгляд, особых пояснений.

Полагают, что Артемий родился в начале XVI века на псковской земле. Он не был свидетелем кровавой расправы над еретиками после присоединения Пскова к Москве, но вырос среди очевидцев этих событий. Артемий постригся в монахи в Печерском монастыре, что стоял в 56 верстах от Пскова на границе с Лифляндией. Духовным развитием Артемия руководил игумен Корнилий, „муж свят, и во преподобию мног, и славен” (по отзыву князя Курбского), проповедовавший столь ненавистное церковным властям и богатым монастырям нестяжание — отказ от имений (в 1570 году Корнилий был убит Иваном Грозным). Монахи жили трудом своих рук, стремясь к духовному совершенствованию и познанию. „Христово имя, — писал в одном из посланий Корнилий, — честнее всякого богатства”.

Честная жизнь и изучение святых книг считались в Печерском монастыре важнее соблюдения ритуала. Артемий читал много, не только Священное писание, но и произведения духовных писателей, таких, как Василий Великий, Исаак Сириянин, Иоанн Дамаскин, Григорий Богослов, Дионисий Ареопагит, Ефрем Сирин, Максим Исповедник, Максим Грек и другие. Любимым его русским богословом стал знаменитый подвижник Нил Сорский — проповедник нравственного совершенствования и аскетизма, нестяжательской скитской жизни, призывавший к соблюдению божественных заповедей для познания бога в себе самом, осторожному отношению к различным „писаниям”, которых „много, но не все божественны суть” и которые нельзя принимать на веру, без исследования. Артемий столь преуспел в книжных занятиях, что шел себя в силах отправиться в соседний ливонский город Нейгауз для публичного диспута с каким-либо „книжным человеком” (протестантом или католиком). Достаточно ученого богослова для диспута в Нейгаузе не оказалось, а игумен Корнилий смог беспрепятственно основать в этом городе православный храм. Характерно, что уже тогда Артемий ездил не обличать иноверца, а „поговорить книгами” с представителем иной церкви, поспорить с иной точкой зрения.

В 1536 году Корнилий благословил Артемия отправиться в Заволжье — средоточие нестяжательствующего монашества, ведущего скитскую жизнь, удалившись от соблазнов богатых монастырей. Пришелец поселился на Белоозере в Порфирьевой пустыни, где провел много лет, по завету Нила Сорского „умным деланием” — самой жизнью и напряженной духовной работой — утверждая свои идеалы. Здесь вокруг него сложился небольшой кружок учеников и последователей (куда входил, среди прочих, Феодосий Косой, будущий создатель „рабьего учения” городской и крестьянской бедноты). От книжной работы Артемия

этого времени сохранилась (чудом!) лишь одна рукопись — обширная Постническая книга Василия Великого с послесловием „многогрешного инока Артемия, написавшего книгу сию”.

Казалось бы, какое дело суетному стяжательскому миру, погруженному в свары и раздоры, до одного затерявшегося в заволжских лесах монаха?! Какое общественное значение могли иметь его скитское затворничество и аскетические раздумья над Священным писанием? Правда, Артемий имел учеников, сблизился с блаженным Феодоритом и другими видными заволжскими старцами, проповедовал словесно и письменно, приобретал все больший авторитет. Но Артемий остался бы малозаметным, если бы массы людей не видели столь явно отталкивающих черт господствующего богатого и жестокого иосифлянского (по имени духовного отца стяжателей — Иосифа Волоцкого) духовенства, не искали нравственного идеала, дававшего хотя бы проблеск надежды на более светлую и чистую жизнь. Слухом о человеке, живущем в соответствии со своей проповедью, наполнилась Русская земля. Духовнику царя Ивана IV протопопу Благовещенского собора Сильвестру не было нужды преувеличивать, когда он писал, что Артемий „всеми людьми видим был, и ближними, и дальними”.

Это были не пустые слова хотя бы потому, что протопоп Сильвестр решил использовать известность Артемия в своих целях, возвысив его, чтобы несколько ослабить позиции иосифлян среди церковных иерархов. Заволжскому старцу было послано из Москвы предложение возглавить Корнильевский монастырь в Вологде. Артемий не просто отказался, но „явственно” объявил себя противником монастырского землевладения, пояснив, что стяжатели не спасают свои души. Иосифляне это ему запомнили. Видимо, отсюда можно начать от-

счет борьбы могучей церковной иерархии и тихого старца из заволжской пустыни, среди трудов по пропитанию и молитв предающего литературным занятиям. Откроем единственное сохранившееся от этого времени письмо Артемия и посмотрим, о чем он думал². Я привожу слова Артемия отчасти в пересказе, отчасти в адаптированных цитатах, чтобы язык XVI века не создавал дополнительных трудностей для понимания смысла его проповеди.

Артемий отвечает на вопросы монаха одной из заволжских пустыней, обращаясь к нему и его братии. Прежде всего он выражает удовлетворение, что адресат понял необходимость исследования истины, и, извиняясь по обыкновению за свое малоразумие, предлагает собственное мнение по поставленным вопросам, разумеется не „из головы”, а по евангелию и отцам церкви.

Адресат „хотел бы ведать заповеди Господни”. Вопрос кажется наивным, но лишь на первый взгляд. Речь идет об основных жизненных установках, о том, в чем же суть христианства? На эту тему, справедливо замечает Артемий, сказано много и разнообразно. Он же формулирует основной закон жестко и афористично, исходя непосредственно из евангельского учения: „Первее всех заповедей есть — возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей мыслью твоей. Это первая и главная заповедь. Вторая же подобна ей: возлюби ближнего своего, как самого себя. На этих двух заповедях весь закон и все пророки утверждаются. И больше этой иной заповеди нет!” Все остальные слова Христа — лишь интерпретации и пояснения этих заповедей, исходя из уровня понимания слушателей. „Видишь ли, — пишет Артемий после своих аргументов, — как эти две великие все вместе заповеди в себе объемлют и затворяют и вновь две они воедино сливаются, ибо единой силой держатся...”

В „лукавое время”, когда христиане вставали друг на друга и истребляли друг друга во имя божье из-за неких различий в своих учениях, Артемий не просто отменяет все эти предлоги взаимоуничтожения, но подчеркивает слова апостола Иоанна: „Кто говорит: „Я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец”. Вера и ненависть к людям несовместимы. „И что много говорить?.. Сам Бог есть любовь”, только имея любовь, можно иметь в себе бога. Артемий отлично сознает, что человеку с таким сознанием нелегко жить среди современников, но настойчиво призывает адресата сосредоточиться на идее добра и несотворения другому того, чего не хотел бы себе.

Рассказав еще одну евангельскую притчу, Артемий прямо подчеркивает антииосифлянскую направленность своих убеждений, ибо „неудобь имущим богатство в царство Божие внити”. „Внимай опасно говорящееся! — обращается он к адресату. — Прежде всего требует Господь сохранять естественные заповеди, в законе писанные, чтобы удаляться от злых дел. Когда же достигнешь этой степени совершенства — Господь повелел раздать неимущим все достояние и следовать за ним не просто, но взяв крест — то есть быть готовым умереть за истину!.. Говорит бо сам: в мире скорби будете. Ибо обычай есть живущим временными интересами ненавидеть Христовых учеников. Потому что премудрость Божия супротивна мудрости мира сего. Совершенная премудрость, говорит апостол, — это не премудрость века сего, временных князей... ее никто от князей века сего не разумел!” Надо надеяться лишь на то, что напасти и бедствия не превзойдут сил верующего.

„Ты спрашиваешь, — продолжает проповедник, — как не заблудиться от верного пути?” Для этого Артемий советует следовать истинным божественным писаниям: как говорил еще Нил Сорский, „писаний много, но не все божественные. Ты же ищи настоящую истину

от чтения и бесед с духовными разумными мужами. Потому что не все, но разумные понимают”. Артемий обстоятельно поясняет, что есть истинный и ложный разум, „ибо всегда были пророки — и многие лжепророки, и когда явился Христос — многие лжехристы, и когда апостолы — лжеапостолы, вместо учителей — лжеучители, и когда законы здравые вкоренились — растленные супостаты всюду плевелы всеяли”. Так же и с книгами, в которых много человеческой хитрости и лести.

Только глубокое исследование Священного писания позволяет избежать заблуждений, распространенное же неведение его губительно. Здесь Артемий вполне согласен с реформацией (не вступая, впрочем, в прямой конфликт с официальной позицией православной церкви). Более того, он принципиальный противник веры „ради чудес”: „Ибо истинная вера от Священного писания, а не от чудес познается”. Чудо само по себе ни о чем не говорит, в конце концов, чудеса и знамения свойственны и лжепророкам. Чудеса, знамения, пророчества, откровения, нетленные много лет мощи — все это „бесовские действия”, если они не подтверждены совершенным следованием господним заповедям и плодами духа. „Не всяк, пророчествуя, преподобен, не всяк, бесы изгоняя, свят, но как Господь научил, сказав: от плодов их познаете их. И если некоего человека найдем благочестивого жизнью, просвещенного разумом, творящего господни заповеди по свидетельству божественных писаний, способного отличить лучшее от худшего и пекущегося ежечасно не о сей жизни, но о будущей... говорящего от избытка сердца — такой творит или не творит знамения — воистину свят есть, потому что действие Святого Духа в нем познается больше всех знамений и чудес! И хулящие такого ради его смиренной жизни — самого Святого Духа хулят, по Василию Великому: не подобает уничивать действующего благодатью Божиею в любом даровании, глядя на его бедность”.

Артемий, как видим, решительно отдавал предпочтение нравственному совершенству перед внешней атрибутикой. С этой позиции он взялся за острейший вопрос своего адресата: „О различии учителей и как тех слушаться подобает?” Вопрос этот прямо касался духовной власти, но заволжского старца не испугал, а обрадовал: „И о сем добре вопрошаеши! — пишет он, — ибо каков учитель, такие бывают в большинстве ученики его... и слеп слепа если поведет — оба в яму упадут, и свет миру учитель глаголется, и соль земли, и прочее”. Нам с вами в XX веке значение вопроса об идейном наставнике понятно еще более. Как же решал его Артемий? На мой взгляд, весьма поучительно.

Опираясь на авторитет Василия Великого, проповедник указал, что ученики должны знать Священное писание и постоянно согласовывать с ним слова своего учителя, то есть они должны исследовать истину, а не следовать за вождем. Двумя способами можно отличить волка в овечьей шкуре: по учению его и по жизни. Нет, Артемий не призывает к сопротивлению церковным властям, по крайней мере открытому. „Если мы видим священника, — пишет он, — ведущего нечистую и зазорную жизнь, хотя и праведно проповедующего евангельскую заповедь... не следует отказываться причащаться от руки его... благодать действует и недостойными”.

Но если священник неправедно учит — не следует уклоняться вслед за ним от истины. „И если такой проклинает или не благословляет — не будем печься о том, поскольку суд Божий тому не последует, по божественному Дионисию (Ареопагиту. — А. Б.). Тот пишет: прокляты уклоняющиеся от заповедей твоих, а не от человеческих преданий... Если кто учит не по заповеди Господней... желая быть хвалимым людьми и всем угождать, — по этому познается ложный учитель, учащий не от божественных писаний, но от своего умышления, по чьему-то желанию”.

У тех, кто внимал Артемьевой проповеди, вряд ли могли быть сомнения в том, что он обличает иносифлянских богословов, состоящих на службе единодержавной власти и богатой церкви, противопоставляя церковным иерархам заволжских аскетов, стремящихся возродить чистоту раннего христианства. Того, кто учит от Священного писания, утверждал Артемий, „если даже он нищ и неизвестен, достоин слушать: Божие глаголет, а не свое. Если же кто учит противно Богу, то есть покушаясь исказить его заповедь, или осквернить ее добавлением запрещенного, или обкрадывать ее обычаями человеческими (например, владением селами, легко догадывался читатель) — то пусть такой будет в славе и великом сане, мерзок должен быть каждому любящему Бога... Такие, говорил (апостол Павел римлянам. — А. Б.), работают не господу нашему Иисусу Христу, но своему чреву!”

Артемий утверждает, что нельзя просто повиноваться ни святителям, ни властям, ибо сказано: „Не будьте рабы человекам”, то есть не будьте рабами в духовном смысле. Апостол „не еже рабом быти возбрани, но еже в человеческия послушати и на всяко дело благо готовом быти. Ни бо раб человеку таковий, но Богу. И владыка несвободен, — писал Артемий, — если не управит себя по Богу жить, поскольку раб есть греху. Что в том, что он царь, а не может себя освободить от пламени греха и потопа страстей?!” Современнику, помимо морального урока, трудно было не увидеть здесь обличение отечественного царя Ивана, действительно тонущего в море страстей. И особо значимо звучал в завершении рассуждения призыв апостола к человеческому разуму: „Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни”. И в ином месте: „Хочу, чтобы вы были мудры во благо!”

После всех этих слов и у проповедника, и у читателей (да и у нас с вами) невольно закрадывается мысль о расплате за смелость. И действительно, Арте-

мий переходит к вопросу о суде. Как понимать выражение: „Не судите, да не осуждены будете”? Логично было бы предположить, что Артемий истолкует его буквально, как отрицание всякого права на суд человека человеком. Но заволжский старец гораздо тоньше: не судить запрещает господь, пишет он, а различает разные суды и суждения. Проповедник порицает крайние взгляды (распространенные, видимо, в нестяжательской среде), будто нельзя осуждать никого. А как же тогда устраняться от зла? — резонно замечает Артемий. Невозможно отказаться от спора, а следовательно, и от осуждения в области богословия, невозможно не отстаивать истину. Не следует лишь судить „прежде времени”, присваивая себе право решать человеческую судьбу.

„Возбраняет же апостол судить друг друга, — пишет Артемий, — в человеческих вещах, чтобы никто не осуждал по поводу еды, питья или праздника”. Следует лишь уклоняться от злых обычаев мира, уводящих от спасения души: „Что за пользу получит человек, — говорит автор словами апостола, — если весь мир приобретет, душу же свою погубит или даст измену за душу свою?” „Имея пищу и одежду, — призывает Артемий адресата и его братию, — этим довольны будем. Хотящие богатеть впадают в напасти и похоти многие, коие погружают человека в мятеж и погибель. Ибо корень всему злу есть сребролюбие, говорит божественный апостол. Усердно последуй божественным писаниям и их словами, как живой водой, напояй свою душу, и старайся насколько возможно действовать по ним. И обличать обидящего, — возвращается Артемий к теме суда, — надо благовременно, не страстью своего отмщения, но желанием братнего исправления”.

Автор не напрасно затеял этот разговор, поскольку среди заволжских аскетов появились крайние воззрения. Их носители считали необходимым жить в абсолютной чистоте и воздержании, принципиально осужда-

ли брак, заставляли братию жестоко ограничивать себя в еде и питье, утверждая, что только так можно спасти душу. Артемий видел в этом отклонение от гуманистических идеалов христианства и не мог не вступить в спор с братией.

Для монахов, давших обет чистоты, брак запрещен, пишет он, ибо это значило бы нарушение божьего обета, осквернение возводимого в душе храма. И все же „лучше жениться, чем разжигаться похотью”. Для мирян брак законен, по апостолу: „Честен брак и ложе нескверно. Только блудников и прелюбодеев судит Бог”. Лгут и лицемерят те, кто требует ограничивать себя в еде. По евангелию всякое создание божье хорошо, нет ничего, что было бы плохо само по себе; только тому, кто помышляет о чем-либо скверно, — томуто и вправду бывает скверно. „Не нечисто Божие создание, но мы немощны”. Недаром в правиле апостольском сказано: „Если кто брака, и вина, и мяса отрицается не ради воздержания, но гнушаясь — да отлучится”. Очевидно, что „не пища зло и питье, зло — объедение и пьянство, не женщина зло — но блуд”.

Духовная сторона жизни в проповеди Артемия, безусловно, превалирует над внешним благочинием. И в отношениях между братьями монахами он требует ни на миг не забывать главную заповедь любви к богу и ближнему. „Некушающий чего-либо кушающего да не осуждает, и кушающий некушающего да не укоряет... И еще: блюдите, чтобы власть ваша не была преткновением немощным. Да не погибнет немощный брат в своем разуме, когда за него Христос умер!.. Если из-за еды твой брат скорбит, то ты уже не в любви ходишь: царство Божие ведь не еда и питье, но правда, мир и радость о Святом Духе”. Христос „не заповедь положил есть или не есть, но всюду учил-стремиться к благу ближнего”, будь то еврей, грек или христианин, „ища не свою пользу, но многих, да спасутся”. Понятно, что, если твое поведение служит соблазном более

слабому духом, воздержись. Лучше вовеки не есть мяса, чем брата своего соблазнить.

В заключение Артемий подчеркивает различие между „законным писанием“, которое следует изучать и почитать: Библией (с деяниями и посланиями апостольскими), трудами св. отцов, апостольскими и соборными правилами (не всеми, но согласными со Священным писанием), — и литературой людского домысла (например, житиями, где описана девственная жизнь святых в браке, что не может быть правилом). Замечайте словопрение о внешних обычаях мудрым познанием божьего закона, призывает Артемий заволжских старцев и всех, кто мог прочесть его послание, и живите достойно евангелия!

Проповедь Артемия, порождавшая „неуправляемых“ верующих и явственно направленная против обычаев иосифлянского духовенства, завоевывала все большую и большую популярность. Дошла она и до царя Ивана Васильевича, еще не получившего прозвания Грозный и проявлявшего в это время особое рвение к религии (под влиянием жены Анастасии и духовника Сильвестра). При подготовке Стоглавого собора в начале 1551 года старец Порфирьевой пустыни был вызван в столицу. Он не участвовал в работе открывшегося 23 февраля собора, но охотно высказал царю и написал для собора свое мнение, в том числе о церковном землевладении: следует „села отнимати у монастырей“.

Во всей истории с вызовом Артемия явственно чувствуется рука протоппа Сильвестра, занимавшего довольно сложную политическую позицию и входившего в правительство компромисса. Так, по приезде Артемий не был сразу допущен к государю и именно Сильвестр получил якобы задание Ивана IV „смотреть в нем всякого нрава и духовной пользы“. Протопоп должен был убедиться, что заволжский старец не станет его

противником в духовном влиянии на царя, и во время беседы действительно не обнаружил у Артемия опасного честолюбия. „От уст Артемьевых учения книжного довольно мне показалось, — заявил Сильвестр, — и доброго нрава и смотра исполнения был”. К этому отзыву присоединился союзник Сильвестра поп Благовещенского собора Симеон.

В результате Артемий был допущен до беседы с царем. Полагают, что его рассуждения повлияли на формулировку Иваном IV девяти вопросов из тех, что царь поставил перед участниками собора³. Общение царя с Артемием, по замыслу Сильвестра, помогало уравновесить сильную позицию правого крыла стяжателей, позволяя самому протопопу, по обыкновению, лавировать близко к центру, не подставляя себя под удар. Однако закрепление влияния на царя такой сильной, хотя и не честолюбивой личности, как Артемий, не входило в планы Сильвестра. После единственной аудиенции воложский старец смог только написать царю письмо (несохранившееся). Не сохранилось и его послание участникам Стоглава, завершившегося, как известно, компромиссом в пользу иосифлянского духовенства.

Неожиданно было последовавшее после собора назначение Артемия на вакантное место настоятеля крупнейшего и богатейшего Троице-Сергиева монастыря. Интерес протопопы Сильвестра, выбивавшего у иосифлян важную должность, понятен. Сложнее понять мотивы нестяжателя, согласившегося возглавить братию одной из наиболее стяжательских обителей „по братскому прошению и по государеву велению”.

Однако Артемий согласился на столь значительную жертву не без условий. Прежде всего, к нему в монастырь был переведен выдающийся литератор и просветитель Максим Грек, находившийся после вторичного осуждения (за критические высказывания) в заточении в Тверском Отроче монастыре. Источники прямо говорят, что царь с согласия митрополита освободил Макси-

ма „по упрощению Троицкого Сергиева монастыря игумена Артемия” и дал престарелому писателю „место покойно... у живоначальной Троицы... у любезного твоего друга архимандрита Артемия”. Благодаря этому заступничеству Максим Грек прожил оставшиеся годы (он скончался в 1556 г.) „в великой чести и похвале”⁴. Именно у Артемия нашел пристанище близкий к нестяжателям бывший московский митрополит Иоасаф. Наконец, по ходатайству Артемия был назначен игуменом знаменитого суздальского Спасо-Ефимьевского монастыря блаженный Феодорит. Эти факты случайно получили отражение в источниках, и, вероятно, заступничество нового троицкого настоятеля за гонимых было значительно шире.

Артемий, разумеется, понимал, что ставит себя под удар, но отказываться от своих убеждений не собирался. Как выяснил советский историк С. М. Каштанов, за те полгода, которые Артемий продержался на посту настоятеля, Троице-Сергиев монастырь не принял ни одного земельного вклада, не совершил ни единой мены или купли. Легко понять ненависть к новому настоятелю, разгоравшуюся среди привычных к стяжанию и вольготной жизни монахов. Артемий был буквально окружен шпионами, ловившими каждое его слово и строчившими доносы. Опасность исходила и от братии, и от высшего иосифлянского духовенства, и от „друзей”, уговоривших Артемия принять должность, а ныне осуществлявших превентивные меры против возможного роста его влияния на царя. Протопоп Сильвестр и поп Симеон донесли Ивану IV на ученика Артемия монаха Порфирия, что он говорит еретические речи, а царь с этого времени „во учителя его Артемьи начал примечать по наречию”, то есть подозрительно относиться к словам троицкого настоятеля, которого только что „зело любил и многожды беседовал” с ним.

Сохранившееся среди сочинений Артемия „Послание к царю Ивану” очень хорошо показывает положение

ние, в которое попал настоятель Троице-Сергиева монастыря. Он отвечает на бранчивую, по обыкновению, царскую грамоту, содержащую плохо скрытый упрек и пугающую адресата поступившими на него доносами. Ответ Артемия смел и прям. „Совершение закону есть любовь, она закон весь и пророков содержит”. Гордец, отвергающий этот закон, никакими делами не достигнет спасения, ибо Христос требует веры, а не труда. Артемий поучает царя, что есть правая жизнь, о которой „Божественное писание всюду вопиет”, и правая вера, благодаря которой человек „внутри себя обретает Бога”.

Для испытания стойкости людей в вере всегда являлось множество „хульных и нечестивых уст”, клеветующих и приписывающих себе божественный разум. Надо идти мимо них — и они сами исчезнут без следа, разве в проклятии людей, увидавших безумие их, сохранится память о желавших „упразднить веру Божию своей самозаконной лестью”. Истине противятся люди, растленные умом, не познавшие веру, имеющие ее мертву или недейственну, а скорее, только мнящие себя верующими.

Посмеявшись над теми, кто хочет заменить солнце тусклым огнем своей необразованности, рассчитанной на прельщение „неутвержденных душ”, Артемий переходит к критике высказывания самого царя, порожденного, по его мнению, нашептыванием подобных лжеучителей. Иван IV „хотел бы уведать: как, читая Божественное писание, многие прельщаются в растленную жизнь или уклоняются в разные ереси?”

„Неправда! — отвечает Артемий. — Не от книжного писания прельщаются... но от своего неразумия и зломудрия”. Разумное чтение никогда не приносило вреда, но и возникающие иногда заблуждения нельзя сразу объявлять ересью. „Еретиком человека в первый и второй раз не называй, ведай, что кто совратился и согрешает, тот самоосужден”, его наказывает собственная

совесть, он „сам не рад, поскольку по пути смиренных не захотел идти, но тщеславием усладился, родителем гордости”.

Это был прямой вызов иосифлянам, жесточайше преследовавшим еретиков и требовавшим от светской власти беспощадного уничтожения инакомыслящих. Артемий не боялся показать, что понимает, откуда дует ветер. „И святителю, — пишет он, — не следует опускаться до невежествующих и заблудших, но в кротости наказывать. Это еще не еретичество, если кто от неведения в чем усомнится или слово просто скажет, желая найти истину, особенно о догматах или обычаях. Никто еще не родился разумным, но каждому слову необходимо учиться... от учения бо разум прилагается; недаром говорится о святых людях, что до самой смерти учиться подобает”.

Обращаясь к царю, Артемий просит его учитывать несовершенство человеческого ума и не спешить гнаться на кого-либо, „но как подобает православному царю с Христовой правостью, кротостью и осмотрительностью делать все”. Если стяжатели стремились представить малейшее разногласие как покушение на церковь и на самого бога, то Артемий утверждал: „Бог досаждаем не бывает; как говорит божественный апостол, что сеет сам человек, то сам и пожнет”. Виновным можно признавать только того, кто явно говорит против истины и не желает слушать никакого убеждения. Но и здесь автор призывает по-христиански „исправлять согрешающих духом кротости”.

Что же касается „наших ложных клевет”, то здесь Артемий бескомпромиссен. Он требует у царя праведного суда, „поскольку ты, православный царь, правду любить обещался Богу. Потому я и писал тебе, объявляя свое мнение. И если, государь, в чем погрешил я с моей точкой зрения, вели объявить мне, испытав перед собою божественным писанием, может быть не согласен мой разум с разумом святых отцов? Тогда я рад

каяться и прощения просить. И если, государь, как говорят многие, ныне нельзя жить по Писанию — пусть укажут нам, почему нельзя?!”

Артемий называет себя „грешником”, однако его смирение перед человеческим судом весьма условно. Недаром он вспоминает о Христе, который был готов пострадать: но горе тем, в руки которых предается страдалец! „Тебе, православному царю, — пишет Артемий Ивану IV, — недостойно предавать меня (казни) на основе неверных и ложно составленных клевет. То, что ныне мнится неведомо, — пророчески замечает проповедник, — со временем будет явственно, и ныне это разумные понимают”. Бог „видит ловцов, севших вместе с богатыми в засаду, чтобы убить неповинного”.

Доносчиков Артемий глубоко презирает, а в монашеском общезжитии подслушивать и передавать чьи-либо слова вообще считает беззаконием. Но чтобы вывести их на чистую воду, требует: „Вели, государь, тем под присягой сказать то, что тайно тебе говорили”. Праведный суд — божественное установление, и того, кто его не блюдет, не спасут ни службы, ни посты, ни прочие ритуалы.

Впрочем, по главному вопросу, реально стоящему за всевозможными мелочными доносами на Артемия, он хочет объяснить с царем, не дожидаясь суда. Артемий подтверждает, что он против того, чтобы монастыри владели селами — огромными накопленными ими земельными богатствами. Это его личное мнение, высказываемое открыто, однако он никогда никого не заставлял отказываться от владений насильно. Возможно, что-то Артемий говорил несвоевременно — чтобы монахам „жить своим рукоделием и у мирских не просить” — „но я истину говорил”!

В конце 1551 — начале 1552 года Артемий ушел из Троице-Сергиева монастыря в Порфирьеву пустынь, чтобы жить трудом своих рук и не видеть, как стяжа-

тельствующее монашество эксплуатирует массы крестьян. Из Заволжья старец пишет царю Ивану новое, еще более смелое послание. Российскому коронованному самодержцу, жившему в атмосфере постоянных и непомерных превозношений, Артемий сурово указывает на существование истин, безмерно превосходящих власть любого государя.

Мы лучше всего пойдем суть взглядов Артемия, если сравним его сочинение с посланием протопопа Сильвестра, написанным в 1550 году, во время его наибольшего влияния на царя⁵. У Сильвестра было не продажное перо, готовое хвалить и славословить когда и что угодно, им руководили острая мысль и сильная воля. И все же время было сильнее. Из-под пера Сильвестра текли уверения, что царь „Богом поставлен, и верой утвержден, и огражден святостью, глава всем людям своим, и государь своему царствию, и наставник крепок людям своим, и учитель, и ходатай к Богу“. Именно он своей душой отвечает за благополучие всего царствия и благоверие его населения. Именно он обязан пресечь инакомыслие, ибо „в твоей области, — писал Сильвестр, — православные веры толико множество божиих людей заблудиша“, процвели „ненависть, и гордость, и вражда, и маловерие к Богу, и лихоимство, и грабление, и насилие“, и прочие грехи. Назначение царя — защитить православную веру, „знать Господа и творить суд и правду посреди земли“, сочетая (неведомым образом) правду, кротость и неумолимость к врагам православия, в число которых автоматически попадали и еретики, и собственные „лихие люди“, и „страны поганские“. Даже призывая царя к нравственному усовершенствованию и борьбе с моральными пороками (в том числе с „содомским грехом“, весьма свойственным царю Ивану), Сильвестр нисколько не сомневается в его праве определять и карать „заблудших“.

Артемий же считает, что царю прежде всего не мешало бы познать истину. Довольно кратко поблагода-

рив Ивана IV за то, что он заступился за него против клеветников (и отметив, что считает недостойным радоваться их падению), заволжский старец пишет, что, „поскольку оскудели ныне духовные наставники, хочю подвигнуть твою царскую душу на изучение смысла божественных писаний — писаний истинно божественных”, а не новомодных мнений. Ведь многие „говорить дерзают так: „Не нужно ныне по Евангелию жить!” И от некоего епископа я, — пишет Артемий, — слышал: „Не получится ныне по Евангелию жить — род ныне слаб.” И такими растленными учениями и словами прельщаются многие”.

Проповедник восстает против мнения современных ему церковных учителей, которые сами, будучи незнающими, „хотят, чтоб и прочие остались необразованными, чтобы необличенной оставалась их злоба”. Они уверяют народ, что „Грех простым людям читать Апостол и Евангелие”, — так что многие боятся эти книги и в руки взять. Они говорят: „Не читай много книг, а то в ересь впадешь!” Если кто-то лишится рассудка, про него говорят: „Зашелся в книгах!” Наконец, про подвижников, стремящихся преуспеть в любви к премудрости, говорят: „Многие книги их в неистовство приводят!”

Между тем именно от невежества происходят всякие ереси, прелести бесовские и растленная жизнь, от него принимаются ложные книги, и монашеские басни, и уставы растленных умом людей, считающих приобретение корыстей благочестием. Если бы не разумел я твоего разума, пишет Артемий царю, не отважился бы поучать тебя. „Но если ты весьма верен и имеешь теплую любовь к Богу, неужели ты уже достиг совершенства?!” Его и святые в этом мире не достигли. „Ты скажешь: я царь и занимаюсь устройением людей. — Это похвально, если по Давиду царство устроишь. И он был царь, как и ты, только в Израиле, и пророческого дара удостоился не зря, но прежде постоянно изучая закон Господень...”

— Ибо сначала нужно понимать, а потом уже исполнять Господни заповеди, не прислушиваясь к развратным богокорчемникам и христопродавцам, особенно в наше время, когда животное мудрование всюду превозмогает... Но и их не следует преждевременно изничтожать. Учить следует, а не мучить!..”

Итак, никому не стыдно учиться, а царь учиться просто обязан. Артемий похваляет Ивана за грамотность и рекомендует прочитать давно посланную ему книгу, которую старцы Кирилловского монастыря взяли передать с оказией, да якобы „забыли” (а на самом деле отдали благовещенскому попу Симеону). Очень полезно было бы прочесть беседы Иоанна Златоуста. „И если хочешь проникнуться истиной, прочти со всяческим прилежанием просветительную книгу Василия Великого, не житие его, а его собственной руки писание... И не один раз прочти, не дважды, но многожды и не поверхностно. Если чего-то не можешь понять — молись Богу, чтобы вразумил тебя. Не стесняйся невежеством, со всяким старанием расспроси знающего. Подобаает ведь учиться без стыда, как и учить без зависти. Не научившись, никто не может что-то понимать... Там (в книгах. — А. Б.) все искомое тобой найдешь и будешь искусен слову правды. Насколько ты велик — настолько смиряй себя!”

О том, что царь должен быть „смирением сердца укреплен”, писал и Сильвестр, желая упрочить свою власть над духовным сыном. Артемий расходится с Сильвестром и в этом пункте, ибо призывает самодержца, во-первых, не считать себя средоточием истины в последней инстанции, во-вторых, учиться лично и „писанием проверять от учителей говорящегося”. Проповедь Артемия должна была вызывать недовольство не только у высших кругов церкви, но и у опаасающихся за свое влияние царских приближенных, тем более что слава заволжского старца на Руси росла.

Приходившие в Москву странники, писал участник событий, „хвалили Артемия, что его насильно царь-государь на игуменство взял, а он того избегал... не хотел славы мира сего. Побыл он на игуменстве и видит, что душе его не на пользу игуменство, и потому игуменство оставил, прислушавшись к себе, чтобы от Бога не погибнуть душой, совершать Христовы заповеди евангельские и апостольские, от своих рук питаться, обеспечиваться пищей и одежей”. Многим такое поведение Артемия „показалось добро”, и в Москве его хвалили, не зная, что приближают расправу над вольнодумцем.

Иосифляне не могли допустить продолжения проповеди старца и разговоров о том, что он „царя не послушал и отошел в пустыню от того великого монастыря из-за мятежных и издавна законопреступных любостыжательных монахов”. Недоволен был и Сильвестр. Не сразу, но постепенно наветы на Артемия разожгли злобу Ивана IV, который теперь уже, по словам А. М. Курбского, „ненависть на него имел, что не слушал его и не хотел быть на игуменстве в монастыре Сергиеве”. Нужен был только повод для предания Артемия суду — и такой повод был создан с обычным для властей искусством.

Летом 1553 года обнаружилось, что в Москве „прозябе ересь”⁶. Дело в том, что протопоп Сильвестр узнал о планах главы Посольской избы И. М. Висковатого и стоявших за его спиной Романовых избавиться от слишком влиятельного царского духовника, обвинив его в ереси. Обвинение планировалось не прямое. Главный удар предполагалось нанести по небогатому дворянину Матвею Семеновичу Башкину, чересчур вольно рассуждавшему о богословских вопросах и даже собравшему вокруг себя вольнодумный кружок. Поскольку Башкин нередко разговаривал с благовещенским попом

Симеоном (это был его духовник), а тот сообщал о его словах Сильвестру, на последнего падало подозрение в сочувствии Башкину, которого вспыльчивому и крайне боязливому Ивану IV могло оказаться более чем достаточно.

Сильвестр сумел опередить своих противников и в июне 1553 года сам донес царю „о новоявившейся ереси” Башкина. Обвиняемый был схвачен и брошен в подвал на царском дворе. Следствие над ним было поручено двум видным иосифлянам, врагам малейшего вольномыслия, стремившимся любой ценой добиться „нужных” показаний, в частности против Артемия. Сообщником Башкина объявил Артемия и Висковатый. Опоздав со своим доносом, он 25 октября перед царем и боярами обвинил вместе с Башкиным Артемия, Сильвестра и Симеона, а в ноябре подал Ивану IV докладную записку с перечнем „преступников”. Висковатый заявлял, что уже давно „с Башкиным брань воздвиг, слыша от него новые ругательные слова на непорочную нашу веру христианскую”. Однако не докладывал властям, „сильно ужасаясь и боясь лести и всякого злокозньства, потому что Башкин с Артемием советовал, а Артемий с Сильвестром, а поп Семен Башкину отец духовный”. Чтобы крепче привязать к своим обвинениям Сильвестра, Висковатый объявил еретическими иконы и всю роспись Благовещенского собора, сделанные под наблюдением протопопа. Здесь, однако, он перегнул палку, ибо дело о „новых” иконах задевало уже все руководство русской православной церкви.

Сильвестр вновь выпутался, с помощью митрополита Макария заставив Висковатого покаяться. 14 января 1554 года митрополит и освященный собор наложили на незадачливого доносчика епитимью (церковное наказание). Однако вслед за Башкиным Сильвестр и Симеон принесли в жертву монаха Порфирия, ученика Артемия. Стремясь доказать свою бдительность к ереси и откреститься от заволжского старца, они донес-

ли, что его ученик вел в 1551 году сомнительные речи. Более того, Сильвестр и Симеон по памяти записали слова Порфирия и представили как обвинительный материал царю и освященному собору, собранному против Башкина⁷. Обвинение ученику фактически было обвинением учителю — Артемию.

Еще более коварный ход против Артемия предприняли иосифляне, вызвав его в Москву якобы для того, чтобы „говорить книгами” с Башкиным⁸. Артемий с сопровождавшими его монахами (в том числе с Порфирием) приехал и остановился в Андрониковом монастыре. Он быстро понял, насколько благоразумнее оказался Максим Грек, отказавшийся приехать в Москву, чтобы не стать жертвой нового церковного процесса. Речь шла не о „разговоре книгами”, не о дискуссии, а об уничтожении инакомыслящего. „Ино то, деи, не мое дело”, — говорил Артемий своему ученику Леонтию, оказавшись перед необходимостью либо выступить обвинителем, либо стать жертвой обвинения. Артемий знал, что на него самого „наветуют”, „будто он не придерживается христианского закона”; до него доходили слухи, что против него говорит и Башкин.

Так оно и было. Сломленный ужасными пытками, Матвей Башкин вначале едва не лишился рассудка, „язык извезя, непотребное и нестройное говорил многие часы, и потом в разум пришел... и потом начал каяться... и свое еретичество, и хулы, и своих единомышленников написал своей рукой... и потом начал своих единомышленников перед царем на соборе с очей на очи обличать”. Среди прочих Башкин приписал „многие богохульные вины” бывшему трицкому игумену Артемию.

Верный своим убеждениям, Артемий не мог спастись, обвиняя другого человека, и, как сам не раз советовал в своих письмах, решил отойти от творящих зло, не спорить со „лжесловесниками”. Он молча собрался и ушел из Москвы в Порфирьеву пустынь. Этот

демонстративный шаг дался Артемию нелегко; он понимал: теперь его могут обвинить в том, что, чувствуя свою вину, он бежал от суда. „Я не ведаю, как быть”, — говорил он своему келейнику Леонтию перед уходом.

Худшие предположения Артемия оправдались. Его быстро выследили, схватили в Порфирьевой пустыни и вместе с другим монахом-нестяжателем, Саввой Шахом, заковав в кандалы, повезли в Москву как преступников. Новоявленного еретика должен был судить церковный собор во главе с митрополитом Макарием. В нем принимали участие видные деятели церкви: архиепископ ростовский и ярославский Никандр, епископы — суздальский и тарусский Афанасий, рязанский и муромский Касьян, тверской и кашинский Акакий, коломенский и каширский Феодосий, сарский и подонский Савва, а также архимандриты, игумены, протопопы столичных монастырей и церквей и случайно оказавшиеся в Москве лица из других городов. Подавляющее большинство судей (хотя, как мы убедимся, не все) принадлежало к лагерю иосифлян и было заранее уверено в вине своего идейного противника.

Вот как четко и определенно оценил состав и цели суда над Артемием выдающийся русский полководец и публицист князь Андрей Михайлович Курбский: „Любостязательные и всякого лукавства исполненные монахи... оклеветывают преподобного и премудрого Артемия, бывшего игумена Сергиева монастыря... будто бы он был причастен и согласен с некоторыми люторскими расколами... Тогда вмиг царь наш с преродивыми, отнюдь не искусными епископами, уверовал им и собрал соборище, отовсюду совлек духовных чиновников, и повелел привести из пустыни, оковавши, преподобного мужа Артемия, столь честного и премудрости исполненного, еще без очных ставок и суда... Ибо воздвигли гонения на того епископы богатые, любящие мирское, а также вселукавые и любостязательные монахи, чтобы не только не был в Русской земле этот муж,

но чтобы и имя его не именовалось! Причиной было то, что прежде царь его зело любил и часто беседовал, поучаясь от него; они же боялись, что (Артемий) вновь в любовь царскую придет и укажет царю, что как епископы, так и монахи с начальниками своими живут законопреступно и любостыжательно, не по правилам апостольским и святых отцев. Потому все это творили, замышляя и исполняя столь презлые дела свои на святых, чтобы покрыть злобу свою и законопреступления; потому тогда и других неповинных мужей помучили разными муками, научая клеветать на Артемия тех, кого добровольно не могли заставить: может быть, не стерпев мук, нечто произнесут”...⁹

Как обычно, картина церковного суда темна и во многом скрыта от глаз. Помимо свидетельства князя Курбского, мы располагаем кратким упоминанием о суде официальной Никоновской летописи (XVI века)¹⁰, соборной грамотой об осуждении Артемия, направленной в избранный местом его заточения Соловецкий монастырь, и двумя его собственными посланиями, характеризующими состояние духа писателя во время суда. Наиболее подробный источник — соборная грамота — откровенно тенденциозен. Обвинения против Артемия переданы подробно и полно, а его ответы обвинителям сокращены, местами вовсе опущены. Тем не менее и такой источник не мог скрыть факта моральной победы заволжского старца над своими судьями.

Используя имеющиеся у нас материалы, последуем вслед за закованным в цепи Артемием на антиеретический собор и попробуем приоткрыть завесу над происходившим в царских палатах, где вместе с духовными лицами заседал царь Иван, его родственники и бояре, обеспокоенные слухами о наводнивших страну страшных ересях: даже между ними, в Кремле, ходил чело-

век, хуливший Иисуса Христа, считая его ниже богатоца, тело и кровь Христову — святые дары — объявлявший простыми хлебом и вином. Матвей Башкин и его таинственные, но, конечно, многочисленные и страшные „единомысленники” отвергают саму церковь, утверждают, будто бы ее стройная иерархия — ничто, „только собрание верующих есть церковь!”. Иконы они называют окаянными идолами, в покаяние перед священником не верят, утверждая, что если человек перестанет грехи творить — на нем греха и не будет. Злодеи считают сочинения и жития святых баснями, а про участников семи святых Вселенских соборов говорят, „что все ради себя писали, чтоб им всем владеть, и царским, и святительским”; божественное писание, кроме Евангелия и Апостола, кличут баснословием — и все это якобы совершенно достоверно подтверждается свидетельскими показаниями и собственноручными признаниями Матвея Башкина и его выявленных сообщников!

Подготовленным таким образом участникам собора было доложено, что некоторые единомышленники Башкина „запираются”, не признаваясь в своих ужасных преступлениях перед православной верой. Такое вступление оказалось необходимым потому, что оговоривший Артемия Башкин на очной ставке не смог доказать „многих богохульных вин” заволжского старца. Конечно, протокол очной ставки, на которой „Артемий в тех богохульных винах неповинным себя сказывал” (и, по-видимому, говорил весьма убедительно), не был представлен собору. Это было невыгодно иосифлянам. В соборной грамоте отмечено лишь, что „о том писано в подлинном списке” (протоколе), до сих пор не найденном.

Вместо этого собору было подробно рассказано о бегстве Артемия от суда над Башкиным, причем показания давал Артемиев келейник Леонтий, который, как считает подробно изучавший эти события историк

С. Г. Вилинский, „по-видимому, под сильным давлением со стороны противной партии взял на себя роль шпиона”. Однако Артемий знал, что за ним давно следят, и был настолько осторожен даже с собственным келейником, что тот при всем желании не смог сообщить ничего серьезного.

Недостаток обвинительных показаний не смущал устроителей собора. Они уцепились за слова Артемия о „наветующих” (клеветующих) на него — и потребовали „дважды и трижды, чтоб (Артемий) наветующих поименно назвал” перед собором. Это было невозможно — ведь наветы делались тайно и нельзя было доказать, что именно тот или иной человек шептал на ухо митрополиту или царю. К тому же было весьма вероятно, что доносители сидели сейчас в составе судей на соборе. Удар был нанесен с тонким расчетом. Собор обвинил Артемия в том, что тот ушел из Москвы, точнее „сбежал безвестно”, не очистившись от „наветов” перед царем и митрополитом. В подтексте явно звучала мысль, что, таким образом, заволжский старец косвенно признал правоту обвинений, к которым устроители собора и перешли.

Дальнейшие события показали, что справиться с писателем, позволив ему говорить, не так-то просто даже всей своре иосифлян. Артемий не был сломлен, как Башкин, и держался перед судом с редкостным в те жестокие времена достоинством. Когда, писал Курбский, „Артемий был истязан и вопрошен, он, как неповинный, со всякой кротостью отвечал о своем правоверии; лжеклеветников же, лучше сказать сикофантов (доносчиков), спросили о доказательствах — они представили мужей скверных и презлых. Старец же Артемий отвечал, что они не достойны свидетельствовать”. Об отводе свидетелей обвинения соборная грамота не говорит ни слова, и далее ее составителям все чаще приходится использовать фигуру умолчания.

Иосифляне выпустили на арену своего верного пса, „наветчика главного, Нектария монаха, ложно клеветующего”, бывшего феррапонтовского игумена. Тот сразу выложил собору целую кучу обвинений: 1) „Артемий ему говорил о Троице, что в книге Иосифа Волоцкого (непререкаемого авторитета для стяжателей! — А. Б.) написано нехорошо”; 2) „Артемий еретиков новгородских не проклинает”; 3) он „латинян (католиков) хвалит”; 4) „поста не хранит — во всю четырехдесятницу рыбу ел да и на Воздвиженьев день у царя... за столом рыбу ел же”.

По первым трем пунктам обвинения Артемий ответил так, что даже господствовавшие на соборе иосифляне не смогли его ни осудить, ни даже записать ответов в соборной грамоте. Только из ответа по четвертому пункту они смогли извлечь некоторую выгоду: опуская объяснение Артемия о преимуществе внутреннего поста перед внешним, ритуальным, они записали в грамоте, что обвиняемый действительно нестрого соблюдал пост. Хотя это был лишь факт его жизни, собор обвинил Артемия в сознательном „соблазнении” людей к нарушению „божественного устава и священных правил”.

Видя малую результативность своих трудов, ретивый доносчик Нектарий продолжил „наветовать”: он утверждал, что „Артемий ездил из Пскова из Печерского монастыря в Новый городок немецкий (Нейгауз. — А. Б.) и там веру их восхвалял”. Артемий объяснил, что хотел спорить о вере, чего православная церковь никогда не запрещала. Тем не менее его обвинили под нелепым предлогом, что католичество-де „от православной веры отречено и проклятью предано”.

Нектарий и далее не унимался, возводил на Артемия „многие богохульные и иные еретические вины”, но обвинения были, видимо, еще нелепее, так что в соборной грамоте они не записаны, а ответы Артемия сведены к заявлению: „...теми богохульными и ерети-

ческими винами Нектарий меня клеветлет, я того не говорил и во всех тех делах неповинен!” Войдя в раж, клеветник стал ссылаться на свидетелей, которые должны были подтвердить его слова. По навету Нектария на собор были вызваны монахи Ниловой пустыни Тихон, Дорофей и Христофор Старый, соловецкий старец Иоасаф Белобаев и суздальский архимандрит Феодорит Соловецкий (о котором соборная грамота не случайно умалчивает). Феодорит прямо обличил Нектария как бесчестного человека, лгущего на невинного. „Тогда, — пишет Курбский, — епископ суздальский, пьяный и сребролюбивый, в ненависти первый, заявил: Феодорит — давний согласник и товарищ Артемиев, он, наверное, и сам еретик, потому что с Артемием в одной пустыни немало лет прожил”. Не испугавшись угроз, Феодорит стоял на своем. После собора он был лишен звания архимандрита и испытал в своей долгой подвижнической жизни еще немало преследований.

Показаний Феодорита не записали, но и другие призванные Нектарием свидетели единодушно заявили на соборе, „что они про хулы Артемия на Божественное писание и на христианский закон не слышали ничего; и поэтому, — с грустью сообщает соборная грамота, — царь и великий князь не казнил Артемия, потому что Нектариевы свидетели Нектариевы речи не говорили”. Чтобы как-то спасти лицо своего подручного, составившие соборную грамоту иосифляне внесли в нее бездоказательное, противоречащее предыдущему тексту заявление, будто участники собора „иных (каких?) свидетельств Нектария на Артемия не бросили, потому что Нектарий на Артемия иные (какие?) свидетельства привел”.

Главный „доводчик” на заволжского старца ушел с собора с позором, но у иосифлян была еще целая обойма лжесвидетелей и шпионов. В основном их состав поставил конечно же Троице-Сергиев монастырь. Его бывший игумен Иона донес, будто Артемий

„говорил хулу о крестном знамении, будто нет в нем ничего...”. Обвиняемый отрицал свою вину, но судьи постановили „в том верить Ионе”, не привлекая других свидетелей!

Затем троицкий келарь Адриан Ангелов донес, будто Артемий говорил еретические речи в Корнильеве монастыре, в келье игумена Лаврентия: „Петь панихиды и обедни за умерших — в том помощи нет, тем они муки не избудут”. Зная, что собор все равно постановит „верить Адриану” (даже не пытаясь расспросить Лаврентия), Артемий не удержался от объяснения своих взглядов, отличных и весьма опасных для позиции (и доходов!) официальной церкви. Он говорил „про тех, которые жили растленной жизнью и людей грабили, — что когда после их кончины начнут петь панихиды и обедни, Бог тех приношений не приемлет”, такие злодеи не спасутся от мук! Собор постановил, что, отнимая у богатых мерзавцев надежду откупиться от Страшного суда (а у церкви — деньги), Артемий впадает в ересь и должен быть наказан.

Третий троицкий монах — Игнатий Курачов подал письменный донос о слышанных им рассуждениях Артемия про канон Христу и акафист богородице. Суть их, как пояснил Артемий (ибо из доноса ничего нельзя было понять), состояла в том, что многие молятся праздно, поют „Иисусе сладкий” — а исполнение Христовых заповедей считают горьким, поют „радуйся, чистая”, — а сами чистоту не хранят. Это здоровое рассуждение, почти буквально повторяющее мысли Максима Грека, послужило поводом к обвинению, что Артемий „про Иисусов канон и про акафист говорил развратно и хульно!”.

Отводя все новые и новые обвинения, Артемий считал необходимым скрывать свои взгляды. Так, кирилловский игумен Симеон письменно донес царю, что, когда „Матвея Башкина поймали в ереси, Артемий молвил: „Не знаю, что такое ересь; сожгли Курицына

и Рукавого, и ныне не ведают, почему сожгли!” На очной ставке Артемий отрекся от своих слов о казненных новгородских еретиках, но игумен Симеон представил свидетеля — монаха Никодима Брудкова. Артемий вынужден был сказать, что не помнит, „так ли про новгородских еретиков говорил; я-де новгородских еретиков не помню и сам не ведаю, за что их сожгли; наверное, я говорил, что это я не знаю причину сожжения и кто их судил, а не то, что они (судьи) не знали (за что казнят)”.

Открывать собору в полной мере свои взгляды значило обречь себя на верную смерть. Артемий это отлично понимал и старался спасти себя и товарищей, многие из которых были схвачены и судимы на том же соборе (их „дела”, к сожалению, не сохранились). Так, когда Артемия вели из Кремля в темницу, он увидел своего ученика монаха Порфирия, которого вели в другое место заключения. „Благослови, отче!” — воскликнул Порфирий, и Артемий, скрывавший связь с Порфирием, не мог отказать ему в благословении. Это было доложено собору и поставлено Артемию в большую вину, тем более что краткий разговор единомышленников оказался весьма многозначительным.

„Отстаивать ли мне крепко свои взгляды против судей?” — спросил учителя Порфирий. „Молчи, отче! — ответил Артемий. — Наше дело плохо, сейчас не время спорить, и я молчать готов”. — „Я хочу все-таки стоять спорно”, — сказал Порфирий. „Молчи!” — произнес Артемий, и узники разошлись.

Давая совет молчать, говоря, что ныне не время спорить, Артемий заботился прежде всего о товарищах. Об этом говорят два его обширных письма, написанных во время суда. Антиеретический собор длился долго, общение между подсудимыми сурово пресекалось, за ними тщательно следили. И все же, используя

каждый удобный момент, закованный в кандалы и брошенный в темницу, старец урывками писал, ободряя и поддерживая товарищей по несчастью. Одно послание он адресовал группе заключенных, другое — сидящему отдельно человеку, надеясь, что они смогут обменяться этими „писанийцами”. На случай, если это не удастся, Артемий повторял основные мысли в обоих посланиях.

Имен или каких-либо примет своих адресатов Артемий ни разу не назвал, но для него лично письма, превратившиеся постепенно в обширные трактаты, представляли смертельный риск. Заполучив эти письма, освященный собор, безусловно, отправил бы автора на костер, как человека, с поразительной смелостью восставшего против господствующей церковной организации. Но Артемий руководствовался иными соображениями, чем личная безопасность: он выполнял свой моральный долг любви к ближнему, на деле воплощая проповедуемый им христианский идеал. Самые ранние из известных в России писем человека, судимого за убеждения, опирались на многовековую христианскую традицию и если не по форме, то по сути могли бы стать манифестом сотен тысяч будущих товарищей Артемия по несчастью.

Одно из писем Артемий начинает цитатой из Второго послания апостола Павла коринфянам (1: 1—7), просто и наглядно показывая товарищам значение их борьбы за истинное христианство. „Не хочу не видеть, братья, — пишет русский литератор, — что мы в скорби, что мы отягощены свыше сил и почти не надеемся жить. Но сами в себе мы несем отрицание смерти, ибо, не надеясь на себя, уповаем на Бога, оживляющего мертвых, который от совершенной смерти избавил нас и избавит, если есть воля его. Молитесь и вы за меня, ибо мне и жить с Богом, и умереть приобретение. Надеюсь, что не заставит нас Бог искутиться больше, чем сам подаст нам сил”. Именно своим любимым детям,

но не рабам Господь посылает многие муки, „они плачут — а мир смеется, они сетуют — а мир умащается, они постытся — а мир наслаждается; они днем трудятся и ночью себе на подвиг бдят, в тесноте, трудах и волнах скорби — а иные пребывают в трудах страстей своих; одни гонимы от людей — другие в бедах страстей от бесов; и сколько их было изгнано, сколько убито...”. Никогда путь господней любви не был легким, на нем не найти покоя и сладкой жизни.

Испытания на пути правды неизбежны, и пострадать за нее — великое благо. Распятие и смерть самого Христа, страдания апостолов и мучеников — великие символы тернистого пути к спасению человека. „Путь Божий — крест повседневный есть”. Так уж повелось, что борцов за правду, носителей истинных Христовых заповедей, мало, а последователей лжи много: „Если бы вы были от мира, — говорит Артемий товарищам словами Христа, — мир своих любил бы; а поскольку я избрал вас от мира к духовной мудрости — того ради ненавидит вас мир”. Умерший за спасение людей Христос недаром призвал: „Не бойтесь убивающих тело!” Крещение мучением и кровью, которое принимают верные, по уверению Григория Богослова, гораздо значительней и выше простого крещения.

Физические страдания и страх смерти занимают Артемия меньше душевных мук, которые он стремится облегчить своим товарищам. „Бога ради, — просит он, — не оскорбляйтесь и никакого смущения не имейте в скорбях наших, случившихся нам”. И в другом месте: „Молю вас, братья, не стыдиться случившихся нам скорбей и гонений. Это мнимое бесчестье — слава нам есть, неисповедимый Божий дар не только в Христа веровать, но за него пострадать!” „Воззрите, как в древности страдали пророки и апостолы, лжепророки же были почитаемы подобно нынешним лжеучителям, говорящим в угоду (нужным) людям”.

Заключенные ощущали мучительную несправедливость того, что их, христиан, судят в христианской стране, судит церковь, к которой они сами принадлежат и за которую готовы пострадать. „Не усомнимся о истине! — писал Артемий друзьям. — Хоть и христианами кажутся те, кто из-за слова Божьего мучает нас, — знайте, что плотское не приемлет духовного и не стоит удивляться им, глядя на самого Господа... который не от иноплеменников, но от родственных себе и представляющихся архиереями и книжниками предан был на смерть“.

„А что говорите, будто обесчестили нас и пустили о нас злую славу, — это бесчестие есть слава наша и очищение недостатков наших... Помните, как великий Златоуст был дважды изгнан и назван еретиком теми, кто тогда, как и ныне, казался правоверными и высочайшими деятелями церкви, помрачившими свое душевное око. Знаем наверное, что ни отлучению, ни разрешению неправедному суд Божий не последует, по словам великого Дионисия Ареопагита“. Также не следует отчаиваться, что осужденные, скорее всего, будут лишены церковного поминания (если не преданы проклятию). Бог не обидчив, утешает Артемий, и не забывчив, как человек: „Незабвенно от него все... Не забудем сказавшего: блаженны будете, когда возненавидят вас люди, и разлучат вас, и поносят, и отождествят имя ваше со злом... Если даже все осудят нас, как злодеев, и проклянут — это не беда для нас, остающихся православными христианами, более того, за слова Бога страдающими“. В бесчестии от мира мы победим мир, до конца претерпев свой подвиг.

Между судьями и подсудимыми есть огромное моральное различие: одни олицетворяют собой силу Зла, другие отстаивают непобедимость Добра. Здесь, а не в богословской казуистике истинная суть конфликта. Не может быть никаких распрей в Христовой церкви из-за мудреных толкований, когда весь божий закон

совершается в формуле: „Люби ближнего, как самого себя”. „Знает ваша мудрость, — пишет Артемий товарищам, — что никогда я не говорил и не сомневался в православной вере в святую единую Троицу, как некие лгут на меня. Слово мое всегда обращено к желающим спастись в заповедях Христовых, и то, что от невнимания к писаниям добавилось на утеснение жизни, я не одобряю”. Но еще Христос предсказал ученикам: „Придет время, и всякий, убивающий вас, будет думать, что служит Богу. Так будут творить потому, что не познали ни Отца моего, ни Меня. Словами говорят, что исповедуют Бога, а делают наоборот. Мои, говорил (Христос), овцы слушают голос мой, вещающий: „Учитесь у меня, который кроток и смирен сердцем, а не суров и бесчеловечен, и согрешающих исправьте духом кротости, а не ранами и убийством, темницами и узами...”

Нигде и никак, ни словом, ни знаком, ни лично, ни через апостолов не разрешал Христос мучить людей, пишет Артемий, подробно рассказывая товарищам о доброте сына человеческого и его апостолов, не свою искавших пользу — но многих, не губить людей пришедших — но спасти. Столь великого учения о любви и вытекающего из него самопожертвования „мир обычно не может вместить из-за неудобства их. Душевный человек не приемлет (человека) духовного, но считает за сумасшедшего. Потому пророки, прежде возглашавшие слово Божие, какие гонения от соплеменников приняли? Многие из них и уморены были различно, потомки же их (соплеменников) переполнили меру отцов и, премудрости Божьих тайн не ощутив, Господа славы распяли. Также и Стефана камнями побили, и самих апостолов изгнали. И после них бесчисленно оказалось мучеников за правду и за веру. Этого не довольно ли нам в утешение?”

Итак, по одну сторону находятся проповедники христианской любви к ближнему и гуманных запове-

дей — по другую мы „видим неких, не только не могущих слышать Божье слово, но умышляющих гонение на говорящих его и начинающих их убивать. Не говорят об этом явственно, — пишет Артемий об иосифлянах, — но лицемерно прикрываются ложной клеветой”, и объявляют, будто подсудимые в Христа не веруют, и приписывают им различные грехи. Если это верные христиане (на словах) — то почему они даже слышать слов Христа не желают? „Не явно ли здесь отпадение (иосифлян) от веры и прикрытие злобной зависти, от которой рождается убийство?! Притворным благочестием, делая вид, что отмщают за Бога, они свои страсти исполняют, поедая людей божиих вместо хлеба”.

„Эти окаянные и непосвященные... не только не пребывают в христианском учении, но не могут ни слышать о нем, ни без мучений терпеть” блюдущих христианские заповеди. „Если и лгут Христовым именем, то им как овчиной прикрывают хищность внутреннего волка, видную по их делам”. Антихристовым мучительством действуют над людьми церковные власти, пытками и гонениями желая „приводить в разум Божий. Но Господь велел учить, а не мучать непокаявшихся, как и слепых не мучат, но наставляют зрячие”. В страшный грех впадают российские гонители на христиан и готовят себе ужасную участь, сея по земле зло.

„Вспомните, — пишет из темницы проповедник, — слова Христа: „Дерзайте, ибо я победил мир”. Как же победил, — спрашивает Артемий, — может, оружием, или силой телес, или мучительством? Нет, не так! — Но благим злом победил!” И ваши мучения не напрасны, и мое страдание в язвах от железа не бесплодно — ибо мы отстаиваем в мире силу добра „и всем сердцем взыщем заповеди Христовы. И да не уstraшены будем гонением мирских властей и проклятий избранных ими по своим похотям ложных учителей не убоимся; не прельстимся их лестными благословениями, богатыми трапезами и прочими уловками мира (которыми обыч-

но увлекают темные не познавших света); но, неуклонно взирая на мужественную жизнь Иисуса, претерпим обрушившиеся напасти с радостью!”

Относительно участников освященного собора у Артемия к моменту написания писем не было никаких сомнений. Они „на убийство и изгнание устремляются царской помощью, как древние мучители, ничего иного не говоря, кроме как „еретик”, доказать же явственно не могут. Но, как у них в обычае, составляют ложные клеветы, и пишут неправды, и подкупают лжесвидетелей, и в качестве мзды обещают постыдную славу суетной их власти!”

Вместе с тем Артемий призывает попавших в беду „не возненавидеть творящих нам напасти”, но, „насколько хватает сил, любить и молиться не только за изгоняющих, но и за убивающих... Постараемся, елико можем, побеждать благим злом!” „Иначе, — спрашивает проповедник, — если и на сожжение отданы будем, какая будет польза в крови нашей?” Очень уместно автор подкрепляет идею искупления словами апостола, готового своей душой поступиться за распявший Христа израильский народ: „Свидетельствую за них, что ревность Божию имеют, но не по разуму, не зная Божией правды...” Утверждением этой правды должна была стать и судьба Артемия с товарищами.

Прожитой жизнью и тем, что им еще осталось прожить, должны они неизменно утверждать истинное учение Христовой церкви — соблюдение господних заповедей, внутреннее духовное совершенство, противостоящее „растленному житию”. Без него нет пользы ни от баснословных „нетленных” мощей, которым поклоняются, как идолам, ни от святых, которыми священники обманывают темных людей, будто бы кто-то может получить воздаяние на небе „ранее общего всем воскресения”. При „растленном житии” душу не спасет „ни вера правая, ни пост, ни молитва, ни жизнь в пустыни, ни долгое бдение, ни телесное страдание, ни цер-

ковное многоценное украшение, ни красивое пение, ни какое-нибудь другое видимое благочиние, ... ни духовное дарование, ни даже самое мучительство!”

Столь решительное предпочтение духовной сущности религии внешней обрядности, по существу, сведение христианства к гуманистическим моральным принципам, резко отличалось от практики всех христианских церквей того времени. Это был протест человека против царившего в мире насилия, еще не принявший крайней формы (как у ученика Артемия — Феодосия Косого и некоторых западных проповедников) и потому более опасный для господствующей церкви. Не надеясь на личное спасение, Артемий пытался по крайней мере спасти товарищей и вывести из-под удара основные идеи своего учения, которые, еще не получив широкого распространения, могли быть оболганы и осуждены собором. Литератор ощущал свою вину за слишком открытую и преждевременную проповедь, позволившую миру обрушиться на его идеи, боялся, что товарищи в горячности вынесут их на обсуждение собора, на съедение иосифлянам.

„Писано бо есть: время всякой вещи, что под небесами. А мы неосмотрительно духовные Христовы слова предложив плотски рассуждающим, страждем от них”, — писал Артемий товарищам. Ведь наше учение оказалось „как солнечный свет нездравым очам, гром немощному слуху, как твердая пища тем, кто требует еще молока”. Мы всегда готовы ко всякому ответу тем, кто ищет истину и вопрошает о нашем уповании с кротостью. Мы готовы, мысля самостоятельно и не принимая на веру ничего недоказанного, советовать друг другу и желающим учиться у нас, готовы спорить без ненависти, на общую пользу. Но пора извлечь урок из общения с борющимися против нас зложелателями, злобными в невежестве.

„Когда предательски поведут вас перед владыками и царем, — требует Артемий, — тогда не стремитесь

излагать учение, но отвечайте, сколько позволят. В тот час помните слова Григория Богослова: „Когда будешь приведен к Ироду, лучше не отвечай, всяк Ирод плотский и не приемлет духовного!” Видите ли, — продолжал Артемий, — что не по-отечески и не по-братски, не желая исправить, спрашивают, но как волки, прикрывшись овчиной, ищут нечто уловить от уст наших!

Храните себя, чтобы не возненавидеть и не досадить им, пусть слово ваше будет растворено силой Христовой любви в благодати Святого Духа. Ведь и сами мы когда-то были неразумны, непокорны, обмануты. Помните нас самих прежнее состояние, каковы были, когда не понимали Господних заповедей и здоровое слово представлялось нам соблазном. Подумав об этом, не удивимся о судьбах Божиих...”

Эта мысль излагается Артемием в обоих письмах как особо важный совет, наряду с призывом „крепиться до конца”. Его собственное смирение было, как видим, весьма относительным (на что он сам несколько раз сетовал), и при всей любви к ближнему церковные иерархи определенно выглядели в его глазах лжепастырями, а царь — Иродом. Однако нельзя не заметить, что изложенная в письмах позиция выглядит весьма благородно, а советы товарищам — разумно.

Смелые (а по тем временам — невероятно смелые) письма Артемия, рискующего умереть в лютых мучениях, лишь бы морально поддержать товарищей, не попали в руки иосифлян. Но к концу церковного процесса те нащупали слабое звено в самозащите заволжского старца, более всего боявшегося подставить под удар другого человека. Это обстоятельство судьи ловко использовали.

Из скудных сообщений соборной грамоты можно догадаться, что Артемия подробно расспрашивали, как он со своими взглядами согласился возглавить Троице-

Сергиев монастырь. Подсудимый откровенно отвечал, что не хотел этого, но испытывал сильнейшее давление (ведь такова была воля царя!). Стараясь избежать значения, он даже „отцу духовному сказывал свои блудные грехи”, но тот отказался их выслушать, заявив: „То переступи”. Поступив столь предусмотрительно в угоду царю, духовник на соборе отказался от своих слов, а Артемий, слишком поздно увидев, что из его рассказа делается донос, решил отступить, заявил, что говорил с другим попом, имени которого не назвал и был, разумеется, обвинен как самолично признавшийся в блудном грехе и пытавшийся обогать духовного отца.

Развивая этот успех, митрополит Макарий лично выступил на соборе с провокационной речью, излагая еретические взгляды Матвея Башкина и требуя от Артемия их осуждения. Даже в сжатом и, вероятно, искаженном изложении соборной грамоты духовное сопротивление митрополита и монаха сохраняет свой драматизм и поучительность. Подсудимый Артемий не только отказался встать в ряды гонителей Башкина, уже покаявшегося в ереси, но, рискуя быть обвиненным в единомыслии с „явным” преступником, мужественно поднялся на его защиту. Собор официально определил, что это усугубляет вину Артемия. Мы же приведем этот эпизод полностью как памятник победы человеческого духа над бесчеловечной машиной подавления инакомыслящих.

„Говорил митрополит Артемию: Матвей Башкин совершал еретические дела, отделил едиnorodного Сына от Отца и именовал Сына неравным Отцу. Говорил Матвей так: Если нагрублю Сыну, то на Страшном суде Отец может избавить меня от муки, а если нагрублю Отцу — Сын не избавит меня от муки. И молился Матвей одному Богу Отцу, а Сына и Святого Духа отставил. И иные хулы Матвеевы говорил митрополит Артемию, что во всем в том Матвей кается и все свои дела на соборе обнажил.

Артемий на соборе по этому поводу молвил: Все это ребячество, Матвей и не ведает того, что делал своим самосмышлением. А в Писании того не обретається и среди ересей того не написано!

Митрополит сказал: Прежние еретики не каялись — и святители их проклинали, а цари осуждали, заточали и казням предавали!

Артемий молвил: За мной посылали судить еретиков — и мне не судить еретиков так, чтобы казни предать. Да ныне еретиков нет и в спор никто не говорит.

Да митрополит же говорил: Написал Матвей молитву к единому началу, написал одного Бога Отца, а Сына и Святого Духа отставил.

И Артемий молвил: Зачем было ему это врать? Ведь к Вседержителю есть готовая молитва Манассии?!

Митрополит молвил: То было до Христова пришествия, а кто ныне так напишет к единому началу — тот еретик.

Артемий ответил: Та молитва Манассии написана и в Большом нефимоне, и говорят ее (она действительно была вполне ортодоксальна, чего иосифляне не знали по необразованности. — А. Б.).

И митрополит говорил Артемию: Будешь еси в чем виновен — и ты кайся!

Артемий сказал: Я так не мудрствую, как на меня говорили, все это на меня лгали. Я верую в Отца и Сына и Святого Духа, в Троицу единосущную”.

Поведение Артемия, еще более разжегшее злобу его врагов, оказало и положительное влияние на участников собора. Касьян рязанский и „некие епископы оправдывали его, зная как человека честного”. Собственно, еретичество Артемия не было доказано, большинство „вин” приписывалось ему вполне голословно и те лица среди высшего духовенства, которые считали необходимым руководствоваться справедливостью, склонялись в пользу подсудимого. Но иосифляне, составлявшие большинство освященного собора и имевшие

на своей стороне Ивана Грозного с его духовником, добились вынесения обвинительного приговора.

С огорчением констатирует соборная грамота, что „царь и великий князь Артемью казнь отдал”, то есть не пошел на запланированное иосифлянами убийство заволжского проповедника. Зато огромный по объему приговор Артемию вместил столько злобы, настолько ярко показал страх господствующей церковной организации перед словом писателя, что заслуживает подробного изложения.

Местом заточения Артемия был назначен один из отдаленнейших монастырей — Соловецкий. Узник должен был „пребывать внутри монастыря с великой крепостью и множайшим хранением, быть ему заключенным в одиночной келье молча, чтобы и там от него душевредный и богохульный недуг ни на кого не распространился. И да не беседует ни с кем, ни со священниками, ни с простыми этого или иного монастыря монахами. Нельзя ему письменно обращаться ни к кому, или учить кого, или другое мудрование иметь, или к кому-либо послание посылать, или от кого-либо послание принимать, или слово, или любую вещь, ни лично, ни через других.

Запрещено с кем-либо сообщаться и дружбу иметь. Никому не сметь ходатайствовать за него. Он должен только затворенно и заключенно в молчании сидеть и каяться в прелести еретичества своего, в коее впал, чтобы обратиться к истинной вере православия и никто чтоб от него не погиб (то есть не научился Христовым заповедям. — А. Б.).

Поэтому на него наложены соборные узы: быть ему в отлучении от церкви и необщении совершенно, пока не обратится от своего нечестия, и вконец покается, и воистину исправится — тогда относительно него все совершится по церковным правилам. Для этого повелеваем дать ему одного от достоверно-православных монахов пресвитера, чтобы исповедовался ему и каял-

ся. Этот священник пусть смотрит и испытывает, и если его покаяние истинно — извещает настоятелю монастыря Филиппу (Колычеву. — А. Б.). Сам ты, игумен, его время от времени наказывай и поучай от божественных писаний всему полезному к его обращению.

Если (Артемий. — А. Б.) будет жить прилежно и трудолюбезно, ему разрешается причаститься в болезни при смерти, а если выздоровеет — пусть опять пребывает без святого причастия, только перед смертью пусть причастится.

Книги для молитвы и чтения разрешено давать только те, что повелит митрополит с освященным собором, дабы обращался к Богу и каялся от бесовской прелести его нечестия. От прочих книг любых его удерживать, с великим опасением блюсти и не рассуждать, как он окаянно рассуждал.

Подобает внимательно и рассудительно испытывать и досматривать, как он (Артемий) живет: истинно ли и необманно обращение его к православию, имеет ли плоды духа, свидетельствующие к спасению, сокрушенное сердце, смиренный разум, прилежное покаяние и исповедание”.

Казалось бы, приговор содержал уже все меры против Артемия, но беспокойство иосифлян не утихало. Они боялись, что слово проповедника смутит даже его крепкую стражу и вырвется из каменного мешка. Осудившие Артемия никак не могли остановиться, изливая в приговоре свои опасения и страхи.

„Самому стражу, к нему (Артемию) приставленному, следует с великим опасением соблюдать себя от него, чтобы не быть поврежденным. Также и священник пусть соблюдает себя твердейшим по вышеуказанной причине, что он должен приходить и принимать исповедь заключенного. Следует и за этими строго смотреть, чтобы не вынесли от него никому ничего или от кого-нибудь к нему ничего не принесли, не дали или не послали что-либо, нигде, никогда, ни к монахам, ни к мирянам.

Все, что делает Артемий, настоятель монастыря должен истинно сообщать архиепископу Великому Новгороду и Пскова Пимену, а тот пусть отписывает обо всем к царю и митрополиту, никоим образом ничего не скрывая, хорошего или плохого”.

Соборная грамота пространно обещает, что покаяние Артемия может быть рассмотрено на соборе, кой будет собран повелением царя Ивана, если это покаяние будет истинным, в чем составители грамоты явно сильно сомневаются. Средства к покаянию еретика указаны: это жесточайшее заключение и максимальные утеснения, „пока не обратится и не покается”. Иосифляне, как, впрочем, и многие их преемники на ниве искоренения инакомыслия, не видели противоречия в своем желании вырвать искреннее покаяние силой.

Характерно, что, дважды предписав меры по пресечению распространения слова Артемия, церковные иерархи продолжали бояться, что этого недостаточно. Составители соборной грамоты сами уверовали в невозможность заткнуть Артемию рот. В третий раз обратившись к необходимости заставить Артемия молчать, грамота обрушилась на „тех, кто вопреки нашей заповеди и запрету к нему дерзнет или писания посылать, или беседовать, или учиться, или как-либо иначе (!) приобщаться, явно или тайно.

Таковые все, — угрожала грамота, — если и в величестве кто будет, или властью, или саном почтен, от православного... царя... и митрополита, и от всего великого божественного (!) собора будут без всякого сомнения и доказательства сочтены единосветниками и единомышленниками его (Артемия) и осуждены тем же судом как богохульные единомышленники и поборники, которых следует ненавидеть совершенной ненавистью”. Обосновали ненависть иосифляне повелениями Священного писания и святоотеческих сочинений. Особенно разителен контраст гуманных рассу-

дений Артемия с толкованием иосифлянами слова божьего как обоюдоострого меча для „разделения души и духа, членов и мозгов”.

Все заподозренные в сочувствии Артемию должны были быть отлучены от церкви; „если же и далее будут непослушными, не утрезвятся и не уцеломудрятся, тогда духовными мечами да рассекаемы будут, а от... царя... законную казнь примут”. Так кончалась соборная грамота против Артемия, подписанная 24 января 1554 года. В это же время были осуждены на заточение Савва Шах, Порфирий Малый и другие, имена которых не сохранились. В ереси, несмотря на заступничество епископа Касьяна рязанского, был обвинен Иоасаф Белобаев, осмелившийся выступить на соборе против клеветы на Артемия. Преследование учеников и близких к заволжскому проповеднику людей продолжалось: в 1554—1555 годах расследовалось „дело” Феодосия Косого, в 1556—1557 годах состоялся процесс учеников, монаха Ионы и попа Аникея Киянского. „В страданиях наших сообщником” Артемий называл также монаха Игнатия¹¹. Дальнейшие сведения о церковных судах потонули в страшной волне репрессий, захлестнувших все сословия Российского государства.

Иосифляне недаром беспокоились, что им не удастся замкнуть человеколюбивую проповедь Артемия в каменном мешке темницы. Слабым местом начинающих инквизиторов была неоднородность рядов деятели русской православной церкви, среди которых были люди, считавшие заточение Артемия несправедливым, способные воспринять его призыв к гуманности, духовности и самопожертвованию. Одним из таких благородных и честных людей был, как известно, Филипп Колычев, настоятель того самого монастыря, куда в оковах и под стражей был доставлен Артемий. Впоследствии, будучи митрополитом Московским и всея Руси,

Филипп мужественно встал на защиту христиан от опричной резни Ивана Грозного и был убит по приказу царя, дав своей пастве яркий пример самопожертвования, вполне в духе проповеди Артемия.

Весьма вероятным выглядит предположение выдающегося русского историка А. А. Зимина, что именно Филипп содействовал побегу Артемия из темницы. Действительно, трудно себе представить, чтобы без помощи влиятельного лица заключенный смог покинуть беломорскую твердыню и в 1555 году добраться до самой Литвы, до города Витебска, где он встретился с Феодосием Косым, бежавшим туда же вместе с учениками. Так или иначе, успешное бегство Артемия свидетельствует о том, что решение собора не оттолкнуло людей от еретика, его никто не выдал на всем огромном пути от Белого моря до литовской границы. К великой злобе Ивана Грозного и его иосифлянского окружения, Артемий свободно продолжил свою литературную деятельность в соседнем государстве с многочисленным православным населением (на Украине и в Белоруссии православие преобладало).

О пребывании Артемия в Витебске уважительно отозвался Андрей Венгерский, знавший также, что некоторое время спустя русский монах нашел приют в Слуцке у князя слуцкого и копильского Юрия II. Захария Копыстенский уже в начале XVII века писал, что Артемий „с Божьей помощью в Литве от ереси арианской и лютеранской многих отвернул” и принес огромную помощь православию¹². Между прочим, он порекомендовал князю Андрею Михайловичу Курбскому собрать библиотеку греческих и латинских святоотеческих сочинений и организовать их перевод на церковнославянский язык, общий для русских, белорусов, украинцев и православных литовцев. „Беседа о книжных делах” с „блаженные памяти преподобным исповедником Артемием”, писал Курбский ученику заволжского старца Марку Сарыгозину, заставила про-

славленного полководца изучить латынь, помогла приохотить к наукам князя Михаила Оболенского и других, широко организовать перевод книг, проявляя „любовь к единоплеменной России, ко всему славянскому языку”.

Устная и письменная проповедь Артемия в охваченном религиозным разномыслием великом княжестве Литовском оказывала большое влияние на людей, воспитывая их прежде всего в духе терпимости к чужому мнению, приучая спорить в поисках истины, а не уничтожать друг друга. Письма Артемия пересекали границы и в списках проникали в Россию. Переписанные многократно, они имели долгую жизнь и использовались, например, в Поморских ответах старообрядцев (XVIII век)¹³. Аргументированная и последовательная защита православия в этих письмах полностью опровергает обвинения Артемия в еретичестве, брошенные на освященном соборе в Москве.

Из творчества Артемия литовского периода сохранилось девять обширных посланий, свидетельствующих о его высоком авторитете среди представителей разных вероисповеданий. Два послания являются частью переписки со знаменитым несвижским типографом кальвинистским пастором Симоном Будным, „возлюбленным братом”, „обогащенным наивысшим смыслом и разумом”, которого Артемий кротко уговаривает отказаться от ложного учения и которому мягко, но убедительно указывает на ошибки в вышедших изданиях. За разъяснениями православной точки зрения по целому ряду вопросов обращался к Артемию смущенный лютеранской проповедью князь Черторыйский, аналогичное письмо по другим вопросам получил от старца князь Курбский. Артемий имел столь высокий авторитет, что к его разуму прибегали и неправославные. Убедительный ответ Артемия получил, например, влиятельный литовский сановник кальвинистского вероисповедания Евстафий Волович,

не сумевший самостоятельно разобраться в одном из посланий Симона Будного. Обращался к Артемию и упитский староста Иван Зарецкий. Полемическую переписку, представлявшую собой публичный спор (ибо письма переписывались и распространялись в списках), Артемий вел с лютеранскими проповедниками и с Феодосием Косым.

Характернейшая особенность посланий Артемия и его проповеди в целом проявлялась уже в обращениях к адресатам. Сколь бы ни был жарок спор, автор постоянно подчеркивает свою любовь и уважение к оппоненту и утверждает свою позицию не иначе, как серьезными доказательствами. „Возлюбленным братом и во всех страданиях сообщником” называет Артемий принципиально разошедшегося с ним во взглядах Феодосия Косого. Артемий спорит не с проклятым кальвинистом, а с „возлюбленным братом Симоном”. Лютеранские учителя для него — „друзья”, „братия моя”, „братья возлюбленные”.

Даже оскорбления, сыпавшиеся на него, Артемий старается обратить в шутку. „Слышал, — пишет он лютеранским проповедникам, — что, укоряя, назвали вы меня старым псом. Это правда, ибо пес, слыша незнакомый голос, не перестает лаять, пока не увидит, кто это там не дверьми желает войти в храм господина его; так и я пострадал”. Главный противник Артемия — не те или иные толки в христианстве, даже не явные ереси (с которыми он последовательно полемизировал), а подрывающее основу христианства бесчеловечие к инакомыслящим. „Словом только христиане, а делом варвары, — сетует проповедник в письме к Евстафию Воловичу. — Но и среди варваров такого ругания христианам не бывает!”

Окруженный всеобщим уважением, старец Артемий мирно скончался в Слуцке в начале 70-х годов. Он не дождался наступления католической реакции, обрушившейся на Речь Посполитую и великое княжество

Литовское вслед за проникновением туда ордена иезуитов. В России, где церковь столь неосмотрительно взращивала религиозную нетерпимость, уничтожение инакомыслящих приняло вскоре массовый характер. Волна еще невиданного в истории террора против собственного народа, когда царские опричники уничтожали верноподданных христиан целыми городами, селами и уездами, потопила в крови и русскую православную церковь. Ни монашеское одеяние, ни священнический сан, ни высшая архиерейская должность не служили защитой от царских убийц. Лучшие полководцы, государственные деятели, литераторы-книжники, представители духовенства были уничтожены. Подвергнутая Великому разорению, страна в буквальном смысле слова обезлюдела, братоубийственное кровопролитие расшатало складывавшиеся веками моральные ценности. Религиозная нетерпимость достигла апогея, когда в начале XVII века православие и католичество столкнулись в огне Смутного времени и реки крови пролились с обеих сторон, осененных знаком креста.

Глава II

ЖЕРТВЫ СМУТЫ





астлеваемо было богатство, оскудевали красота и слава, отринута от любви человеколюбия уходило с земли нашей родовое владычество, оскудели города, оскудели люди. Не оскудела мерзость, и вырос плод греха, взошло дело беззакония, и возненавидели друг друга, и умножились среди нас падения...”

За Великим разорением на Россию надвигалась Смута — время гражданской войны и иностранной интервенции, когда полки неприятелей проскакали по могилам казненных самодержцами полководцев до Волги, когда разоренный и вымирающий от голода народ восстал на своих правителей, а те погрязли в междоусобии и в погоне за призрачной властью готовы были продать страну иноземцам, когда мужественные и честные не знали, на чьей стороне правда, когда лютые преступления против человечности ежеминутно множились и те из духовных пастырей, кто не предал, призывали к массовому человекоубийству во имя господина... Страшна была война, и не менее страшное наследие оставила она в душах людей.

„Что творите, окаянные?! Сотворите едино покаяние, познайте прегрешения ваши, помилуйте наготу свою! И ни один не покаялся, не нашел в себе хоть малого смирения”, — автор остановился, прозревая

страшную участь Российского государства. Так древле Адам, преступивший божью заповедь, был извержен из рая, потому что „не покаялся к Творцу своему и Создателю, да победит грехи покаянием. Если бы сначала смирился — не навел бы всему роду своему напасть!” Но человек ничему не научился и вместо того, чтобы с раскаянием заглянуть в собственную душу, всюду ищет виновных: объективные обстоятельства, происки тайных врагов...

Человек отложил гусиное перо и отошел от резной дубовой конторки, на верхней крышке которой лежала стопа чистой немецкой бумаги. Лишь несколько листов были свернуты в тетрадь; на верху ее первой страницы значилось: „СЛОВЕСА ДНЕЙ, И ЦАРЕЙ, И СВЯТИТЕЛЕЙ МОСКОВСКИХ”, а под заголовком мелкое: „Сие князь Иванова слогу Андреевича Хворостина”.

Мелкие частые окошки освещали богатую горницу новопостроенного княжеского терема. Лучики света искрились на золотом шитье покрывавшей стены парчи, заставляли гореть гасившее звук шагов малиновое сукно на полу. За окнами сверкала свежим деревом омытая недавним дождиком восставшая из пепла Москва, плыли в голубом небе светлые кресты церквей, не успевшие потемнеть от непогод. В мягких, тисненой кожи цветных сапогах и длинном широком домашнем кафтане из тонкого узорчатого бархата князь медленно мерил шагами расстояние от низкой, с тяжелым засовом двери до рукописи на конторке. Со двора, через круглые в свинцовом переплете стеклышки окон, смутно доносился голос супруги, распекавшей дворню. Назойливо гремяло воронье, гоняемое холопами от жита, еще не сложенного в амбары.

Макнув перо в неистребимые, несмываемые темно-коричневые чернила, князь Иван Андреевич Хворостинин начал новую строку: „Я же, сколько слышал и сколько видел, никак не могу утаить”. Он писал, обра-

щаясь к читателю с просьбой верить ему: „Страна Русская и преславный град Москва свидетель словам моим!“ Главное, думал князь, писать без „рассечения“ правды на упрощенные односторонние взгляды и оценки, не скатываться к голому обличению и восхвалению, продуктам нетерпимости. Воспоминания о Смуте должны быть уроками, а не приговорами.

Итак, страшный голод начала века. Во главе государства — захвативший власть царь Борис Годунов, из бояр. Человек незнакомый с книжным учением, но талантливый. Жалея гибнущих подданных „благоразсудным милосердием“, он приказывает кормить людей государственными запасами зерна, раздает деньги, „оскудевая собственные сокровища“, совершает подлинный подвиг человеколюбия. Превосходя в милости всех прежних владык, Годунов создает даже специальные команды для христианского погребения погибших от голода.

Годунов был „лукав нравом и властолюбив“, но в то же время — великолепный строитель, украсивший города; он укротил лихоимцев, завоевал авторитет в мире и мудростью „как добрый гигант облекшись, принял славу и честь от государей“. Однако правил он, разделяя и сталкивая людей. „И озлобил людей своих, и поднял сына на отца и отца на сына, сотворил ненависть и коварство в домах подданных“. Годунов поднял рабов на господ, подневольных „рабочих людей“ на свободных, столкнул знать и администрацию, низверг и погубил великое множество „благородных“.

Конечно, не деятельность Годунова, а страшные последствия Великого разорения вели страну к Смуте, но Хворостинин верно заметил, что правление Бориса обострило социальные противоречия (достаточно вспомнить указы о закреплении крестьян и законы о холопстве). Чувствуя, как шатается трон, Годунов „с колдунами совокупился, гадая о будущем, и надежду свою возложил на чародейство“. В то же время он

творил свой культ, заставляя поклоняться себе, как богу. По безвременной кончине Борис был многими оплакан и с великой честью похоронен.

Сам князь Иван Андреевич юношей присутствовал на похоронах царя Бориса и имел право написать о том, что все тогда головы „от печали восклонили”. Сын и наследник Годунова Федор Борисович был всем хорош, но обречен на гибель вместе с переданной ему отцом властью. Поднявшегося тогда Лжедмитрия I Хворостинин обличает как законопреступного обманщика — но обманулись многие, и из Москвы „все навстречу вышли ему и с обилием богатства радостно встретили” нового владыку.

Что бы ни говорили и ни писали после, в столице все „беззаконного царя владыкой хотели”, а на семью Бориса все „разъярились”. Именно массы москвичей изгнали царя Федора Борисовича из дворца и заточили его вместе с родными за приставы, то есть по разным домам. Людям Лжедмитрия оставалось только взять веревку и задушить заключенных. „Дивным видением” назвал Хворостинин извержение из Архангельского собора тела Бориса Годунова, когда все вдруг увидали, что тот, кого недавно оплакивали, „убил безвинных много”: сколь быстро изменилась точка зрения людей на владыку, которого они сами положили рядом с царями.

Общество было охвачено желанием перемен, все ждали от нового царя улучшения своей участи: крестьяне, повергнутые в крепостное бесправие, восставшие против своих господ холопы, десятки тысяч беглецов, покинувших Россию и показавшихся, оголодавшее воинство и обнищавшее дворянство, уставшее от опал боярство, умиравшие от голода ремесленники и торговцы, богатое и бедное духовенство... Московский „святительский чин и архиерейский собор с жителями благолепно почтил беззаконного (Лжедмитрия I) со святыми иконами, все народы Москвы ублажили его

псалмами и песнями, и вся страна склонилась к его восхвалению”.

Среди знати, окружившей трон нового царя Дмитрия Ивановича (как назвал себя монах-расстрига Григорий Отрепьев), был и потомок ярославских князей, сын известного опричника и боевого воеводы (недавно скончавшегося) князь Иван Андреевич Хворостинин-Старков². Овеянный романтикой драматической легенды и славой мужественного воина, доброжелательный и дерзкий в планах, умный, начитанный и ловкий, Лжедмитрий I увлекал придворную молодежь грандиозными замыслами, призраком будущей славы и удачным разгулом в настоящем. Потрясенный открывшимся перед ним полем деятельности, Хворостинин активно впитывал ворвавшуюся в московские терема западноевропейскую культуру, изучал латынь, беседовал с католическими и лютеранскими богословами.

В скором времени князь Иван стал ближайшим слугой и участником всех развлечений государя, в том числе дурного свойства, типа лихих налетов на женские монастыри. По молодости и неопытности Хворостинин сумел досадить многим, даже нидерландскому резиденту Исааку Массе, в своих воспоминаниях назвавшему князя „надменным и все себе позволявшим мальчишкой”; хитрый голландец отомстил ему, бросив с пера уже столетия смущающую историков фразу, что Лжедмитрий „растлил 30 девиц и юного князя Хворостинина”³.

Когда Хворостинин уже в зрелом возрасте писал свои „Словеса дней, и царей, и святителей”, он понимал, что Лжедмитрий оказался недостаточно „крепок” для трона, имея при внешнем блеске „мерзость запустения в сердце”; что он „не царь, а законопреступник и хульник иноческого жития, а не владыка, не князь”. Но главным орудием свержения Лжедмитрия стали религиозные мотивы, прикрывавшие разочарование

многих и личные интересы организаторов переворота.

О том, насколько значительный эффект имело „неблагочестие” Лжедмитрия I, свидетельствует такой эпизод, приведенный князем в „Словесах”. Царь в разгар своих холостяцких приключений возвел потешный дворец, полный всяческих выдумок и богато украшенный, гордо похваляясь этим „не господственным делом”. Князь Иван, будучи наиболее любимым его приближенным, горько укорил царя: „Блуднические хоромы златом довольно украсив, мнишь оставить по себе вечную память”, возносясь над самим богом, вместо того чтобы возвести храм. Потрясенный этим упреком, Лжедмитрий стал наедине расспрашивать князя Ивана: „Ты ли злое помыслил на меня?!” — Нет, — отвечал Хворостинин, — я не отрекся от тебя и не отрекись, более всего своего спасения хочу зреть твое здравие, но не воздам чести тебе, царю-человеку, более славы Божьей. От твоей милости, самодержец, никакое зло не может меня отторгнуть, кроме низвержения христианского закона.

Лжедмитрий не разгневался, лишь закрыл Хворостинину рот рукой, не желая слышать упреков. Но он и не прислушался к предупреждениям сторонников, ибо, своей мыслью и делами возвысившись, считал возможным „устроить самодержавие выше человеческих обычаев”, невзирая на мнение других. Он сверг уважаемого всеми патриарха Иова и поставил на его место верного себе Игнатия, деятельность которого заставила боголюбивых людей пролить потоки слез.

Пока Игнатий „сердца сокрушал любящих Господа”, Лжедмитрий женился на Марине Мнишек, причем верный ему Хворостинин как кравчий наливал молодым вино за царским столом. В „Словесах” князь благоразумно опустил этот эпизод, но гневно воскликнул: „Царским венчался венцом, суший отступник!” Падение Лжедмитрия I было предрешиено.

Организатор его убийства князь Василий Шуйский захватил власть хитростью, улепив знатных показным смирением, остальных — подарками и обещаниями. Издревле Шуйские „были властолюбцы, а не боголюбцы”, хоть и подняли знамя спасения веры! „И так принял Василий хоругви царские многими своими трудами, и отер пот своей злой и лестной измены”.

Хворостинина передегивало от ярости, когда он писал о Шуйском — бездарном правителе, несколько лет тащившем страну по кровавым ухабам затяжной гражданской войны. Но князь не мог не отметить, что сразу по приходе к власти царь был весьма внимателен и милостив к подданным, „милостивое всем людям благодеяние обещал сотворить и теми словами христианское множество желал любовью возжечь и в благохвальное состояние привести”.

Без всякого понуждения Василий Шуйский публично, в соборной церкви, поклялся царствовать справедливо и на благо подданных, а с народа взял клятву верности. „Но разве человеческая природа знает желание свое?” Своим неискусным умом Шуйский сам нарушил клятву, „и поднялась на него держава его, и преступили клятву, которой клялись ему, и во дни его всякая правда уснула, и суда истинного не было, и любовь к чести иссякла”.

Среди всех, выступивших против Шуйского, Хворостинин справедливо выделяет участников Крестьянской войны под руководством Ивана Исаевича Болотникова. Именно эти люди, „бросив плуги свои, и одевшись в брони, и препоясавшись оружием”, стали громить правительственные полки и брать один за другим города. Знать, „братия” князя Ивана Андреевича, терпела поражения „от единоплеменных”. И вновь автор не только укоряет царя Василия, который „в туге и скорби был”, но и отдает должное упорству, с которым тот „утверждался и сопротивлялся” крестьянской армии: „...когда своих воинов губил, когда их (восстав-

ших) многое ополчение разбивал и бесчисленную кровь врагов своих различно проливал”.

Хворостинин глубоко прозревал изменения, происходившие в Шуйском, царившем в Москве, когда против него поднимались одна за другой земли Руси, толпы искателей поживы из Речи Посполитой и Швеции заполняли страну. Как и Годунов, царь Василий метался от благочестивого украшения храмов к чародейству и гаданию, „неверием от многого сетования объят был и в буйство уклонился”, стал прислушиваться к „ложным шептаниям” и „своих людей оскорбил, злосердием движим”. Оскорбляя православных, он окружил себя толпой лживых наветчиков, „изменив свой первоначальный обычай”, и долго безуспешно боролся со своими врагами.

Свержение Шуйского с престола было весьма неоднозначным событием: ведь неспособный одержать победу над восставшими против „боярского царя”, царь Василий все же олицетворял собой единство пусть и охваченного междоусобием государства. Когда прославленный воевода князь Федор Иванович Волконский „и с ним иные мелкие дворяне”, не испугавшись жестокой расправы над участниками предыдущих заговоров, схватили Шуйского прямо во дворце, гражданская война в России вошла в решительную и самую кровавую стадию.

Размышляя над этим событием, князь Хворостинин признает, что Шуйский дал основания для ненависти к себе и не случайно „в пятое лето державы его наполнились лютой ревностью” люди на него и братью его, поднялись от бояр и до простолюдинов, но, считает автор, их нельзя одобрить, — поднялись, „подстрекая и подущая малоумных и не имеющих страха Божия, полагающих свет во тьму, называя горькое сладким и сладкое горьким, не боясь крестной клятвы, завистью и гневом отлучили царя от престола”.

Эта оценка тем более удивительна для того черно-белого времени, когда в ожесточении борьбы люди склонны были делить всех только на друзей и врагов, что сам Хворостинин сильно пострадал от царя Василия. „Как ты был при Ростриге (Лжедмитрии I. — А. Б.) у него близко, — гласило обвинение Хворостинину, — и ты впал в ересь, и в вере пошатался, и православную веру хулил, и постов и христианского обычая не хранил, и при царе и великом князе Василии Ивановиче всеа Руси был ты за то сослан под начало в Иосифов монастырь”⁴.

Три или четыре года молодой князь провел в заточении в цитадели иосифлян — Иосифо-Волоколамском монастыре, стоявшем в первых рядах борьбы против „еретичества”. Падение его политического врага — Шуйского — освободило Хворостинина из заточения и позволило ему вернуться в Москву. Следовало подняться не только над своим временем, но и над собой, чтобы оценить свержение Шуйского как преступление. Даже современные нам историки считают стремление Хворостинина отказаться от односторонности оценок неестественным, манерным. Между тем для князя Ивана Андреевича это была не только хорошо продуманная, но и выстраданная позиция. Упорство, с каким он старался взглянуть на события и героев с разных точек зрения, не было искусственным литературным приемом: это был протест личности против грозящих уничтожить ее и весь мир политических и идеологических пристрастий.

Позиция Хворостинина особенно ярко проявилась в повествовании о патриархе Гермогене — одной из крупнейших фигур Смуты. Говоря о Гермогене, обычно вспоминают его пламенный призыв к всенародному ополчению против интервентов, за который он погиб в заточении голодной смертью. Этот подвиг обычно заслоняет сложные перипетии биографии Гермогена, ставшего архиепископом казанским еще в правление

Бориса Годунова, а в Москву приглашенного Лжедмитрием I, который даже ввел его в сенат. Правда, довольно скоро Гермоген примкнул к противникам самозванца и был выслан из Москвы за публичную критику его католических симпатий. На патриарший престол Гермоген был возведен волей Василия Шуйского, которому преданно служил. Именно Гермоген руководил расправой над Хворостининым, так что у того были все основания негативно отзываться о патриархе. И все же в „Словесах дней, и царей, и святителей” Гермоген — наиболее положительный герой!

При Шуйском, писал князь Иван Андреевич, Гермоген „украшал святой патриаршеский престол”. „Видел добрый пастырь царя малодушествующего, много помогая ему своим искусством и не смог спасти того, ради которого принял от всех людей многие беды”. Гермоген, по словам Хворостинина, был „истинный пастырь наш и учитель изрядный”. Князь Иван не хотел обманывать читателя, представляя Гермогена идеальным духовным вождем. Как и все русские люди в Смутное время, патриарх испытывал колебания и делал ошибки. В ряде случаев паства ополчалась на высшего иерарха, в свою очередь Гермоген выступал против большинства. Иногда патриарх „уязвлялся страхом перед людским шатанием, иногда безстрашием украшался”. Главное — он являлся кротким учителем, кротостью поучая людей следовать божественному уставу.

Дойдя до рассказа о Гермогене, Хворостинин отошел от хронологической последовательности в изложении: он был целиком захвачен мучительными размышлениями, душевной болью, сомнениями относительно этой фигуры Смутного времени, в которой для князя Ивана Андреевича зримо выражалась роль церкви в разделенном гражданскими конфликтами обществе. Те, писал Хворостинин, кто получал от патриарха благословение, низринули его с пастырского престола.



Гермоген,
патриарх Московский
и всея Руси

„Я видел неиствующих на его величие, и распылался мыслью своей, и душой болел за него, ибо видел пастыря, пораженного своими козлищами, которые вместо волков бодали и уязвляли своего владыку. Хотя я больше всех перенес от него гонений и граблений, жил в тиранстве под его властью (имеется в виду заточение. — А. Б.), но никогда не мыслил на него лукаво, а больше всех скорбел о нем, и стремился спасти его, и не мог спасти, потому что его гневом был обращен в ничто!”

Человек, которого Гермоген объявил еретиком, сумел оценить положительные качества своего гоните-

ля; „истинное свое и благочестивое исправление ему отдать”. В немногих словах, на частном примере Хворостинин показывает трагизм борьбы с „еретичеством”, бившей по людям, сохранявшим свою совесть и человеческое достоинство. „Любимые и славные” для Гермогена люди призывали Хворостинина стать, как и они, тайным врагом патриарха, „обещая... — пишет князь, — многотысячное обогащение”, надеясь заставить переступить через свою совесть „юности моей ради”. Но Хворостинин сохранил верность Гермогену и верность себе.

Недаром в критический момент гражданской войны, когда захватившее власть после свержения Шуйского правительство „семибоярщины” призвало на московский престол польского королевича Владислава и волны интервентов заливали всю страну, „украшенный сединами” патриарх со слезами обнял молодого Хворостинина: „Ты более всех потрудился в учении, ты ведаешь, ты знаешь”. „Книжное любомудрие” князя Ивана Андреевича более не вызывало у патриарха подозрений, напротив, Гермоген надеялся, что искушенный в науках юноша поймет его позицию. Я никогда не призывал в Москву интервентов, говорил патриарх, это ложь, что я вооружаю и поддерживаю „неединоверное воинство, которое, нарушив клятву, обладает нами через свое слово. Вы свидетели моим словам: я никогда такого не говорил! Одно проповедовал вам: облекитесь в оружие Божие, в пост и в молитвы... Се оружие православия, се сопротивление в вере, се устав закона! А кого нарекли царем (то есть Владислава. — А. Б.), если не будет единоголасен вере нашей, не будет нам царем! Если же будет верен — да будет нам владыка и царь!”

Во время этого разговора Хворостинин был еще при дворе, участвовал (как и Гермоген) в таких событиях, как отправка посольства к осаждавшему Смоленск королю Сигизмунду с прошением отпустить на

московский престол его сына Владислава. Автор сочинения „Словеса дней, и царей, и святителей” не снимает с себя ответственности за последовавшие трагические события, не старается задним числом разделить людей на патриотов и „изменников”, как это было свойственно историкам. Те, кто, несмотря на протест Гермогена, насильственно постриг, а затем и выдал врагам Василия Шуйского, „обольстили нас и так, благодаря многим обманным речам и легкости ума *нашего*, столицу нашу захватили и народ оскорбили”. Лишь когда Сигизмунд арестовал посланное к нему посольство и после кровопролитной осады взял город Смоленск, защитники которого погибли, но „не сдались, не преклонили перед врагом головы своей”, после ужасающей резни, устроенной интервентами в Москве, позиции людей определились.

На место раздора гражданской войны пришло объединение сил в патриотическом Всенародном ополчении, выступившем против интервентов и тех русских, которые „как враги единоплеменникам своим были, пожигая и губя нас”. Патриарх Гермоген, отказавшийся сотрудничать с изменниками и их хозяевами-поляками, был заточен и уморен голодом в Чудовском монастыре в Кремле. Прошло время, и князь Хворостинин, уже закаленным во многих сражениях воином, смог вернуться к своему духовному отцу.

Соратник Минина и Пожарского, князь Хворостинин одним из первых вошел в освобожденный Кремль и узнал у немногочисленной уцелевшей братии Чудова монастыря, где похоронено тело нового мученика — Гермогена. Плач Ивана Андреевича над гробом патриарха — одна из искреннейших и драматичнейших страниц древнерусской литературы. Суровый воин, не стыдясь слез, оплакивал Гермогена как любимого отца и „заступника веры нашей”.

Но тут же, над гробом, поразило князя Ивана Андреевича мучительное сомнение, сопровождавшее его

Гермоген,
патриарх Московский
и всея Руси



потом многие годы. Он „вспомнил и был ранен мыслью”, что, как говорят, патриарх призвал людей к вооруженной борьбе с интервентами, рассылал письма, поднимавшие народ на восстание. Может ли духовный пастырь способствовать массовому кровопролитию (а „кровь пролилась великая от его учительства”)?! И пришло Хворостинину на ум „преподобного Ануфрия Великого слово: „Лучше биту быть, чем бить, укоряему быть, а не укорять, и принимать бьющего, как милующего, и оскорбляющего, как утешающего”. Вспомнил князь и сходные мысли апостола Петра.

„И так подумал: недостойно духовному лицу дерзать на поучение к кровопролитию, следует ему отстраняться и удаляться от мирского, как учит нас преславный псалмопевец пророк Давид, говоря к Богу: „Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего!“ И ведь Господь ему создать храм не повелел, говоря: „Пролил ты много крови и не возведешь церкви моей“.

Мысль о том, что слово духовного лица может рождать ненависть между людьми, сталкивать народы в кровавой битве, терзала христианскую душу Хворостинина. Сам он не видел греха в том, что, как воин, поднял меч на защиту российской государственности. Хворостинин и далее продолжал военную службу. В начале 1613 года князь уже воеводствовал во Мценске, обороняя границу от польских войск, сражаясь с казаками Заруцкого. Затем, до октября 1614 года, в числе пограничных „больших воевод“ Хворостинин командовал Сторожовым полком, базировавшимся в Новосили. Неприятель был отбит, и в течение трех лет Иван Андреевич мог наслаждаться миром.

В 1618 году королевич Владислав предпринял новое решительное наступление на Москву по Смоленской дороге. С юга его поддерживала армия гетмана Сагайдачного. Казаки рвались к русской столице, сметая стоящие на их пути крепости, но от Переяславля-Рязанского, где обороной командовал князь Хворостинин, враг был отбит. За защиту города 13 марта 1619 года воевода был пожалован „у царского стола“ драгоценным кубком и собольей шубой ценою в 160 рублей. Но даже во время упорных боев с неприятелем Хворостинин не забывал поразившей его мысли о причастности духовного пастыря к кровопролитию, особенно страшному, когда политические враги оказываются врагами идейными.

Командуя обороной Переяславля, Иван Андреевич беседовал об этом с архиепископом Феодоритом, „вопрошая его о посланиях патриарха — как тот прельстил

Ксения Ивановна,
в инокинях Марфа,
мать царя
Михаила Романова



народы и ополчение ваше к своей погибели поднял? Он же (Феодорит. — А. Б.), духовной ради любви, во внутреннюю комнату пошел и письмо самой патриаршеской руки дал мне”. На этом „Словеса дней, и царей, и святителей московских” во всех известных списках обрываются, и завершение мысли Хворостинина нам неизвестно. Возможно, князю слишком тяжело было продолжать...

Полагают, что он писал свои „Словеса” по возвращении с войны в 1619 году. Религиозная нетерпимость, вспыхнувшая в России в Смутное время и принесшая стране бесчисленные дополнительные жертвы, еще

более усилилась тогда в связи с возвращением из польского плена митрополита Филарета (отца молодого царя Михаила Романова), вскоре ставшего российским патриархом⁵. Слова „католик“, „латинянин“ звучали в Москве как „злейший враг“. Настрадавшийся в плену, Филарет испытывал жгучую ненависть к иноверию, и католичеству в особенности; укрепление этой ненависти в пастве он считал особо важной миссией патриаршего престола. Для искоренения действительного или мнимого „латинского влияния“ в России применялись чисто инквизиционные методы...

Мы не знаем, что написал или хотел написать в конце своего сочинения Иван Андреевич Хворостинин относительно религиозной нетерпимости Гермогена, но нам хорошо известно, какой протест вызвала у князя церковная политика Филарета. По мере гонений на католиков (а пленных этого вероисповедания было довольно много в Москве) Хворостинин все более сближался с гонимыми, принимал их у себя в доме, не гнушаясь беседой не только с иноверцами, но и с самими католическими священнослужителями. В доме образованного придворного находились латинские книги и религиозная живопись.

Заслуженный воевода считал себя вправе противостоять наследию Смуты и демонстративно почитал „за один“ православные иконы и католические картины. Он не желал делать различия между греческими и латинскими сочинениями или разделять людей не по разуму и образованности, а по вероисповеданию. Такое поведение не могло не раздражать не только церковные власти, но и людей, зараженных церковным ханжеством эпохи. Даже приятель Хворостинина, известный литератор и стихотворец князь Семен Иванович Шаховской (тоже из рода ярославских князей), сам подвергавшийся церковным преследованиям, в письмах выговаривал Ивану Андреевичу за высокоумие и гордость, за упорство, с которым тот спорил по вопросам исто-

Филарет,
патриарх
Московский
и всея Руси



рии церкви, „превозношаясь многим велеречием и гордясь... фарисейски, думая выше всех людей знанием божественных догматов превзойти”⁶.

Легко представить себе реакцию на такое поведение патриарха Филарета, который, по отзыву архиепископа астраханского Пахомия, „возраста и сана был среднего, божественное писание отчасти разумел, нравом опальчив и мнителен, а властолюбив был настолько, что сам царь боялся его; бояр же и всякого чина людей царского совета сильно томил необратимыми заточениями и иными наказаниями; к духовному же чину милостив

был и не сребролюбив; всякими же царскими делами и ратными владел...”⁷.

Если Хворостинин думал, что ратные заслуги или придворный чин стольника, знатность рода или образованность ограждают его от посягательств духовных властей, он сильно ошибался. Патриарху ничего не стоило приказать провести в княжеском доме обыск, чтобы отобрать все латинские книги, рукописи и картины, да еще объявить, будто князь с католиками „в вере соединился”. Иван Андреевич, по словам Шаховского, „величался в рабах своих”, обращая свои речи к холопам. Патриарх показал князю, что перед властью тот сам холоп. Только по государевой милости, было объявлено Хворостинину, „наказания тебе не было никоторого”. Князю было приказано: „Чтобы ты с еретиками не знался, и ереси их не перенимал, и латинских образов и книг у себя не держал”⁸.

Не блещущему начитанностью патриарху было лучше известно, что человеку следует читать и с кем общаться. Надо сказать, что почтение Хворостинина к образованности вообще было глубоко противно российским церковным иерархам его времени. Подобным образом пострадали игумен Троице-Сергиева монастыря Дионисий, старцы Антоний Крылов и Арсений Глухой и священник Иван Наседка⁸. Эти люди, известные своим участием в борьбе с интервентами в Смуту, после победы отважились сравнить 20 списков Третьякова, чтобы исправить при издании вкравшиеся при многократном переписывании ошибки. За эту непростительную дерзость они в 1618 году были брошены в кандалах в тюрьму. Как писал много лет страдавший в опале Арсений Глухой, осудившие его церковные иерархи „не знают ни православия, ни кривославия”; „есть иные и таковы, которые на нас ересь возвели, а сами едва и азбуку знают, а что восемь частей речи разуметь, роды, числа, времена и лица, звания и залого — то им и на разум не всхаживало, священная философия и в

руках не бывала". Даже гораздо позже, в 1645 году, официально считалось, что таланты не развиваются учением, а „даются от Бога". Именно так ответили на просьбу о разрешении преподавания в Москве константинопольскому учителю Венедикту, выговорив при этом, что „при патриархе неприлично и крайне дерзко младшему по сану называть себя учителем и богословом". В порядке вещей был и донос, что человек учится „греческой грамоте, а в той грамоте и еретичество есть", „кто по-латыни учится, тот с правого пути совратится" и т. п.⁹ Так что запрещение Хворостинину читать латинские книги было даже довольно мягким.

Ивану Андреевичу тяжелее было ощущать себя поднадзорным, духовным невольником. В атмосфере страха и подозрительности он не мог найти себе единомышленников. Люди таили свои взгляды, если они хоть сколько-нибудь отличались от мнения начальства. Лучшее всего было взглядов не иметь, ибо кто мог предсказать, что будет названо ересью завтра? Не видя для себя выхода, Хворостинин озлобился. Он писал памфлеты, где были, по оценке судей, „про православную христианскую веру непригожие слова и про всяких людей Московского государства многие укоризны и хульные слова". Писал князь для себя, изливая на бумаге душу и никому не показывая написанное. Эти прозаические и стихотворные произведения были впоследствии изъяты при новом обыске и уничтожены, списков их не сохранилось.

В уничтоженных книжках Хворостинина, как гласит обвинение, были эпиграммы на разных лиц, насмешки над московскими обычаями, когда, например, поклоняются иконам по подписи: раз написано, будут кланяться и подделке, а если образы „не подписаны — и тем не кланяются". В стихах Хворостинина встречались едкие афоризмы, типа запавшего в память судей двустушия, что московские люди

Сеют землю рожью,
А живут все ложью!

С горечью писал стихотворец, что у него нет „никакого приобщения” с людьми, среди которых он живет.

Ограниченный в контактах в Москве, где, как в раздражении говорил князь, „людей нет, все люд глупой, жить... не с кем”, Хворостинин просился на посольский съезд на границу с Речью Посполитой (но был, разумеется, отправлен в другую сторону — на пограничье против ногайцев). Власти полагали, что Иван Андреевич хотел сбежать в Литву. Возможно, такая мысль у него появлялась, потому что в разговорах Хворостинин упоминал о желании проситься у царя в поездку в Речь Посполитую и Италию. Уже тогда это считалось „изменной”, ибо русский человек не должен хотеть съездить за границу!

Повторный обыск в доме Хворостинина, проведенный в конце 1622 года, дал материал для обвинения, ставшего важным прецедентом в политическом преследовании инакомыслящих. На основе личных рукописей Ивана Андреевича (не переписанных даже писцом) осуждался образ мыслей, по мнению властей, недостаточно патриотический. „Понятно, — гласил приговор, — что такие слова говорил ты и писал гордостью и безмерством своим и в разум себе в версту (то есть в сравнении с собой. — А. Б.) не поставил никого. И тем своим бездельным мнением и гордостью ты всех людей Московского государства и родителей своих, от кого ты родился, обесчестил, и положил на всех людей Московского государства хулу и неразумие”.

Власти подразумевали, что подданные должны иметь образ мыслей восторженный и почтительный. А в бумагах Ивана Андреевича было „сыскано”, что не только отечественная действительность в целом, но и сам государь Михаил Федорович не вызывает у автора слез умиления и назван „не по достоинству —

деспотом русским, — а деспот значит по-гречески владыка или владетель, а не царь и самодержец”. „А ты, князь Иван, не иноземец, — с изумительной простотой сообщал приговор, — московский природный человек, и тебе так про государево именование писать непристойно”.

Обвинения светского характера весьма интересны с точки зрения последующей истории России, однако в приговоре Хворостинину они уступают место более важным для судей обвинениям в ереси. Это неудивительно, учитывая накал религиозной нетерпимости после Смуты и влияние патриарха Филарета, явно оттеснявшего на второй план своего кровного и духовного сына царя Михаила Федоровича. Сам повторный обыск у Хворостинина был проведен по подозрению церковных властей, будто он „начал жить не по-христиански и вникать в ересь”.

Хуже всего, по мнению судей, было то, что Хворостинин вновь завел у себя латинские книги и картины вместо конфискованных в первый раз. Дальнейшие обвинения были построены прежде всего на доносах слуг князя, яркими красками описавших „в жизни его в христианской вере неисправление”. Впрочем, и сам князь не боялся прямо излагать на суде свои взгляды, „сам, — удивленно отмечали судьи, — во многих таких непристойных своих делах вину свою объявил!”

В присутствии церковных иерархов суд под председательством царя Михаила Федоровича (номинально) и патриарха Филарета Никитича обвинил Хворостинина в том, что тот запрещал своим слугам ходить в церковь, „а говорил, что молиться не для чего, и воскресения мертвым не будет, и про христианскую веру и про святых угодников божиих говорил хульные слова”, то есть фактически отвергал христианское вероучение, а не просто был еретиком.

Эти взгляды князь Иван Андреевич якобы подтверждал всем своим поведением. Он стал „жить нехристи-

анским обычаем”, в том числе „беспрестани пить”, не соблюдая ни постов, ни церковных праздников, не посещая ни храмов, ни даже царского дворца. Мы достаточно хорошо представляем себе последствия духовного гнета, чтобы оспаривать возможность пьянства окруженного шпионами и ежечасно ждущего ареста князя. Легко поверить, что, лишенный собеседников и единомышленников, Хворостинин „в 1622 году Страстную неделю пил всю без просыпу, и против светлого Воскресенья был пьян, и до света за два часа ел мясную пищу и пил вино прежде Пасхи”, как гласит приговор.

Но обвинения Хворостинина в неверии в воскресение мертвых и другие догматы выглядят гораздо менее достоверно, тем более что приговор оставляет нас в неведении, какие, собственно, идеи отстаивал Иван Андреевич перед судом. Не соответствует этим обвинениям и назначенное Хворостинину наказание. „Отступник” не только от православия, но и от христианства в целом почему-то не был казнен смертью, хотя заподозрить патриарха Филарета и его приближенных в милосердии никак невозможно! За меньшую провинность легко было поплатиться головой, тем более что Филарет был способен репрессировать и более знатного человека. Когда дрожали бояре, окольные древнейших родов, стоящему ниже по лестнице чинов стольнику не приходилось надеяться на спасение.

„И за то довелось бы тебе учинить наказание великое, потому что поползновение твое в вере не впервые и вины твои сыскались многие, — гласит приговор. — И по государской милости за то тебе наказанья не учинено никоторого!” Итак, светская власть вообще умыла руки. Церковная власть не дремала, но и ее Фемида не была особенно непреклонной: „А для исправления твоего в вере послан ты под начало в Кириллов монастырь, и в вере истязан (то есть испытан. — А. Б.), и дал на себя в том обещание и клятву, чтоб тебе впредь

истинную православную христианскую веру греческого закона, в которой ты родился и вырос, исполнять и держать во всем непоколебимо, по преданию святых апостолов и отцов, как соборная и апостольская церковь приняла, а латинской и никакой ереси не принимать, и образов и книг латинских не держать, и в еретические ни в какие учения не вникать”.

Называя заточение молодого человека в далеком северном монастыре на неопределенный срок относительно мягким наказанием, мы исходим, разумеется, не из нормальных человеческих соображений, а из отечественных реалий: ведь к мучениям предварительного следствия и суда осужденному не было добавлено ни подземной темницы, ни кандалов, ни специального тиранства надзирателей (не говоря уже о том, что Хворостинина не сожгли на костре, не зажарили в клетке и т. п.). Более того, в Кирилло-Белозерском монастыре Иван Андреевич через некоторое время вновь получил доступ к перу и бумаге. Благодаря этому мы можем несколько приоткрыть завесу над тем, что же происходило на церковном судилище в Москве в конце 1622 — начале 1623 года.

Приехав по зимнему пути на Белоозеро, узник застал в месте своего заключения не совсем ту обстановку, в которой желал видеть его патриарх Филарет. „Духовный отец” и распорядитель всего царства послал с конвоем инструкцию, дополняющую приговор Хворостинину требованием поместить узника в особую келью под постоянный надзор „житьем крепкого” монаха, не выпускать заключенного из монастыря и запретить какие-либо свидания с ним. Особое внимание патриарх обращал на то, чтобы Хворостинин был ежедневно занят исполнением „келейных правил”, церковным пением и т. п. Но монахи Кириллова монастыря, среди которых пребывали многие ссыльные и еще сильны были нестяжательские настроения, отнеслись к ученому князю с непозволительным, по мнению пат-

риарха, добродушием. Обитатели монастыря, отразившие с оружием в руках интервентов, не испугались гнева самого Филарета. Они приняли Хворостинина как своего собрата-книжника (в монастыре была большая библиотека и книгописная мастерская), предоставили ему возможность работать и даже... отменили его отлучение от церкви, допустив к исповеди и причастию.

В сочинениях, написанных в стенах Кириллова монастыря и бережно там сохраненных (а впоследствии переписывавшихся), литератор имел возможность опровергнуть возведенные на него обвинения в неправославии. Он против многих ересей „книги изложил православными догматами, истинными священными словами соборной апостольской церкви греческого народа, ее же свет сияет и у нас единовравно, и передал благоверным, да научатся истине. Первое (обличение. — А. Б.) положил на восьмой римский собор, и второе — на Лютера, безглавного зверя, и на его единомышленных блядословцев Кальвина, Сервета, Чеховича и Будного, обитающих в разных странах. Еще же сотворил слово от Священного писания на Фродианово писание злоумное и на опресночную римскую службу и на иных отступников от правоверия, которые иначе мудрствуют”¹⁰.

В сочинениях Хворостинина против неправославных толкований христианского вероучения и церковного ритуала ясно показано, что его расхождения с российской православной церковью были выдумкой судей. Не только воскресения и церковных праздников, но и почитания святых и икон писатель не отрицал. Он, по-видимому, считал необходимым более критически, чем было принято, подходить к канонизации святых и, как герой предыдущей главы — Артемий, видел в иконах прежде всего символ, напоминание о неких духовных ценностях и средство их познания (откуда проис-

текало его лояльное отношение к иным школам духовной живописи). Бытовое несоблюдение поста было связано как с жизненными обстоятельствами, так и с представлением о превосходстве духовного воздержания над физическим.

За что же тогда осудили Хворостинина? За чтение книг на ненавистном для отечественных церковников латинском языке? Это сыграло свою роль, но сам литератор понимал причину своего конфликта с церковной организацией глубже. Откроем предисловие к сборнику его полемических сочинений, озаглавленное: „Предисловие и слововещание читателям, содержащее нечто к родителям о воспитании чад”¹¹. Здесь говорится о помещенных далее обличительных произведениях, но основное содержание предисловия посвящено... обоснованию и защите тезиса о пользе учености и необходимости учиться!

„Свирепо есть человеку неучение”, — утверждает автор, приводя множество свидетельств отцов церкви о необходимости совершенствоваться учением ум. „Нерадеющие об учении своих детей лютому осуждению предаются. Такие (отцы) и детям своим убийцы бывают, и собственной души, потому что одинаково есть устроить свою душу и направить юного мысль”, — считает Хворостинин, обосновывая необходимость давать детям образование, которое ценнее всякого богатства.

Человек, „если станет философом изначала”, не может не занять видного места в обществе, как „среди множества больных не утаится здоровый”. О таком пойдет добрая слава, и мудрый царь возвысит его над многими. Ученый человек всегда крепок, а тот, кто надеется на богатство, не заботясь ни о чем ином, может только покрывать свою злобу избытком серебра, ведь иной утехи для этой бедной души не существует. Богатство — это безумие: если не оставишь богатство — оставишь добродетель. Богатство отнимает мужество отстаивать истину и губит душу.

Советуя отцам больше заботиться об образовании, чем о богатстве детей, Хворостинин утверждает, что только мудрыми людьми спасаются престолы и расширяются государства. „Царям и владыкам подобает призывать мудрых” — ведь „суетные советники... не только владык своих не спасут, но и сами с ними поражены будут”. Темные советники хуже врагов, сколько их ни благодетельствуй царь — не будут ни милостивы, ни благодарны и „благодетелей своих убить не ужаснутся”. На фоне дворцовых переворотов Смуты предупреждение, что царь легко потеряет трон, если не будет опираться на образованных и добродетельных мужей, звучало весьма остро.

Обличив царское окружение, способное лишь обжираться и упиваться на пирах, превращая ночь в день и называя горькое сладким, но не могущее даже вести войну, князь Иван Андреевич возносит похвалу людям, обладающим сокровищем благорассуждения. „Не созидают, — пишет Хворостинин, задевая уже и церковь, — такие сокровищ своих ни на земле, ни на небесах, такие, Бога боясь и царя почитая, собирают вокруг него благоискусных людей. Поистине учение истина есть и истинные приобретают его, от учения бывает всякая правда и благоразумие. Учение есть благоразумие, оно просвещает очи сердечные, опалая неистовство самохотных стремлений... ученые очи просвещают всякого идущего к добродетели, и праведный язык влечет к спасению!”

Здесь Хворостинин обрывает свои мечты и вспоминает о множестве просвещенных мучеников. И в России „мы или муками, или не муками от владык страдаем, бедствуем, насилуемы бываем, не по истине бываем возвышены, не по истине изгнаны и оскорблены”. Что ж, заключает писатель, „желая воздаяние от Бога принять, будем принимать бьющего, как милующего, и поносящего, как хвалящего”. Этими словами, прежде обращавшимися Хворостининым к тени патриарха Гер-

могена, князь еще раз указывает нам, что пишет не просто предисловие, а обоснование своей позиции в конфликте с церковной властью.

Легко представить себе, что, открыто излагая свою позицию перед судилищем, перед патриархом Филаретом, который даже „божественное писание отчасти разумел”, литератор predetermined свой приговор. Ученый — значит, еретик! Читает латинские книги — значит, изменил своей вере! — считали судьи. Поистине права народная мудрость: „Тяжел камень, и песок тяжек, но гнев дурака тяжелее обоих”. Хворостинин не сдавался и не спешил покаяться. В заточении он пишет знаменитое „Изложение на еретики злохульники”, формально направленное против папского престола, в действительности же обличающее общие пороки христианской церкви¹². Из него мы подробнее узнаем, какие слова бросил Иван Андреевич в лицо своим обвинителям на освященном соборе в Москве.

„Изложение” опиралось на источник — южнорусский стихотворный полемический трактат, ныне известный ученым в двух редакциях. Но труд Хворостинина — не перевод, как считалось. Прежде всего, он почти на треть обширнее, а то, что было взято из источника, сильно переделано. Лишь немногие строки украинского трактата использованы в оригинале: остальные имеют значительные изменения, отражающие и поэтические приращения русского литератора, и его идейную позицию. Она для нас наиболее интересна, хотя нельзя не отметить, что как поэт Хворостинин стоял у истоков русской стихотворной культуры, а его поэма — крупнейшее из ранних отечественных стихотворных произведений, новаторское по форме стиха¹³.

Сочинение Хворостинина подписано, причем, во избежание утраты имени автора, он несколько раз назвал себя в акростихах (когда текст читается по первым

буквам строк). Автор сознательно отказался от свойственной древнерусской литературе анонимности, ибо излагал личные взгляды, защищал собственную позицию. „Огнепальная погружает меня жития сего волна!“ — писал Иван Андреевич, продолжая все же бороться за познанные им истины.

Не раз подчеркивая свою идейную связь с христианскими святыми, стихотворец сравнивает с их мучениями свои муки:

Муками и злыми томлениями осудили
И воинов множество на мя вооружили.
Велика была гнева их волна,
Я обличитель был ереси их издавна
И хотел нечто оставить народу,
Христианскому священному роду...
Простер руку мою на спасение,
На еретическое известное потребление,
И вместо чернил были мне слезы,
Ибо закован был того ради в железы.
В темницах пробыл много,
Время там был долго*.

Между тем стихотворец не был преступником:

Я избегал несправедного золота
Как скверного поганого болота.
Скрывался от крамольной злости,
Не простер ей на писание трости.
В полконачалии не показал спины врагам,
Не сотворил обмана своим друзьям.
Время печально было когда —
Упавал на Сердцевидца всегда.

Но было в Хворостинине нечто, обрекавшее его на мучения:

Не привык с неучеными играть,
Ни привычек и нрава их стяжать.
Бедою многой изнемог,
И никто мне не помог,
Только один Бог,

* Напомню, что в трудных для понимания местах цитаты мной адаптированы. — А. Б.

А не народ мног.
Писал на еретиков много сло́гов,
За то принял много болезненных нало́гов.
Писанием моим многие обличились,
А на меня как еретика ополчились.
Отрывая меня от Святого писания —
То было мне от них воздаяния!
Как еретика меня осудили
И злость свою на мя вооружили.
Смотрите на наши злые нравы
И будьте душами своими здравы!

Злая ирония последнего двустихия предшествует более конкретному обвинению поэта в адрес судей, которые, по его словам, подговорили клеветать на него холопов, обещая им волю. Измена домашних холопов, наглость, с которой они оговаривали своего хозяина, возмутила князя Ивана Андреевича едва ли не больше, чем само осуждение. Люди, которым доверял стихотворец, по его словам, „разрушили души моей палаты”, „осквернили проклятьем порог души”. „Дивно о тех, которые им верят!” — восклицает поэт в последней строке сочинения.

Как видим, хоть Хворостинин и призывал возлюбить врагов, сам не мог удержаться в непротивлении злу. Он еще в предисловии „К читателю” внятно объясняет, кто такие его судьи и за что они обрушились на него, он сам судит высокий церковный суд и выносит ему краткий приговор: „невежды”, причем злые невежды. Посмотрим, как пишет Иван Андреевич о своей жизни.

„Я, возлюбленные, желатель был любомудрых трудов издавна, многое учение прошел со старанием более сверстников моих в роде моем... того ради и беды принимая многие... На войне командовал, в полках воеводствовал, с врагами боролся. Что реку или что возглаголю? Какой не принял беды?! Но по апостола Павла словам: „беды от родственных, беды в городах”, беды в наследиях, многие скорби от владык, еще боль-

шие от властей, также и от церковников неученых, зря поставленных. Как камень была утроба моя, железа крепче сердце мое, не веселило меня вино, не услаждали яства. Всякое пьянство было противно моему нраву, но вида нечестивых, истаяло сердце мое, пьянством исполненное.

Говорили со мной языком, который не принимает свойство мое, чуждо было золото и серебро желанию моему. Я не совращался с царского пути, владыкам был верен во многом и в малом, не уклонялся от них ни вправо, ни влево, не колебался в служении им и врагов их не возвеселил своей службой (довольно прозрачный намек на церковное и светское начальство, многократно менявшее позиции в Смуту)... Не умел, как некоторые, никому льстить, поэтому никому не угоден был, ибо не умел ковать ковы на братию свою православных христиан. Не прельстили меня честь и слава, не совратили меня к веселию, не хотел лишнего золота и серебра и не давал в рост серебро мое, не понуждал слуг своих мучительством жить и покушаться на чужие имения.

И что еще, безумный, скажу? Напоследок должен беды свои и сетования рассказать... Коего злого гонения не претерпел, коих напастей не испытал, коего зла не возвели на меня, коего ложного еретичества и ложных изменных малодушеств не приписали мне! Но, все это безвинно претерпевая, хотел когда нечто понять и написать от греческих и римских рукописей, когда (в сочинениях) полезное предложить. И было мне это запрещено, судим был от неученых невежд, объявлен еретиком. Странен я был в этой стране благодушных, обречен на поношение и стыд.

О беда, о скорбь! Как могу описать?! За это оказался в темницах, в оковах, в терпении, в изгнании, в заточении! Какого ложного от этих изменников навета на плечах своих не понес? Хлеб как пепел ел и питье мое слезами растворял; на ложе пребывал без сна, камнем

стала постель моя. Пространны были пути, которыми я мог убежать от этого озлобления, золотая дорога была к дарованию моему, все родственники и братия моя заставляли меня, предупреждали, обещали волю, не желая видеть меня безвинно страдающим, только одно запрещали мне — Христа моего закон в образе креста...”

Стихи Хворостинина ясно показывают, что его христианский закон не мог быть по нраву господствующей церковной организации. Недаром в поэме, обращенной против католичества, вставляет он обширное обращение „К архиереям о священном чине”, относящееся к православным священнослужителям, не похваливая их в пику католикам, а обличая и поучая:

Преосвященные архиепископы,
И вы, начальные священные епископы!
Раз вы есть церковные столпы —
Пасите внимательно неистовые попы...
Все иерейские чины неучены,
Тем они и унижены...
Почему пастырь непредстоит,
А овца с благочинием стоит?
Это — пастырское исправление,
Ибо имеют злое треволнение...
Смотрите, учите и законники,
Не будьте сами беззаконники...
Вы, священной Христовой церкви учителя,
Не будьте прежде суда Божия мучители,
Прогоните духов злосмрадных,
Почтите мужей благородных,
Не собирайте серебро и золото,
Чтоб не пожрало вас греховное болото...
Когда бывают смерти наши —
Тогда обретаются корысти ваши!
Даром вы приняли учительскую мзду...

Чтобы читатель не подумал, будто стихотворец не понимает связи между разложением и гонениями на инакомыслящих духовных властей и светской власти, в поэме помещена специальная строфа: „Молитва Хри-

сту Богу христиан, которые от неразумной злобы царей и правителей принимают многу неволю, еще же и от еретиков и човекоугодников”.

От тех, кто на нас вооружается коварством всего света,
Избавь нас, Господи, от их злого навета!..
Они твой праведный закон по своей воле изменяют,
Злочестивых к совести своей привлекают,
Обманом и злыми бедами губят нас, как супостаты,
Но не защитят от твоего гнева их палаты...
Как бессловесных скотов нас имеют,
Коварствами неправедными укоряют.
Многие на себя проклятия наложили,
Когда злыми, лукавыми нас обложили.
Злую прибыль они себе утверждают,
На нас души злостями вооружают!..

— пишет поэт равно о церковных и светских правителях России.

Обличая римскую церковь и римских пап, Хворостинин показывает, какую именно церковную организацию он считает порочной. Он критикует некоторые обычаи католиков, но главный его враг — богатая, стяжательская церковь. На корыстолюбие духовенства стихотворец обрушивается буквально в каждой строфе, повторяя свои обличения в десятках вариантов. Богатство и стремление к его приобретению, роскошная и растленная жизнь, продажность и властолюбие, жестокость и убийства — в такой ряд выстраиваются обличаемые Хворостининым пороки западной церкви, уклонившейся от христианского закона.

Раньше христиане, говорит поэт,

Не красили себя, как блудные жены,
Были апостолов одежды небрежены.
Города и села тысячами собрали...
Во дни и ночи мамону стяжают,
А людей божиих как колосья пожинают.

Священники „золото и серебро больше Христа любят”, „духовный разум плотскими похотями заменили” и готовы на любое преступление, чтобы жить

Во многих богатствах и телесных сластях,
В славе и чести, во своих страстях.

Весьма актуально в правление Филарета звучало такое обличение папы римского:

Не меч носить апостол Петр заповедал,
Но честный крест: в ином дьявола победа.
Христов ярем повелевает тебе носить,
А ты учишь братоубийство творить.
Ты хочешь вечный святой устав разорить
И не Богу, а себе всех покорить.
Собираешь сокровища бесчетны
И думаешь века жить несчетны.
Обманным единомыслием льстишься,
Патриархам и царям быть равен стремишься,
Смущаешь богатством церкви всюду —
За то да распадутся твои уды (члены. — А. Б.)!
Ты судишь, корысти земные емля,
И людей губишь, незаконно приемля.

Богатая церковь — продажная церковь, считает Хворостинин. „Многие ныне верою торгуют”, за богатство „грехов отпущение подают, а благочестивых бедняков на смерть отдают”, забыв, что сказано: „Не торгуй душой, вторую не купишь!” Богатство церкви — прямое отступление от божественного закона, и неудивительно, что незаконная церковь ненавидит благочестивых людей, привыкла их „жестко морить”. Стяжательство заставляет церковь стравливать народы и государства, истреблять инакомыслящих, забывая призыв Христа: „Не убивать, но умирать за людей”. Защищая свое богатство, церковники

Много золота на прельщение отпускают,
А душевное благоразумие муками терзают.

Они уже давно не духовные пастыри, „но всему миру великие мучители” и „богоненавистные убийцы”.

Сделав это заключение, Хворостинин сразу перешел к уже известному нам описанию своих гонений от пра-

вославных церковников, чем еще раз подчеркнул общий характер описанных и обличенных им пороков богатой и господствующей церкви. Характерно, что стихотворец ясно представлял себе общую идейную основу западного и восточного христианства, отступление от которой было греховно и губительно как для католичества, так и для русской православной церкви. Католики для князя Ивана Андреевича — не изверги, коих следует изничтожать, а обычные люди, уклоняющиеся в заблуждения и погружающиеся в пучину греха, что случается и с православными. В любом случае ненависть и братоубийственные войны между христианами, осуждение инакомыслящих и расправа над ними — страшные грехи, ставящие на совершающую или поддерживающую их церковь каинову печать.

Резкость суждений Хворостинина, который сам же призывал к смирению и всепрощению, отражала глубокую духовную драму человека, отринутого и осужденного единоверцами. Горечь непонимания „московскими людьми” очень ясно проступает в стихах и прозе литератора. Апостольская миссия была не по плечу московскому аристократу, более склонному сетовать на духовный гнет в узком кругу, нежели выступить с публичной проповедью против господствующей церковной организации. Патриарх Филарет и церковные власти понимали эту особенность характера князя Ивана Андреевича и учитывали ее при определении своего поведения относительно „еретика”.

В кружке понимающих его кирилло-белозерских книжников Хворостинин пробыл недолго. В ноябре 1623 года, узнав о послаблениях узнику, патриарх Филарет послал в Кириллов монастырь выговор игумену и братии. Чтобы те, кто питал симпатию к литератору, убедились в его прежнем „отступничестве” от православия, а сам Хворостинин глубже почувствовал свою духовную подчиненность правящей церкви, на Белозеро был отправлен из Москвы „учительный свиток”,

Филарет,
патриарх
Московский
и всея Руси



опровергавший будто бы имевшее место суждение князя о воскресении мертвых. Свиток читался кирилловским монахам, а затем Хворостинин должен был торжественно отречься от обличенной в этом документе „ереси”. По воле патриарха Иван Андреевич подписал „учительный свиток” в знак своего раскаяния, был „в вере истязан и дал на себя в том обещание и клятву”, что более не отступит от православия (читай: воли церковных властей)¹⁴.

Несмотря на отречение князя от его „ереси” (в которую он, скорее всего, не впадал), Филарет не желал, чтобы опальный князь жил без достаточно жесткого

контроля. 11 января 1624 года в Кириллов монастырь была отправлена грамота с подробным перечислением всех „прегрешений“ Ивана Андреевича, начиная со Смуты, завершавшаяся... его прощением! „И государь царь и великий князь Михайло Феодорович всея Руси, — гласила грамота, — и отец его государев, великий государь (так!) святейший патриарх Филарет Никитич Московский и всея Руси, по своему государскому милосердому нраву милость над тобой (Хворостининым. — А. Б.) показали, тебя пожаловали, из Кирилова монастыря велели тебя взяти к Москве и велели тебе видети свои государския очи и быти тебе во дворянех по-прежнему”.

Итак, Иван Андреевич был „освобожден”, но в то же время монастырским властям было велено отправить его под стражей, которая должна была сдать „свободного человека” с рук на руки московским властям. В столице Филарету легче было организовать за литератором-вольнодумцем строгий присмотр. Не веря своему окружению, зная, что вокруг шныряют шпионы патриарха, Хворостинин под страхом новой, на этот раз несравненно более жестокой расправы вынужден был молчать. Нам неизвестно ни о его контактах этого времени, ни о сочинениях. Духовная смерть литератора ненамного опередила физическую смерть. Князь Иван Андреевич Хворостинин принял постриг в Троице-Сергиевом монастыре и скончался там 28 февраля 1625 года. Он умер молодым, в возрасте около 35 лет, под именем Иосифа, преданного своими братьями.

Страх губил человеческое достоинство и растлевал жизнь. Даже аристократ и воевода князь Хворостинин не нашел в себе сил до конца противиться духовному гнету. Гневный трактат против страха написал другой русский литератор-вольнодумец — Антоний Подольский¹⁵. Он назывался „Слово о расслебленном, и нему-

жественном, и изумленном страховании, писано к некоему другу”¹⁶.

Не смиренное утешение, но яростное возмущение и протест звучит в строках, обращенных к охваченному страхом современнику Хворостинина и Филарета. Русский человек боится „до изумления”, боится теней и стен, „не только привидений, но и себя боится и в отчаяние приходит”, его пугает неизвестное будущее, ужасают раны и смерть, страшат „бездвестные напасти”, он становится „бесчувственен и бессловесен”. Все это грешно и недостойно человека, считает Антоний Подольский.

Только тот „убоится страха”, считает писатель, кто не имеет страха божия, не укрепил свой дух высокими идеалами. Ты боишься — значит, поклоняешься не Богу, который поднимает павших, милует и исправляет грешников; „не знаешь разве, что одному Богу подобает кланяться и его одного бояться и трепетать?! Пусть боятся и трепещут больше дьяволы от нас, имеющих царскую печать и непобедимое оружие, а не мы от них, потому что, Христовы воины и оруженосцы, кого убоимся?!”

Безумие — бояться тех, кто сам должен бояться. По-настоящему убежденный человек может понести раны, но души его никто не одолеет; он „ни царя не устрашится, ни тельцу золотому не поклонится”. Человеку позорно не выносить с твердостью беды и глумления, не иметь терпения. „Что же такое терпение? — спрашивает автор. И сам отвечает: — Чтобы не болезновать боязливой мыслью. Что значит не болезновать? — значит ставить ни во что, значит быть мужественным”. Что же такое мужество? Это вера, любовь и победа над врагами.

Ты дрожишь, говорит Антоний, значит, малoverен, ты боишься сказать слово... но „что есть церковь? Не вера ли наша?” Господь создал бесчувственные вещи и бессловесных скотов — но они пребывают в

бесчувствию и бессловесию по своей природе. „Ты же как унижаешься и сам себя бессловесием погубляешь? Кто имеет власть над душою твоею, кроме Бога! Потому убойся Бога и устыдись ангелов — перестань малодушничать, ибо мы на камне веры утверждены от Создателя!”

„От безмолвия бывает страх”, — афористически свидетельствует литератор, опираясь на Иоанна Лествичника. „Страхование — младенческий обычай в старой тщеславной душе... От тщеславия и от неверия страх рождается... Велико же малоумие ожидать нечаемого и о неизвестном печься!” — замечает Антоний в духе стойков.

Он согласен, что незнание будущего часто рождает страх, но не склонен мелочно утешать своего адресата. „Ведай будущее, — пишет он, — ты умрешь и как все предстанешь перед Страшным судом”. Так стоит ли трепетать, вместо того чтобы праведно жить? Антоний издевается над страхом перед перипетиями земной жизни, над тем, что его адресат боится бывать в некоторых местах (надо думать, во дворце, где действительно было опаснее, чем в других местах столицы). Чтобы изгнать страх, он советует как можно чаще бывать именно в пугающем месте, — а то смотри, как бы не состарился смех над тобой с тобою! Антонию смешно, что человек способен бояться жизни больше, чем вечной расплаты, и князя больше, чем бога.

Не бояться следует, а бороться за правду, ибо правда спасает, как броня. Господь дал человеку необходимое оружие для спасения и победы над врагами, а теперь, по словам апостола, „время уже нам, лежащим и как бы спящим, восстать!”.

Действительно, страх во времена Антония Подольского усыплял людей, старавшихся утопить свой мятущийся разум в вине. Пьянство было характерно для многих умных и честных людей России, какое-то время спасался вином от страшной действительности и сам

писатель-публицист, пришедший в Москву в Смутное время из окрестностей Троице-Сергиева монастыря (где в начале XVII века располагался мужской Подольский монастырь). Как и Хворостинин, это был светский человек — подьячий, с 1614 по 1617 год работавший в Разрядном приказе, в его Денежном столе (отделе), занимавшемся финансовыми операциями и производством денег на Монетном дворе. Как и Хворостинин, помимо государственной службы Антоний Подольский много времени и сил отдавал самообразованию, изучал грамматику, поэтику, риторiku, логику, философию, читал Священное писание и труды отцов церкви.

Антоний, по-видимому, не участвовал в братоубийственной борьбе и народном ополчении против интервентов во время Смуты, не столь очевидны для него были ужасные последствия нетерпимости и идеологической конфронтации. Он вряд ли, по крайней мере в начале своей литературной деятельности, смог бы понять гуманную примирительную позицию Хворостинина, но в отличие от князя Ивана Андреевича Антоний вступил в активную борьбу с пороками общества, не замкнувшись в камерном литературном творчестве.

Как яростный проповедник-полемист, Антоний Подольский выходит на площадь и читает свои труды перед народом, многих, как свидетельствовали его враги, увлекаая за собой. Одно из первых его известных произведений — пламенное „Слово о многопотопном и прелестном пьянстве” (1619—1620 годы)¹⁷. Автору отлично знакомо это порочное увлечение, и, борясь с собой, он борется с опаснейшим общественным недугом, подхлестнутым Смутой и усиливавшимся под духовной диктатурой Филарета.

Помимо страха и пьянства Антоний Подольский обличает стихами и прозой блуд, пишет и говорит „О слабом обычае человеческом”, призывая заботиться „О чести родителей своих”, рассуждает „О пре-

лестном сем и видимом нами свете и о живущих нас всех человеках в Новом завете”, „О человеческой плоти”, а позже — „О царствии небесном, Богом дарованном и вечном, и о славе святых”. При богатом богословском „антураже” автор выступает, как правило, с позиций простой, народной правды, ищет в мире справедливости к человеку.

Произведения Антония отражают его глубокую образованность и высочайшее почтение к знаниям, собранным в книгах. „Предисловия многообразные” были одним из особых направлений его творчества. В стихах и прозе он говорил читателям о ценности предлагаемых их вниманию книг, в том числе знаменитого Русского Хронографа, повествующего о мировой и отечественной истории, „философской книги Лавиринф” (перевода „Лабиринта мира” Яна Амоса Коменского), „Лествицы” Иоанна Лествичника¹⁹.

Сама жизнь давала Антонию Подольскому материал для нравственных проповедей, и его произведения складывались в весьма поучительную картину русской жизни после Смуты. Недаром они многократно переписывались и даже в конце XVII века декламировались публично, проникали и в монастыри, и в частные дома, и даже в царский дворец. Это неудивительно — ведь нравственная позиция Антония выражалась ясно и конкретно, его стихи и проза становились предметным уроком человеческой нравственности.

Литератор не боялся, например, обратиться с обличением к видному государственному деятелю, который под покровительством высоких властей ограбил своего подчиненного, и потребовать вернуть награбленное²⁰. Антоний обвиняет начальника в том, что тот одержим недугом корыстолюбия, что его, как идолопоклонника, неудержимо влечет к серебру и золоту. Это страшная болезнь, заставляющая людей губить своих братьев и свою душу, неотвратимо влекущая к адскому огню. Конечно, пишет Антоний, бог

Не повелевает никому никого осуждать,
Но ведь не возбраняет и злые нравы обличать!
Все мы по слабости своей грехотворители
И сего прелестного и суетного мира любители,
Каждый из нас своим грехом побежден бывает,
За это наказаний от Бога много получает.
Поэтому нужно друг друга поучать
И от злого дела отвращать!

О тебе, обращается стихотворец к начальнику, уже идет недобрая слава как о насильнике и грабителе, отнимающем у бедняков последнее, заставляющем людей проливать слезы, оплакивая безвинно обвиненных. Антоний не может понять, как позволяет себе такое образованный, хорошо знакомый со Священным писанием человек? В этом мире „многоковарный муж” оказывается правым, даже если и виноват, — но есть и высший суд! Не наноси себе „душевный вред”, обижая сирот, призывает Антоний, ибо такое „злохристианство” не будет прощено.

Злодейство начальника возможно только при условии разложения „верхов”. Смотри, говорит Антоний, о тебе никто не скажет доброго слова,

Кроме твоих друзей и любителей,
Таких же злых христианских томителей!
Они тебя по своему нраву весьма похваляют
И перед государем ложными словами защищают,
А христианству никак не помогают,
Но больше еще неправедными словами оклеветают.
И государь наш к тем словам их приклоняется,
А к христианству своему не умиляется,
Но еще более немилосердным становится.
Подбивший его на грех в рай не вселится!
Государь вновь ложным словам веру емлет,
А от бедных людей слов не приемлет,
Продолжает бездельно их отсылать
И на них же большую вину возлагать!

В этих условиях поэт может лишь просить начальника опомниться: „И к подручным твоим милость показать — у кого что взято, хоть немного отдать”. Антоний

красочно описывает бедствия человека, который „бедностью погибает и как ворон без крыльев между домов скитается... Бедность его всегда как ножом колет.

И ныне молю имеющуюся у тебя честность
Не восставать на его великую бедность
И милость тебе к нему свою показать:
Хоть мало что ему, бедному, отдать,
Чтоб ему, беспомощному, не погибнуть до конца,
А тебе заслужить милость от Создателя и Творца.
Если не слушаешь этого к тебе обращения —
Берегись от Бога вечного мучения!
Силен Бог за сирот своих мстить,
Творящему зло добра не получить!
Хотя и сам Божественного писания разумеешь,
Нрава своего и привычек унять не умеешь.
Лют, воистину лют человеческий нрав,
Добро тому, кто ни к кому не лукав,
Еще больше тому, кто никого не обидит,
И всегда Божественное писание видит,
И все исполняет по писания речению,
И не исхитряется к человеческому мучению!”

Стихотворец не первый, кто пытался обратить начальника на праведный путь. Антоний знает об этом:

Слышал, что некто из друзей твоих к тебе писал,
Чтоб ты от такого своего нрава и обычая отстал —
И ты ни за что слов его не слушаешь,
А горести христиан как мед кушаешь.

Автор понимает, насколько трудно человеку переменить свой нрав и поведение, тем более что сам хорошо знаком с растлевающими душу отношениями в системе власти, в частности в приказах (центральных ведомствах России XVI—XVII веков). Там

Мзда и у самых мудрых очи ослепляет.
Нас же с тобой неудивительно ослепить,
Поскольку мы в обычных чинах поставлены быть.
Однако ты ум и смысл собственный имеешь,
И Божественное писание разумеешь,
И отличаешь доброе от худого:
Потому не держи обычая злого!

Ранние российские бюрократы еще не настолько за-
костенели в злодействе и эгоцентризме, чтобы на них
не могло воздействовать произведение нового для того
времени искусства стихотворной речи. Как ни странно
может показаться современному читателю, но началь-
ник-грабитель, получив послание Антония, по-видимо-
му, вернул награбленное сторицей. По крайней мере,
Косой, за которого просил поэт, вскоре стал богат,
продвинулся по службе, приобрел влияние при дворе.
Следующее стихотворное послание Антония показыва-
ет, что из этого вышло.

Возвысившись, Косой прямо-таки „бесовской”,
„безумной гордыней усвирепел”. Антоний был пора-
жен, как быстро переменялся этот образованный, хо-
рошо знакомый со Священным писанием человек.
Косой не только гнушался своим благодетелем, но
насмехался над ним, всячески поносил, обращался как
со псом и звал к себе только для того, чтобы унижить.
Моральную проповедь Антония, оказавшую ему такую
помощь, Косой презрительно называл юродством. В от-
личие от своего старого начальника-грабителя, выскач-
ка не мог оценить идею честной бедности, которую про-
поведовал стихотворец. Общение с ним, пишет Анто-
ний, стало невозможно:

Ныне ты по царской милости разбогател,
Потому нами, убогими, и возгордел.
Но может Бог, дав, и отнять,
А не творящему добра — добра не видать!
Хотел было с тобою знаться,
Но нельзя убогому с богатым соединяться,
Тем более недостойно с ним дружбы держать:
Каждому нужно свой круг знать
И выше себя (друзей) не искать...
Невозможно агнцу с волком жить
И убогому с богачом дружбу водить,
Еще хуже — смиренному с гордыми и величавыми,
И нравами, и обычаями лукавыми.

„Гордые и величавые”, по мнению Антония, еще хуже простых корыстолюбцев и грабителей от власти, ибо они принципиально отвергают совесть и мораль. Они — настоящий бич русского общества, и Антоний не случайно говорит Косому:

Вспомни прежних гордых и злых царей,
Этих лютых и неистовых зверей,
Как они за злую гордость зло пропали
И в Адскую пасть душами своими впали!

Взывать к совести новоявленных „гордых и величавых” бесполезно, только угрозы и прямые обвинения доступны их уму. Смотри, угрожает Антоний:

Как бы ты не пришел в прежнее состояние
И не стал для всех людей в посмеяние.
И это письмо писано к тебе досадительно,
Однако будет тебе и вразумительно,
Потому что такому заблуждению возбраняет
И твое безумие обличает.
Хоть и много ты знаешь Божественного писания,
Но не способен стоять против бесовского запинания.

Стихотворец знает, что все его слова бесполезны: „гордых и величавых” невозможно исправить, их уши закрыты для правды:

Больше я не буду к тебе писать,
Заткнутым ушам меня не услышать,
Также гордым и величавым,
Такие не внимают словам здравым,
На свою гордость и упрямство уповают
И добро как зло принимают...
Этому писанию здесь конец,
А творящему зло не будет от Бога венец!

Мы видим, что все „богословие” Антония Подольского в этих стихах сводится к признанию существования некоего высшего гаранта простых моральных принципов. Как и в других своих произведениях, литератор идет скорее от народных взглядов на правду и справед-

ливость, чем от христианской философской традиции. Народные поверья он отстаивает и в церковном споре, разгоревшемся накануне возвращения в Москву из польского плена Филарета Никитича. Здесь, как и в проповедях на площади, и в стихотворных посланиях, в делах и судьбе Антония отражаются драматические, а порой трагические черты послесмутного времени.

Я уже упоминал о жестоком осуждении церковным собором группы ученых монахов и священнослужителей, под руководством Дионисия Зобниновского сверявших между собой греческие и русские списки Потребника, чтобы исправить накопившиеся за века ошибки. Архимандрит Троице-Сергиева монастыря Дионисий, славный руководитель обороны этой обители от интервентов и один из вдохновителей всенародного ополчения в Смуту, при всей видимой кротости характера занялся делом, которое другие считали своим. Ожесточенные нравы привели к столкновению с трагическим исходом.

Уставщик Троице-Сергиева монастыря Феофан, украшенный „сединами добрыми старец“, более полу-столетия проживший в монастыре и более сорока лет ведавший в нем уставом богослужения, возмутился и воспротивился указаниям, которые начал давать Дионисий. Еще более оскорбился выдающийся мастер церковного пения и чтения, троицкий головщик (руководитель хора) Логин Корова, когда Дионисий позволил себе поучать его в музыкальной области. Остроумный, не лазающий за словом в карман музыкант не без яда отвечал:

Погибли места святые от вас, дураков,
Везде вас теперь много, неученых сельских попов,
Людей учите, а сами не знаете, чему учите!

Когда же Дионисий стал распоряжаться на клиросе (где стоял церковный хор), Логин выразился еще резче:

Не ваше дело петь или читать —
Знал бы ты одно, архимандрит, с мотовилом своим на клиросе как болван онемев стоять!²¹

Начало исправления Дионисием с товарищами Потребника Логин воспринял как прямое покушение на свое дело — ведь в Смуту, при Шуйском, именно он готовил к печати церковные уставы. Среди книжников начались споры, сопровождавшиеся взаимными оскорблениями. О том, насколько запальчиво вели себя противники, свидетельствует, например, высказывание Логина, в ярости назвавшего „хитрость грамматическую и философов книжное” еретичеством.

Так считали, конечно, не все противники Дионисия и его товарищей, но тон, взятый Логином, был близок сердцам многих представителей высшего духовенства и незамедлительно нашел отклик. Вскоре обнаружился и повод, чтобы „обличить” Дионисия, который внес изменение в молитву на водоосвящение. Из фразы „Прииди, Господи, и освяти воду сию Духом твоим и огнем” справщики вычеркнули окончание: „и огнем”. Дионисий с товарищами (по-видимому, справедливо) сочли, что это добавление ошибочно, привнесено писцами. Но многие, пользовавшиеся Потребником с добавленными словами, искренне считали, что Святой Дух — это огонь. Таково было народное поверье, особенно близкое сердцу ремесленников, имевших дело с огнем. Так верил и Антоний Подольский.

Литератор не устоял перед искушением обличить „ересь” Дионисия и его товарищей. Антоний написал обширный богословский трактат „О огне просветительном” (известный в изложении Ивана Наседки)²². Вооруженные этим обоснованием своей позиции, противники Дионисия воспрянули духом. Уставщик Феофан,

гимнограф Логин и троицкий ризничий дьякон Маркелл донесли церковным властям, что в Троице-Сергиеве монастыре свила гнездо ересь: сам архимандрит с Арсением Глухим и другими монахами „Духа Святого не исповедуют, яко огонь есть” и вообще хотят вывести огонь из мира! Машина церковного суда закрутилась...

В Москве, где ждали возвращения из плена царского отца, чтобы „избрать” его на патриарший престол, во главе церковной иерархии стоял крутицкий митрополит Иона. По его повелению объявленные еретиками люди были схвачены и доставлены в столицу. В течение четырех дней Дионисия с товарищами „с бесчестьем и позором” приводили из места заключения на патриарший двор, по дороге издеваясь над ними и избивая их. Затем „расследование” было перенесено в Вознесенский монастырь, в келью царской матери Марфы Ивановны, некогда насильно постриженной в монахини.

Никто не задавался вопросом, какое отношение пожилая монахиня имеет к вопросам богословия, — она представляла собой власть, и этим все было сказано. В судилище над Дионисием с товарищами особенно ярко проявилось единодушие духовной и светской власти в деле преследования инакомыслящих: они шли рука об руку по незаконному пути тирании. При этом ученые люди, представляя свои споры на суд невежд, способствовали взаимоистреблению. На этот опасный путь ступил и Антоний Подольский, трактат которого использовался невежественными и жестокими судьями как жупел. В горячке спора с Дионисием Антоний явно не вспоминал часто повторявшиеся Хворостинным слова, что „лучше биту быть, а не бить”.

Напротив, проповеди Антония Подольского собирали толпы народа, особенно ремесленников. Они поджидали провода арестованных, чтобы осыпать закованных в кандалы людей плевками и грязью, избивали их, вопили оскорбления и улюлюкали. Но Дионисий про-

явил величайшее мужество и несгибаемую твердость духа. Он улыбался под плевками толпы и скованными руками благословлял издевающихся над ним. На патриаршем дворе, в келье царицы-инокини, на освященном соборе он много часов защищал свою позицию учеными аргументами, терпеливо разъясняя необходимость сравнения многих списков для исправления отечественной церковнослужебной литературы, несмотря на явное непонимание судей, заранее решивших расправиться с ним. Даже малодушие товарищей (в частности, Арсения Глухого), испугавшихся расправы и искавших оправданий, не смутило Дионисия. Он продолжал стойко защищать истину.

Низость судей была настолько велика, что в какой-то момент церковный суд чуть было не превратился в фарс: в наказание за „еретичество” корыстолюбивые церковные иерархи определили... взятъ с Дионисия штраф в огромную по тем временам сумму — в 500 рублей серебром. Трудно было придумать большее саморазоблачение! Стяжательское духовенство не побоялось открыто мерить благочестие деньгами (как тут не вспомнить, что писал Хворостинин якобы о католиках). Эта позорная финансовая операция, однако, не удалась.

С улыбкой глядя на своих судей, игумен богатейшего в России монастыря, не приобретший лично никакого имущества, спокойно ответил: „Денег у меня нет, да и дать не за что: плохо чернецу, когда его расстричь велят, а достричь (то есть обречь на жизнь в самых жестких условиях, подобно схимнику) — то ему венец и радость. Сибирью и Соловками грозите мне — но я этому и рад, это мне и жизнь!” Дионисия пришлось осудить на заточение в Кирилло-Белозерском монастыре (куда вслед за ним угодил Хворостинин).

К характеристике осудивших Дионисия следует добавить, что они просто не могли себе представить, что

троицкий архимандрит мог „не стяжать” изрядное богатство. Надеясь вырвать у него деньги, узника продолжали пытать еще сорок дней, непрестанно избивая, мучая и моря дымом. Гибель Дионисия была predetermined, однако... в Москву торжественно прибыл обмененный на полковника Струся митрополит Филарет Никитич, незамедлительно сделанный патриархом.

Столь же незамедлительно Филарет показал, что „новая метла по новому метет”. К счастью для Дионисия и его товарищей, он заинтересовался накопленным без него опытом преследования еретиков и остался им неудовлетворен. Патриарх догадался спросить бывшего тогда в Москве иерусалимского патриарха Феофана: „Есть ли в ваших греческих книгах прибавление: „и огнем”?”

— Нет, — ответил Феофан, — и у вас тому быть непригоже; добро бы тебе, брату нашему, о том позаботиться и исправить, чтоб этому огню в прилоге (ненужном дополнении. — А. Б.) и у вас не быть.

В этой беседе, переданной современником, есть одна существенная деталь, опровергающая версию о поиске Филаретом истины: ведь еще до ответа Феофана он называет слова „и огнем” прибавлением! Ясно, что для себя Филарет уже решил, кто прав, а кто виноват, и единолично пересмотрел приговор соборного суда.

Теперь костоломный маховик сделал полный оборот, и те, кто его толкал, сами попали под колесо. В начале лета 1619 года в Москве в патриаршей палате начал заседания освященный собор с участием двух патриархов — московского и иерусалимского. На этот раз обвинителем выступал оправданный архимандрит Дионисий, державший свою речь более восьми часов. Дионисий с товарищами был освобожден из-под стражи и смог вернуться в Троицу. Логин, старец Филарет, дьякон Маркелл и конечно же Антоний Подольский были

прокляты как еретики и в цепях отправлены в „места не столь отдаленные”.

Место несгибаемого Дионисия занял столь же несгибаемый Антоний Подольский, не сломленный пытками и издевательствами, продолжавший отстаивать свои взгляды и на суде, и в ссылке, а потому уготовивший себе наиболее жестокую участь. Его упорство произвело известное впечатление даже на патриарха Филарета, усомнившегося в правоте своих советчиков. Не то чтобы Филарет поколебался вынести приговор — этого от него нельзя было ожидать. Но при отъезде из Москвы патриарха Феофана он потребовал: „Тебе бы, приехав в Греческую землю и посоветовавшись со своею братьею, вселенскими патриархами, выписать из греческих книг древних переводов, как там написано о Святом Духе”.

Патриарх подозревал, и справедливо, что сторонники Дионисия вошли в соглашение с приезжими греками, но не знал, способен ли иерусалимский патриарх ради этого соглашения солгать (ведь сам Филарет в этих книжных тонкостях не разбирался). По приезде на Восток патриарх Феофан выполнил просьбу своего московского собрата и вместе с антиохийским патриархом Герасимом прислал в Москву грамоту против прибавления в водосвятной молитве слов „и огнем”. Между тем в российской столице продолжалось устное и письменное „обличение” Антония Подольского: пострадавшие от его проповеди ученые мужи энергично добивали коллегу. Против его трактата был пущен оборот обличительный трактат. Взамен обвинений группе Дионисия в неверной правке Потребника Антоний был обвинен в искажениях при подготовке к печати Псалтыри (изданной уже после его заточения, 3 октября 1619 года).

К счастью, не все направленные в Антония стрелы долетали до далекого северного края, куда он был сослан. Многие там зависело не от церковных властей,

а от вполне самовластных воевод, нуждавшихся в толковых администраторах. Антонию сравнительно недолго пришлось терпеть голод и холод в окопах и заточении. В 1621/22 году он стал помощником Мирона Андреевича Вельяминова в описании земель, лежащих вдоль Северной Двины. В 1624 году государевы писцы завершили свой огромный труд, и Вельяминов отправился с результатами валовой переписи в Москву за наградой, а Подольский остался в ссылке. Однако его заслуги были учтены: в 1626 году он был направлен в более теплые края. Получая свое прежнее (разрядное) и довольно высокое годовое жалованье в 33 рубля, ссыльный занимался организацией производства селитры в Козельске.

Сведений о дальнейшей службе Антония Подольского в документах не имеется, и положение ссыльного, по-видимому, вновь ухудшилось. Как раз в это время от двора патриарха Филарета расходилась по стране новая волна реакции, отмеченная сожжением в 1627 году „Учительного Евангелия” Кирилла Транквиллиона „за слог еретический и составы, обличившиеся (обнаруженные) в книге”. Тогда же изданный Печатным двором Катехизис Лаврентия Зизания был запрещен к выпуску в свет. В следующем году гонения охватили уже всю церковнославянскую литературу „литовской печати”, выпущенную православными типографиями Белоруссии и Украины, входившими в состав Речи Посполитой. Эти книги массово изымали из церквей, заменяя их произведениями московского Печатного двора, конфисковались они также у частных лиц, как повально „еретические”. Подозрения пали и на греческие книги, издававшиеся в западноевропейских типографиях. О латинских книгах вообще не было речи — их давно зачислили в разряд содержащих „яд ереси”.

Казалось, власти должны были забыть о ссыльном, подававшем о себе вести разве что проникнутыми глубоким чувством симпатии письмами к своим немного-

численным доброжелателям. Но не таковы были ученые книжники, помнившие выступление Антония против группы Дионисия, и не таков был патриарх Филарет. Усиление при патриаршем дворе прогреческой группировки бывших соратников Дионисия отразилось на судьбах их бывших противников. В 1633 году в Москву прибывает александрийский архимандрит Иосиф, которому доверяется перевод греческих книг на славянский язык; в столице открывается греко-латинское училище Арсения Глухого; издается патриаршая грамота против Логина Коровы.

Вспоминая еще более давние события, чем соборы 1618—1619 годов, грамота Филарета повелевает отбирать все печатавшиеся при Шуйском церковные уставы, „потому что эти уставы печатал вор, бражник, Троице-Сергиева монастыря крылошанин (певчий. — А. Б.) чернец Логин, и многое в них напечатал не по апостольскому и не по отеческому преданию, а самовольством”. В грамоте звучит настолько свежая ненависть к сторонникам „огня”, что им явно нужно было ждать усиления преследований. Так и произошло.

Антоний Подольский к этому времени, наученный горьким жизненным опытом, многое переоценил в своем поведении. В стихотворном послании к просвещенному и многоученому духовнику Симеону Федоровичу поэт и проповедник жалуется на свое неразумие, хотя, пишет он о себе, „философское быстрозрительное учение разумно познал”. Теперь Антоний высоко ценит „кротость духа”, а не только „остроумное разумение” и горько сетует на совершенные по буйству своего характера грехи. Раскаяние гнетет стихотворца не меньше, чем бесполезное, оторванное от жизни страны существование.

Хочется верить, что, осознав гибельность взаимообвинений ученых людей в еретичестве перед лицом всегда готовых казнить невежд, Антоний Подольский, будь ему позволено, уже не повторил бы своих обвинений

против Дионисия Зобниновского. Но это не значит, что литератор изменил своей позиции относительно „огня”. Он продолжал твердо стоять на своем, даже когда был вновь закован в цепи и привезен на очередной, на этот раз последний суд в Москву в конце 1633 — начале 1634 года. Антония должны были убить — и он встретил убийц с достоинством истинного русского писателя.

О мыслях и чувствах Антония Подольского в этот критический момент свидетельствует его письмо бывшему товарищу и единомышленнику, игумену Богоявленского монастыря и справщику Печатного двора Илье, написанное из темницы в ожидании судебной расправы. Это письмо и ответ на него, недавно изученные и опубликованные, являются трагическими и достоверными документами эпохи, отражающими важные явления в русском обществе и в православной церкви первой половины XVII века.

„О святой божий человек, — пишет Антоний, — почто забыл нищету и печаль нашу! Или не ведаешь, что уже липнет земля к гробу нашему из-за безмерных скорбей и неистерпимых печалей, выстраданных в изгнании в дальних странах. И еще лютее страдаю ныне в царствующем граде, связан узами железными и не ведаю, зачем привезен сюда царским повелением.

— Писание говорит: Братья, в бедах помощниками бывайте! За это и благодати от Бога бывают. И еще: Тебе оставлен нищий, сирому будь помощник! — Это же самая истина и жизнь говорит. Больше той любви никто не имеет, кто положит душу свою за други своя. И еще: В темнице был и пришли ко мне. И что ты делаешь нам, убогим, — пишет Антоний о себе, — то самому Богу сотворишь.

— Зачем же отклонил стези наши от пути твоего и забыл нас в месте озлобления? Разумей, как от утра до вечера изменяется время, так все скоро пред Богом! В досаде пишу. Потому что мы изнемогаем, а ты сыт, ты обогатился и без нас царствуешь. Спишь на богатой

постели, ешь мясо от тучных стад, пьешь цеженое вино, мажешься древними благовониями — и нисколько не страдаешь о сокрушении нашем.

— Люта болезнь, и язва без исцеления, потому что сонм державных ищет взять душу мою! Не ведают они милости Божией и забыли сказанное апостолом: „Если кто впадет в некое прегрешение...” И прочее всем ведомо. Сын Божий — сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшего. Не праведных пришел он призвать на покаяние, но подобных мне, грешному. Он в девяносто девять раз больше радуется о спасении погибшего!

— Пастыри же настоящего века уклонились против меня в беззаконие и в лютом гневе враждуют на меня. И возненавидели меня, как врага истины. Они говорят против меня зло вместо благого. И питают непримиримую ненависть за мою любовь. И не уподобляются ни в чем общему нашему Владыке и Благодетелю.

— Они (церковные иерархи. — А. Б.) восприняли против меня лютость древних мучителей и губят меня, нищего, дальним заточением. Они своей злобой отягчились... Я, убогий, даже во время смерти их (то есть патриархов Филарета московского и Феофана иерусалимского. — А. Б.) не получил от них разрешения (от анафемы) и не слышал даже письменного прощения.

— С тех пор (после соборного суда. — А. Б.) и по сей день наместники их люто на меня скрежещут зубами своими, преследуют многими темницами, стужей и голодом, и неразрешимыми узами вяжут меня, нищего, и хотят уморить злой смертью...

— И ныне знай, возлюбленный, разве, кроме тебя, есть кто, имеющий разум понимать тонкость настоящего богословия, и светозарную правоту философии, и подлинную правду грамматического учения о восьми частях слова?! Ты действительно знаешь, что именно они подвигли меня против всякой неправды в книжном писании, о которой ты и сам ведаешь и, знаю, из

страха молчишь. Я восстал на всякую неправду сильных сего века, сердце вопиет на нее в уши господа Саваофа.

— Как пищаль медная скорбь наша. Разграбленные имения, нищета и позор кричат к тому, кто хочет праведно судить вселенной, кто отнимает дух князьям и страшен больше царей земных! Тому слава ныне и в день века. Аминь”.

Так взывал Антоний к своему бывшему другу и соратнику, единомышленнику и собеседнику, желая получить в тяжелый час даже не помощь, но хотя бы слово сочувствия. И получил ответ Иуды — но не раскаявшегося, а гордого в своей измене и кичащегося предательством. Как человек, которого Антоний спас от нищеты, разбогатеv и возвеличившись стал злом большим, чем прежний грабитель (который сохранял все же остатки совести), — так и ученый искатель истины, заняв теплое место в церковной иерархии, ныне бил Антония сильнее, чем невежественные судьи на соборном суде.

Ответ богоявленского игумена и ученого справщика Печатного двора Ильи Антонию Подольскому является образцом апологетики смиренной покорности духа и полон проклятиями „самомыслию”. Илья не просто подчинил свой ум начальственным указаниям, он вдохновенно проповедовал идеи „хождения по одной половине”, суждения „не выше сапога” и воспевал бессмертный лозунг: „Не рассуждать!” Его послание Антонию — важное свидетельство из истории формирующейся российской интеллигенции, испытавшей уже в зачаточном состоянии тяжелое давление Великого разорения и Смуты. Послание показывает, как, пораженные ужасом истребления инаковерия и инакомыслия, ученые, книжные люди сами становились винтиками машины духовного гнета, которая утрамбовала под

один уровень общественную мысль, беспощадно давя все сколько-нибудь выдающееся, отличное от других.

Антоний забыл, что его старый друг стал винтиком церковной организации. Илья об этом напомнил. „Как смел ты дерзнуть, — писал он Антонию, — в исповедании православной в Троицу бога веры изменить установление о исхождении Святого животворящего Духа, утвержденное вселенскими соборами?! За это — и изгнание в дальние страны, и озлобления, и скорбь немалую терпишь, и здесь (в Москве. — А. Б.) в оковах и узах страдаешь, пока не покаешься начисто!”

Антоний взывал к милосердным идеям Нового завета — Илья с восторгом приводил ветхозаветные прецеденты жесточайших наказаний за малейшую ошибку, даже за проступок, совершенный с лучшими намерениями. Обращение Антония с просьбой о сочувствии кажется Илье нелепым. Если бы еретик валялся в ногах у церковных иерархов и, рыдая, молил о прощении, его еще можно было бы „исправлять духом кротости”. Те же, кто отличается „упрямством и самомнением”, не заслуживают жалости — „да устрашатся и прочие!”

Идея милосердия настолько чужда тому, кто стал частью церковного аппарата, что Илья небрежно бросает: зачем жалеть человека, не позаботившегося о язвах на своем теле, вызвавших лихорадку, нагноение и смерть? Что же тогда говорить о человеке, обезумевшем настолько, что „прельщается самосмышлением”?! Ясно, что его надо уничтожить, как нарыв, но Илья переходит к этому очевидному для него итогу не сразу, а вдоволь поиздевавшись над надеждами своего бывшего единомышленника, пространно оспаривая все тезисы послания Антония.

„Ты начальственно повелеваешь нам разуметь, — пишет Илья, — как с утра и до вечера изменяется время — а сам не одно уже, не два, не три лета, но множество в прежнем своем дерзком неистовстве пребываешь, не изменяясь, как рысь не может сбросить

пестроту свою или негр — черную кожу свою”. Негибкость Антония, его неспособность приспособлять свои взгляды к требованиям изменчивого времени вызывают у Ильи резко отрицательное отношение. Ведь Антоний — не начальник, не пастырь душ, а подначальный, овца в общем стаде, и должен идти, куда пастух гонит все стадо. Иной путь — мятеж! „А о сытости, и о цеженем вине, и о прочем мирском напоминаешь мне — и это все так! — не может не похвалиться Илья наградой за свое послушание. — Но берегись, да не впадешь в фарисейство”. Каждому свое: мятежнику — цепи, послушному — недостаток.

Потерять недостаток страшно. „Вспомнил ты о пастырях, как приписали тебе беззаконие, и говорят на тебя зло за благо, и отвечают ненавистью на любовь твою, и не уподобляются ни в чем нашему Владыке и благодетелю, и, будто древних мучителей лютость восприняв, губят тебя дальним заточением, — отвечает Илья узнику. — И ты, не знаю, о каком способстве пишешь к нам?!”

Илья испуган, он даже не понимает, как можно помогать „непокорному”, наказанному начальством? „Если кто и мало что-то скажет против начальников, хоть они и злые”, — это грех. Ветхий завет гласит, что даже злодеев в начальстве нужно слушаться беспрекословно. Так „какой милости достойны те, кто церковных председателей, благодатью Божией с тихостью живущих, оплевывают и попирают?!” Ты, пишет Илья Антонию, подчиненный, и за такие слова о начальстве тебе нет прощения! А за изменение церковного догмата ты недостойн милости.

Как же быть с ученостью, которую столь ценит узник, с тонкостью богословия, правотой философии и правдой грамматики? „Мы не всезнающи, — отвечает Илья, — но если что и знаем — отчасти знаем, поскольку Бог открыл нам к чистоте и просвещению разума, а не к поощрению на всякую неправду книжного писа-

ния". Это дьявол соблазняет применять свою ученость там, где не надо. „Где в грамматике указано изменять исповедание православной веры или мать всем божественным книгам — псаломскую книгу Псалтырь, которую ты смел во многих местах изменить? Не найдешь об этом не только в грамматике, и риторике, и в диалектике, но ни в одном из учений семи свободных мудростей! Увы, дерзости! Подобаает всей силой держаться церковного чина, ибо тот указывает каждому, что подобаает на пользу и исправление жизни христианской, а не грамматика, не диалектика, не риторика и прочее!”

Ты, пишет Илья Антонию, логику „ложно и развратно воспринял”, она, как и все науки, не дает права на инакомыслие. „Ино мыслящий” — значит смущающий, а смущающий — значит развращающий. Известно, что малая закваска квасит „все смешение”. Поэтому инакомыслящие от общества должны быть „отсечены”. „Не к тому нас призвал Господь, чтобы колебаться!.. Может и малое прегрешение, оставаясь неисправленным, в совершенное зло привести”. Иными словами, пощады инакомыслящему не будет.

Только немедленное и полное „раскаяние” Антония Подольского, может быть, еще поможет обреченному. Тогда, заключает Илья свое высокомерное послание, „и мы, поелику можно... можем способствовать к исправлению, а не к сомнению твоему. Короче, да вложит тебе Бог в сердце начисто раскаяться. Ему же слава вовеки. Аминь!”

Антоний Подольский убедился, что ни милости от церковных иерархов, ни поддержки от ученой братии ждать не может. Даже смерть патриарха Филарета не отменила готовящейся расправы над литератором-вольнодумцем. Материалов второго церковного суда над Антонием не сохранилось. Письмо бывшего друга, оправдывавшего беспощадную расправу за малейшее отступление от общей, санкционированной сверху „истины”, достаточно ясно свидетельствует об атмо-

сфере, в которой проходил церковный суд. О приговоре гадать не приходится — еще один русский писатель навеки умолк, раздавленный машиной для утверждения единомыслия.

Но не умолкли произведения Антония. Еще более популярные, чем сочинения князя Хворостинина, они распространялись и переписывались, читались и декламировались. Как зеленые побеги через каменную кладку крепостной стены пробивались вольные слова к русским людям, ожесточенным идеологической конфронтацией и запуганным репрессиями, но еще до конца не сломленным, не потерявшим человеческий облик. Рукописи горели на кострах доморощенных инквизиторов, но „мрак невежества” освещался и сиянием свободной мысли с исписанных бумажных страниц.

* * *

Горячее попечение патриарха Филарета Никитича о единомыслии, свирепые меры вкоренения в людские души ненависти к иноверию и иномыслию, пресечение малейших отклонений от установленных церковных правил не дали и не могли дать положительных для церкви результатов. Сама вера все более сводилась к ритуалу, к соблюдению внешних форм, буквы, а не духа. Закаленная в огне Смуты жестокость не укрепляла, а разрушала устой российской православной церкви. Дело еще не дошло до взрыва, расколовшего ее здание при патриархе Никоне, но после смерти Филарета новый патриарх — Иоасаф (с 1634 года) вынужден был подводить горестные итоги.

„В царствующем граде Москве, — писал Иоасаф, — в соборных и приходских церквах чинится мятеж, соблазн и нарушение вере, служба Божия совершается... со всяким небрежением, а мирские люди стоят в церквах с бесстрашием и со всяким небрежением, во время святого пения беседы творят неподобные со смехотворением, а иные священники и сами беседуют, бесчинст-

вуют и мирские угодия творят, чревоугодию своему последуя и пьянству повинуюсь... Пономари по церквам молодые без жен; поповы и мирских людей дети во время святой службы в алтаре бесчинствуют; во время же святого пения ходит по церквам шпана, человек по десятку и больше, от них в церквах великая смута и мятеж, то они бранятся, то дерутся... иные притворяются малоумными... иные во время святого пения в церквах ползают, писк творят и большой соблазн возбуждают в простых людях... Всякие беззаконные дела умножились, эллинские блядословия, кощунство и игры бесовские... да еще друг друга бранят позорною бранью — отца и мать блудным позором — и всякою бесстыдною нечистотою языки свои и души оскверняют²³.

Страх и ненависть — эти ядовитые цветы Смуты, бережно взращивавшиеся высшей властью, — отравляли души, наполняя воздух России своим тлетворным запахом, запахом застенка, костра и плахи. Но человек был неистребим, и белые гусиные перья продолжали летать над бумагой, призывая к свободе духа, любви, милосердию, бескорыстию, мужеству и познанию.

Глава III

Раскольники





имняя вьюга отодвинула рассвет над Москвой, подняв снежные вихри выше Ивана Великого. Злой ветер с острой снежной крупой пронизывал насквозь бедное одеяние священника, вытертое годами тюрем. Меж кремлевских соборов, под продуваемыми ветром дворцовыми переходами кучка красноносых стрельцов в тулупах и лисьих шапках вела в Чудов монастырь очередного узника на суд и расправу. Окна большой монастырской трапезной, куда направлялся конвой с подсудимым, от горящих внутри свечей светились багровыми огоньками, напоминая пролитую кровь мучеников старой веры. Патриарх Никон, безжалостный гонитель тех, кто осмеливался противостоять его произволу, давно оставил престол, а только что был осужден и лишен сана еще более высокой церковной властью — тем самым большим собором, что, покончив с Никоном, принялся за искоренение противников его реформ¹.

Когда стража втокнула бедного священника из теплых сеней в трапезную, его глаза, привыкшие к мраку подземелья, не сразу нашли икону в красном углу: все вокруг сверкало драгоценностями. Золото и серебро покрывало богатые мантии высших церковных иерархов там, где они не были затканы жемчугом.

Алмазы и изумруды, рубины и сапфиры резали глаз искристым блеском. Всплески холодного пламени летели с крестов и панагий*, посохов и митр, с окованных драгоценными металлами переплетов книг, с золотых тронов вселенских патриархов, с одеяний царских сановников. Вся палата была заполнена высокими церковными и светскими властями, один вид которых должен был подавить всякое поползновение к сопротивлению и противоречию воле большого собора.

Среди его участников на центральных тронах сидели два вселенских патриарха — Паисий александрийский и Макарий антиохийский. Пять митрополитов представляло константинопольский патриархат: Григорий никейский, Козьма амасийский, Афанасий иконийский, Филофей трапезундский, Даниил варнский, и еще один архиепископ — Даниил погонянский. Иерусалимский патриархат и Палестину представляли митрополит Паисий газский и архиепископ Синайской горы Анания. Из Грузии был митрополит Епифаний, из Сербии — епископ Иоаким Дьякович, с Украины — блюститель киевской митрополии епископ Мефодий мстиславский и знаменитый ученостью черниговский епископ Лазарь Баранович.

Все русские архипастыри, включая избираемого на патриарший престол Иоасафа II и архиереев двух новообразованных епархий, собрались на соборный суд: митрополиты Питирим новгородский, Лаврентий казанский, Иона ростовский, Павел сарский; архиепископы Симон вологодский, Филарет смоленский, Стефан суздальский, Иларион рязанский, Иоасаф тверской, Иосиф астраханский, Арсений псковский; епископы Александр вятский и Мисаил коломенский; новопоставленный митрополит Феодосий белгородский. Им сопутствовали многочисленные архимандриты, игуме-

* Панагия — небольшая иконка в драгоценной оправе, знак архиерейского достоинства.

ны, другие русские и иноземные духовные лица, часто не уступавшие архиереям ни роскошью облачения, ни влиятельностью в церковных и светских кругах.

По суждению известного автора „Истории русской церкви” митрополита Макария, „в числе этих иерархов находились представители от всех самостоятельных церквей православного Востока”². Это был самый представительный, еще невиданный в России по масштабам и блеску церковный собор — собор, от которого ждали наконец „вожделенного мира” в русской православной церкви, прекращения раздиравших ее конфликтов, угрожавших распадением на части, расколом. Большой собор 1666—1667 годов был, безусловно, важнейшим, переломным моментом, с одной стороны, в борьбе за единство церкви и, с другой — в возникновении раскола. Что же происходит: несколько человек, фанатично защищающих старые порядки, впад в ересь, с проклятиями проповедают устно и письменно, из застенков и ссылок против официальной церкви, поднимая на свою сторону все большие массы народа — или же речь идет о разделении самой церкви?!

Глядя на жалкую фигурку приведенного стрельца-ми подсудимого, в своей поношенной темной одежке казавшегося грязным пятнышком на фоне сверкающего зала, церковные и светские власти могли усомниться в серьезности угрожающей господствующей церкви опасности. В самом деле, нужен ли был столь пышный собор, чтобы раздавить одного еретика (или десяток еретиков, ибо на суд приводили и других сторонников старой веры)?! Но перед ними стоял человек такой внутренней силы, вынесший столь чудовищные испытания и не поддавшийся таким прельстительным соблазнам, что, встретив его твердый взгляд, не один из присутствующих опускал глаза, чувствуя внезапно пробежавший по спине холодок. Перед большим церковным собором стоял протопоп Аввакум Петрович³.

Идейная, внутренняя история раскола весьма сложна для понимания и обычно заменяется в общественном сознании картиной противоборства двух действительно ярких и своеобразных фигур русской православной церкви — патриарха Никона и протопопа Аввакума. Оба они родились в бедности в Нижегородском уезде, оба начинали службу сельскими священниками, оба выдвинулись благодаря своим незаурядным внутренним качествам в кружке „ревнителей благочестия” при царе Алексее Михайловиче (оба поссорились с царем — и к обоим своим противникам царь до конца дней испытывал почтение).

Никон и Аввакум были глубоко верующими, подчеркнуто благочестивыми людьми, стремившимися к очищению и укреплению православия. Оба были бескомпромиссны, не жалели никаких сил и средств для достижения целей. Каждый твердо считал себя подвижником, направляемым божественной десницей. И Никону, и Аввакуму являлись видения, они были уверены, что сила их молитвы исцеляет душевно и телесно больных (возможно, так оно и было). Оба отличались крутым характером, насколько позволяло положение, каждый мог быть жестоким. Аввакум и Никон были осуждены одним церковным собором, оба пребывали в заточении и позже погибли в течение полугода: один — возвращенный царем Федором Алексеевичем из ссылки, другой — сожженный заживо вместе с товарищами.

Разная судьба, разная степень испытаний не только сделали одного из церковных подвижников в глазах народа героическим страстотерпцем, а другого — гонителем и преследователем. Аввакум, несмотря на свой религиозный фанатизм, перенося в самом жестоком виде страдания и лишения, выпавшие на долю бесправного закрепощенного народа, духовно возвысился до выражения общенародной правды, протеста угнетенных против всех и всяческих угнетателей. Сочинения Авва-

кума, особенно его бессмертное „Житие”, нет нужды рекомендовать читателю — они составляют классику русской литературы. По духовному заряду, по силе воздействия на читателя сочинения „огнепального” протопопа имеют немного равных даже в отечественной литературе XVIII века. Как ни поразительно, труды Аввакума и сейчас издаются для самого широкого читателя без перевода или адаптации: они не требуют перевода, как будто не написаны более 300 лет назад!

Никон оказался, по существу, бесплоден. Он оставил глубокий след не столько в душах людей, сколько в церковной организации и идеологии господствующей церкви. Недаром он долго был светочем множества церковных историков, да и историографов светского направления, трепетно относившихся к государственным мероприятиям и глубоко чтивших само понятие „реформа” (безотносительно к ее последствиям для народа). Только в литературе конца XIX — начала XX века было обосновано более взвешенное отношение к Никону и проводившимся им мероприятиям.

И все же, несмотря на все привнесенные жизнью различия, Никон и Аввакум были изначально явлениями одного порядка. Они вступили в активную жизнь как сыновья глубокого духовного кризиса, уходящего корнями в Великое разорение и Смуту, процветшего и пустившего свои метастазы в период беспощадных гонений на иноверящих и иномыслящих. У Никона, Аввакума и их сторонников воля одинаково заменяла разум, а обрядность, церковный ритуал — более важные, содержательные стороны вероучения. И те, и другие не признавали и тени иномыслия, легко и убежденно проклинали все, что сколько-нибудь отступало от их представлений.

Учитывая, что Никон и никониане выступали гонителями, а Аввакум и его сторонники — гонимыми официальной церковью, для оценки конфликта особенно значительны мнения видных представителей этой самой

церкви, спустя столетия постаравшихся объективно взглянуть на разномыслие XVII века. Вот что писал профессор Московской духовной академии Н. Ф. Каптерев, один из наиболее глубоких исследователей проблемы: „Никон по своему умственному складу и всему строю своего мышления, по общему характеру своих воззрений и понимания предметов веры и всего церковного, ничем существенно не отличался от противников своей реформы: он не обладал сравнительно с ними ни высшим кругом знаний, ни более верным и возвышенным пониманием предметов веры и церковно-обрядовой практики, ни более верным и культурным пониманием окружающих его явлений. Вследствие этого Никон, смело и авторитетно выступая в роли церковного реформатора, ломая и переделывая русскую церковную старину по образцу тогдашней греческой церковной практики, требуя от всех всецелого, безусловного подчинения себе и всем исходящим от него распоряжениям, не мог, однако, вести общество по новым, более светлым культурным путям, не просветлял и не возвышал своими реформами религиозно-церковного понимания тогдашнего общества, не двигал вперед его религиозно-церковную жизнь.

И даже мало этого, — продолжал профессор Каптерев. — Никон, проводя свою церковную реформу... имел очень неправильные представления о предметах своей реформы, то есть он исправлял старый русский обряд как неправый, нововводный, созданный русскими, несогласный с настоящим православным обрядом церкви, тогда как в действительности русский обряд был древний православный греческий обряд, — этого то совсем и не знал Никон-реформатор, почему он и проводил свою церковную реформу совсем не так, как ее следовало проводить. Неправильно принятая и объясняемая (в том числе в наших учебниках. — А. Б.) реформа Никона вызвала сильный протест со стороны ее противников, которые, имея еще более неверные пред-

ставления о происхождении, значении в церкви и отношении к вероучению обряда, открыто восстали уже не лично против Никона, но и против всей признавшей никоновскую реформу церкви”⁴.

Вопросы, по которым велась ожесточенная борьба внутри русской православной церкви, расколовшая в конце концов эту церковь, и в самом деле удивительно поверхностны и мелки. В самом деле, нужно ли креститься двумя или тремя пальцами, петь „аллилуйя” дважды или трижды, говорить в молитве о Христе „Сыне Божий” или „Боже наш”, ходить крестным ходом и вокруг купели по солнцу или против солнца, одевать священническую и монашескую одежду того или иного покроя и т. п.? Вряд ли эти вопросы могут быть поводом для взаимных проклятий и взаимоистребления. Тем не менее именно они и лежали на поверхности трагического конфликта, принесшего неизмеримые страдания и смерть множеству его участников.

„Жалко смотреть на эту нашу вековую церковную распрю, — восклицал Н. Ф. Каптерев, — всю основанную, с начала до конца, на недоразумении, на непонимании, на незнании иногда самых элементарных христианских истин, простых начатков истории церкви, на неверном, неправильном представлении с обеих спорящих сторон о тех предметах, о которых они так неприемлемо и горячо спорят, ссорятся, обличают друг друга в неправославии и разных ересьях, чего в действительности совсем нет у обеих враждующих сторон!”⁵

Показательно, что сходного взгляда придерживается и более близкий к современности крупный историк церкви, шедший в своем исследовании совершенно отличным от Каптерева путем: от изучения греческих отцов церкви. Вот что пишет о Никоне протоиерей Георгий Флоровский в фундаментальной монографии „Пути русского богословия”: „...в нем была историческая воля, волевая находчивость, своего рода „воле-

зрение"... Он был деятелем, но не был творцом... Конечно, не „обрядовая реформа" была жизненной темой Никона. Эта тема была ему подсказана, она была выдвинута на очередь уже до него. И с каким бы упорством он ни проводил эту реформу, внутренне никогда он не был ею захвачен или поглощен. Начать с того, что он не знал по-гречески и так никогда и не научился, да вряд ли и учился. „Греческим" он увлекался извне. У Никона была почти болезненная склонность все перекладывать и переоблачать по-гречески, как у Петра впоследствии страсть всех и все переодевать по-немецки или по-голландски. Их роднит также эта странная легкость разрыва с прошлым, эта неожиданная безытность, умышленность и надуманность в действии. И Никон слушал греческих владык и монахов с такой же доверчивой торопливостью, с какой Петр слушал своих „европейских" советчиков... И подражание современным грекам нисколько не возвращало к потерянной традиции. Грекофильство Никона не было возвращением к отеческим основам, не было даже и возрождением византизма. В „греческом" чине его завлекала большая торжественность, праздничность, пышность, богатство, видимое благолепие. С этой „праздничной" точки зрения он и вел обрядовую реформу...

„Исправлял" Никон церковные чины по современному печатному греческому Евхологию, ради практического совпадения с греками, — замечает Г. Флоровский. — Это не было возвращением к „древности" или к „старине", хотя и предполагалось, что „греческое" тем самым древнее и старше. И того же порядка держались при Никоне и в книжной справе. За основу для нового славянского текста принималась обычно новопечатная греческая книга... Да и то оказывалось чувствительное различие между разными изданиями одной и той же книги... „Шесть бо выходов ево Никоновых служебников в Русийское государство насильством разослано; а все те служебники меж собой разгласу-

ются и не один с другим не согласуется"... Противники Никоновой sprawy с основанием настаивали, что равняли новые книги „с новопечатных греческих у немец", с книг хромых и покидных, — „и мы тот новый ввод не приемлем". И так же верно было и то, что иные чины были „претворены" или взяты „с польских служебников", т. е. „ляцких требников Петра пана Могилы и с прочих латынских переводов". Рукописи, привезенные с Востока Сухановым, не были и не могли быть употреблены в дело в достаточной мере и с должным вниманием..."

Таким образом, „старообрядцы" в первоначальном своем виде не возникли в результате Никоновой реформы, но являлись всего лишь представителями принятого на Руси православного обряда, грубо и жестоко спровоцированными непродуманными и не имеющими большого значения для самого патриарха нововведениями. „Главная острота Никоновой „реформы", — как сформулировал Г. Флоровский, — была в резком и огульном отрицании всего старорусского чина и обряда. Не только его заменяли новым, но еще и объявляли ложным, еретическим, почти нечестивым. Именно это смутило и поранило народную совесть"⁶.

„Притягательная и обаятельная для массы сила противников Никона в том, между прочим, и заключалась, — сходно отмечает Н. Ф. Каптерев, — что они являлись борцами и защитниками за родную, попираемую Никоном свягую старину, борцами за так называемую теперь русскую самобытность, которой угрожало гибелью вторжение иностранных новшеств". Отсюда — их упорнейшая борьба за малейшую букву, мельчайший штрих обрядности, защита именно того пункта, по которому высшая церковная власть наносила главный удар. Но даже ученые гуманистического направления, испытывающие невольную симпатию к гонимым

и обездоленным (в соответствии, нужно отметить, с евангельскими принципами), не могли признать совершенную справедливость этого церковного движения. „Весь раскол в чувстве отчуждения и самозамыкания, — писал Г. Флоровский. — Раскол ищет этой выключенности из истории и жизни. Он рвет связи, хочет оторваться. Всего менее это „старообрядчество“ было хранением и воскрешением преданий. Это не был возврат к древности и полноте. Это был апокалипсический надрыв и прельщение, тяжелая духовная болезнь, одержимость...”⁸

И у Аввакума с товарищами фанатичная преданность старому обряду, постоянно выдвигаемая на первый план, оказывалась скорее средством, нежели целью. Между тем вне этих мельчайших обрядовых различий, вокруг которых поднялась такая полемическая буря (с тюрьмами, палачами, кострами и прокламациями в качестве аргументов), Аввакум и Никон со своими сторонниками оказываются крайне сходными по образу мыслей и убеждениям, даже по способам их выражения. Конечно, пока Никон мог жечь, а старообрядцы отдаваться на сожжение, это сходство не столь бросалось в глаза. Но вот Никон покинул престол и, вступив в открытый конфликт с самодержцем (и верным царю большинством иерархов), сам оказался гонимым...

Теперь стало трудно отыскать различия между отрешенным патриархом и запрещенным Аввакумом. В самом деле, Аввакум с товарищами „в лучших традициях“ филаретовского искоренения инакомыслия уверяли, что после реформ Никона русская православная церковь соединилась с латинством — с католиками, теми страшными врагами, к смертельной борьбе с которыми церковь во весь голос призывала еще в Смуту (и даже раньше). Но когда при царе Алексее Михайловиче возвысился выдававший себя за газского митрополита Паисий Лигарид, Никон аналогично заявлял

о том, что из-за последнего русская церковь соединилась с римским костелом. „Латиняне, латиняне!” — этот призыв к кровопролитию равно звучал из уст Никона и из уст его противников — старообрядцев. Вышедшие из сформированных религиозной нетерпимостью рядов „ревнителей благочестия”, они носили в душах единый образ врага.

Далее, если старообрядцы обвиняли в нововведениях Никона, то он то же самое говорит про Лигарида: „Новые законы вводишь от отверженных и неведомых книг... ово от отреченных книг, ово от внешних баснословных блужданий”. Разум не должен был участвовать в определении того, что есть истина, — значение, как считали и старообрядцы, имело только происхождение источника уже готового текста.

Среди старообрядцев были сомнения: является Никон Антихристом, его учеником или предвестником? Их навело на эту мысль содержание реформы Никона. А самому Никону содержание нового юридического кодекса — Соборного уложения 1649 года — навело мысль о том, что руководивший его созданием боярин Одоевский есть предтеча Антихриста, действовавший „советом Антихриста, учителя своего”. Этот боярин, по словам Никона, разорил „и священное Евангелие и все святые законы”, не признавал Христа Богом! О том, что все святые законы искоренил Никон, также не признававший якобы Христа богом, трубили во всю силу своих легких и старообрядцы...

Под добродушное настроение Аввакум мог назвать Никона и никониан просто еретиками, хотя они были, по его мнению, много хуже мусульман, иудеев и язычников, превзойдя всех их в истязании христиан, в лютом мучительстве. Никон в свою очередь говорил Одоевскому с товарищами: „Я в вас христианства ничего не знаю, не вижу, кроме беззакония и мучительства, — дела ваши свидетельствуют!” Страшная эпидемия, поразившая города и веси Российского царства, была, по

словам Никона, наказанием царю и народу за создание Уложения, ущемлявшего права церкви: „Не убоялась ли всякая душа человеческая?!” По старообрядческим же сочинениям, эта эпидемия была наказанием за церковные нововведения Никона!

Там, где Никон и Аввакум расходились принципиально, в трудный для Никона момент они вдруг (!) чудесным образом оказались единомышленниками. Чтобы не приводить многих примеров, укажу наиболее разительные. Аввакум с товарищами не считали авторитетом восточных патриархов, которым Никон буквально смотрел в рот, и упорно называли еретическими, латинскими, ложными те греческие книги, по которым патриарх приказывал править русскую церковную литературу, убеждая паству, что только в них сохранилась истинная правда православия. Особым авторитетом у Никона пользовались греческие правила и антиохийский патриарх Макарий, его советчик в проведении реформ, преследовании староверов.

На большом соборе 1666 года, представ в качестве подсудимого, Никон буквально повторил позицию своих противников, отказавшись признавать авторитет восточных патриархов и греческих книг! На вопрос, „ведомо ли ему, что александрийский патриарх — вселенский судия”, Никон ответил: „Там и суди. А в Александрии и в Антиохии ныне патриархов нет: александрийский живет в Египте, а антиохийский в Дамаске”, то есть и епархий таких нет! Когда же, по вынесению приговора, восточные патриархи сняли с него архиерейские клобук и панагию и стали читать поучение, Никон публично выразил им глубокое презрение: „Знаю я и без вашего поучения, как жить, а что клобук и панагию с меня сняли — и они бы с клобука жемчуг и панагию разделили между собой, — а достанется жемчугу золотников по 5, и по 6, и больше, и золотых по 10!”

Еще ранее, при чтении греческих правил, Никон заявил, что „те правила не апостольские, и не вселенских

соборов, и не поместных соборов, и он, Никон, тех правил не приемлет и не слушает”. „Те правила приняла святая апостольская церковь”, — стал уверять никонианин своего учителя, но Никон огорошил его заявлением, которое мог бы сделать Аввакум: „Тех правил в русской Кормчей книге нет, а греческие правила не прямые, те правила патриарха от себя учинили, а не из правил. После вселенских соборов — все враки, а печатали те правила еретики!” Можно было бы подумать, что это сказано в запальчивости, но и в другой раз Никон буквально повторил свое отрицание благочестивости греческой книжности, причем теми же словами, которыми пользовались староверы⁹.

Со своей стороны Аввакум, столь яростно проклинавший и столь ярко живописавший зверства никониан, не раз показывал в своих сочинениях, как вел бы себя, окажись лидер староверов на месте Никона-мучителя. Так, он с нескрываемым восторгом пишет о библейском Мелхиседеке, коий „моляшеся господу Богу небесному с воплем крепким, да пожрет земля отца его, и мать, и брата, и всех... Бог же с небесе услышав его молитву, повеле расступиться земле и пожре их, и грады, и царство все. Оста един Мелхиседек”, и этого Мелхиседека Аввакум уподобляет Христу! Не правда ли, это плохо сочетается с новозаветной проповедью Аввакума: „Еже есть хощеши помилован быти — сам такожде милуй; хощеши почтен быти — почитай; хощеши ясти — иных корми; хощеши взяти — иному давай” и т. п.?

Впрочем, призыв любви к ближнему „огнепальный” протопоп временами откровенно толкует в духе патриарха Филарета: „Рассуждай глагол Христов: своего врага люби, а не Божия, сиречь еретика и наветника душевного уклоняйся и ненавиди... С еретиком какой мир? Бранися с ним и до смерти...” Некоторые тексты Ново-

го завета Аввакум, похоже, просто не принимал. Он передает, например, притчу из Евангелия от Луки о нищем Лазаре, попавшем в рай, и богаче, угодившем в ад. Молитва богача к Аврааму была отвергнута праотцем, но Аввакума не устроила беззлая форма отказа. „Каков сам был милостив?! — пишет он, обращаясь к мучающемуся богачу. — Вот твоему празднеству одание! Любил вино и мед пить, и жареные лебеди, и гуси, и рафленные куры: вот тебе в то место жару в горло, губитель души своей окаянной! Я не Авраам — не стану (тебя) чадом звать: собака ты! За что Христа не слушал, нищих не миловал? Полно-тко милостивая душа Авраам-от миленькой — чадом зовет, да разговаривает, будто с добрым человеком. Плюнул бы ему в рожу ту и в брюхо то толстое пнул бы ногою!”

Частые покаяния Аввакума не мешали ему письменно обосновывать насилие как законную форму борьбы за благочестие. „Да что-су вы, добрые люди, — обращался он к своим почитателям, — говорите: „Батько-де сердито делает”. У Николы тово (Чудотворца) и не мое смирение было, да не мог претерпеть: единаго Ария, собаку, по зубам брызгнул. Ревнив был миленькой покойник. Не мог претерпеть хулы на святую Троицу. Собором стащили с него и чин весь: „Неправильно-де творишь, архиепископ”. Да ему даром дали пестряя те ризы Христос да Богородица. И опять ево нарядили, а он себе никово не бояся... За что-то меня в те поры не было! Никола бы вора по щоке, а я бы по другой, блядина сына”. Также в рассказе об Адаме и Еве Аввакум призывает провинившихся „перед Богом” „кнутом бить, да впредь не воруют!”

Последователи не случайно жаловались на суровость Аввакума. Он сам писал о себе с раскаянием: „Да и всегда таки я, окаянной, сердит, дратца лихой. Горе мне за сие!” Но это касалось избиения домашних женщин под горячую руку. В то же время сочинения Аввакума откровенно повествуют, как он использовал имев-

шиеся у него методы „воспитания”: избияния, „посаждение” в погреб, морение голодом и т. п. Поводом могло быть желание девушки (из услужения в семье Аввакума) законно выйти замуж по любви — Аввакум гордится, что воспрепятствовал этому. Он приказывал избивать человека „канатным толстым шелепом” до потери сознания — и писал об этом с удовольствием. Аввакум советовал староверам сопротивляться появлению в их домах священника-никонианина, вплоть до убийства: „Как он приидет, так ты во вратех тех яму выкопай, да в ней роженья натычь, так он и абрушится тут, да и пропадет. А ты охай, около ево бегая, бутто ненароком”¹⁰.

Никон убивал, Аввакум призывал к убийству за малейшее отклонение от их, вождей, убеждений. Благодетие для них — единый порядок поведения всех людей, реализация воли вождя, выдававшейся за волю небес. Никон навязывал свою волю, утверждал абсолютную духовную власть, грубо попирая старые обычаи. Все его реформы, формально привязанные к „грекофилии”, идеям унификации ритуала вселенских церквей и т. п., были по сути своей средствами борьбы за утверждение и укрепление самодержавия патриарха.

Тезис Никона о том, что священство выше царства, часто понимается как призыв к наступлению на светскую власть, к установлению теократической диктатуры. „Яко капля дождя от великой тучи, то есть земля от небес мерится, так и царство уменьшится от священства”, — утверждал Никон в запальчивости. „Патриарх есть образ живой Христов, и одушевлен делами и словами, в себе живописуя истину”, тогда как царь называется земным богом лишь „от человек безумных” и цари „в сладость приемлют такие безумные глаголы: „Ты Бог земной”.

Но то, что утверждал Никон о патриаршей власти, уже давно приписали себе российские самодержцы, кровавая тень Ивана Грозного осеняла их „право” на

истину в конечной инстанции, в том числе и в делах духовных. Попытка Никона отстоять во многом утраченную (кстати сказать, ущербную с самого начала христианства на Руси) независимость церкви опиралась как раз на святоотеческое учение, особенно на идеи Иоанна Златоуста, и с богословской точки зрения была правомерна. Но для этого русская православная церковь должна была установить такую же железную диктатуру, в какую уже реализовалась ее соперница — светская власть. Иного пути противопоставить себя абсолютной монархии Никон и его сторонники не видели.

Могучая воля Никона — в миру мордовского крестьянина Никиты Минова — в считанные годы проделала работу, подобную той, что вели Иван III, Василий III, Иван Грозный и их последователи на царском престоле. Не имея таких предпосылок, как патриарх Филарет Никитич, Никон оказал мощное воздействие на царя Алексея Михайловича, добился независимости от светских властей в деле управления церковью и церковными делами, все шире распространял церковный контроль над общественно-политической жизнью огромной страны. Он стал самовластным управителем церкви, подвел под патриаршую власть мощную экономическую базу, стал вторым „великим государем” в государстве и даже, в отсутствие царя в столице, выполнял его функции.

Для всякой крайней диктатуры традиции противопоставлены. Растоптать „старый обряд” было тем более необходимо, что он практически выражал стройную идеологическую концепцию подчинения священства царству. Как Петр I громил все, что мешало полному закреплению общества и утверждению военно-полицейской феодальной империи, так Никон не выбирал средств для сокрушения старой концепции. В этом отношении Аввакум был прозорлив, утверждая: „Как говорил Никон, адов пес, так и сделал: „Печатай, Арсен (никонианский справщик Арсений Грек. — А. Б.), кни-

ги как-нибудь, лишь бы не по-старому!” — так-су и сделал”¹¹.

Сохранение древних церковных обрядов имело глубокий смысл, так как доказывало, что гарантом истинного благочестия является православный самодержец, что истинно благочестивая церковь может существовать лишь под крылом единой монархии. После падения Рима, а затем Константинополя центр мирового православия, согласно этой концепции, переместился в Россию, в Москву, этот „Третий Рим”. Уже с XV века создавались и подгонялись под эту концепцию многочисленные сочинения, предсказания, пророчества, служившие в глазах россиян „обоснованием” столь лестного и идеологически полезного для набирающего силу государства убеждения.

„Два Рима пали, а Третий стоит и четвертому не бывать!” — провозглашалось в разной форме при различных случаях. Арсений Суханов и многие другие публицисты подробно рассказывали читателям и слушателям, как под пятой мусульманских завоевателей угнетенные православные верующие Востока постепенно утрачивают „праведный” обряд, который свято хранится под защитой государства в России; как на Русь широким потоком „исходят” с Востока православные ценности: реликвии, мощи, книги, „вся святыня”; как приходят в упадок восточные патриархии — а московская процветает невиданно; как вследствие всего этого Российское православное самодержавное государство является „жребием самая Богородицы”, центром вселенной, светом всему миру; наконец, какую ответственность все это налагает на россиян, призванных не утратить свой свет, но пролить его „во все концы земные” и спасти угнетенных иноверцами братьев.

Православным иерархам на Востоке, разумеется, некогда было ждать появления двуглавого орла над стенами Константинополя: они обнищали настолько, что не могли существовать без присылавшейся из

России „милостыни” (дотации и пожертвований) и потому особо трепетно относились к авторитету „грекеского благочестия” у россиян¹². Приезжая в Москву, они активнейшим образом поддерживали убеждение Никона (которому помогали стать патриархом) в независимости священства от царства, а также в сохранении благочестия греками, которые всегда были и будут „учителя веры”. Первое утверждение формулировало цель неистового московского патриарха, второе превратилось в его средство против отечественных „ревнителей благочестия”, из рядов которых он вышел.

Впрочем, Никон не полностью отказался от имперской концепции „Третьего Рима”, применяя ее к священству. На словах преклоняясь перед греками и предоставляя им решать за себя все формальности, связанные с ритуалом, он в то же время решительно возносился над восточными патриархами. Недаром на реке Истре возникал могучий комплекс Нового Иерусалима, призванный стать еще более блестящим, чем старый Иерусалим, центром православной вселенной. Империи сторонников старого обряда и полицентризму православного Востока готовилось прийти на смену царствие — земное царство Христа в лице его наместника — великого государя святейшего Никона.

Идеализация исторических героев, мучеников, подвижников, литераторов, выразивших народные страдания и надежды, искажает самую суть исторического повествования, превращает лекарство, пусть горькое, в опаснейший яд. Это не самая свежая мысль, но нам необходимо ее напомнить, чтобы углубиться в суть явления, называемого расколом русской православной церкви. Да, Никон *выглядел* грекофилом, а Аввакум *был* русофилом в очень современном для нас понимании этого слова.

Читая церковные книги на церковнославянском языке, Аввакум принципиально писал и говорил по-русски. „И вы, Господа ради, — писал он в конце „Жития”, — чтущии и слышашии, не позазрите просторечию нашему, понеже люблю свой русской природной язык... Вот, что много рассуждать: не латинским языком, ни греческим, ни еврейским, ниже иным коим ищет от нас говоры Господь, но любви с прочими добродетельми хочет; того ради я и небрегу о красноречии и не унижаю своего языка русскаго”.

„Ведаю разум твой, — писал Аввакум царю Алексею Михайловичу, — умеешь многи языки говорить, да што в том прибыльи?.. Рцы по русскому языку: „Господи, помилуй мя грешнаго!”... Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком; не унижайай ево и в церкви, и в дому, и в пословицах. Любит нас Бог не меньше греков; предал нам и грамоту нашим языком Кирилом святым и братом его (Мефодием. — А. Б.). Чево же нам еще хочется лучше тово? Разве языка ангельска? Да нет, ныне не дадут, до общаго воскресения”¹³.

Эти прекрасные мысли, однако, сочетались с проповедью „посконности и домотканности”. „Не учен диалектики, и риторики, и философии! — гордо заявляет Аввакум и требует того же у своих последователей (из которых многие, к счастью, ему не повиновались). — Не ищите риторики, и философии, ни красноречия, но здравые истинным глаголом последующе, поживите. Понеже ритор и философ не может быть христианин”¹⁴. Отсюда оставался один шаг до глубоко противного истинному христианству противопоставления народов друг другу.

„....Русакы бедные — пускай глупы! — рады: мучителя дождались, полками в огонь дерзают за Христа, Сына Божия, света. Мудры блядины дети греки, да с варваром турским с одново блюда патриарха кушают рафленья курки. Русачки же миленькия не так: во огонь

лезет, а благоверия не предает!”¹⁵ Конечно, на оскорбление „греков” (православных церковных иерархов на Востоке) толкала староверов грекофилия официальной церкви, но пристрастие Аввакума к русскому простиралось до оправдания ужасающих преступлений против русского народа во имя утраченного „порядка”.

Если Никон старался наверстать в церкви то, в чем преуспел Иван Грозный для светской власти, то Аввакум с сожалением вспоминал о „твердой руке” Грозного, способной незамедлительно свернуть шею зарвавшемуся патриарху. „Знаете ли, вернии? — писал протопоп, — Никон пресквернейший — от него беда та на церковь ту пришла. Как бы (был) добрый царь — повесил бы его на высокое древо... Миленькой царь Иван Васильевич скоро бы указ сделал такой собаке!”

Указав царю Алексею Михайловичу, что тот „русак”, Аввакум немедленно потребовал: „Перестань-ко ты нас мучить тово! Возьми еретиков тех (никониан. — Авт.), погубивших душу твою, и пережги их, скверных собак, латынников и жидов, а нас распусти, природных своих. Право, будет хорошо!.. Понеже суд бывает без милости несотворшим милости”.

Гнев Аввакума нарастал, и новому царю — Федору Алексеевичу он предложил уже более четкую программу уничтожения иномыслящих. „А что, государь-царь, — писал он, — ка б ты мне дал волю, я бы их, что Илия пророк, всех перепластал во един час. Не осквернил бы рук своих (человеческой кровью. — А. Б.), но и освятил, чаю. Да воевода бы мне крепкой, умной — князь Юрья Алексеевич Долгорукой! Перво бы Никона, собаку, и рассекли начетверо, а потом бы никониян. Князь Юрья Алексеевич, не согрешим, небось, но венцы победныя примем!” Что ж, выбор полководца для войны за веру был удачен, ведь князь Ю. А. Долгоруков приобрел к этому времени (послание царю написано в 1676 году) немалый карательный опыт во главе войск, заливших кровью Крестьянскую войну под руководст-



Царь
Алексей
Михайлович
Романов

вом Степана Разина¹⁶. К счастью, царь Федор не откликнулся на призыв Аввакума. Что же касается действительно талантливого полководца Ю. А. Долгорукова, то он в 1682 году во время восстания в Москве был казнен народом.

Аввакум пошел и дальше надежды на привлечение себе в союзники воеводы-карателя. Для истребления

врагов „старой веры” хороши были и мусульмане. „Разумеешь ли кончину арапа онаго, — писал он товарищу при ложном известии о смерти судившего его некогда патриарха Паисия, — иже по вселенной и всеа Руския державы летал, яко жюк мотыльный, из говна прилетел и паки в кал залетел, — Паисей александрийский епископ? Распял-де ево Измаил (мусульманин. — А. Б.) на кресте, еже есть турецкой. Я помыслил: ано достойно и праведно... Распяли оне Христа в Руской земле, мздою исполнь десницы своя, правильне варвар над ними творит!”

Началась тяжелейшая и кровопролитнейшая война России с Османской империей, на Украине и в Приазовье шли жестокие бои — и русофил Аввакум надеялся, что турецкий владыка — „Салтан Магмедович” — отомстит российской церкви („любодеице”) и российским людям за гонения на староверов: „Поддай Господи! Поддай Господи! Не смейся враг, новый жидовин, распенше Христа! Еще надеюся Тита втораго Иуспияновича (Тит, сын римского императора Веспасиана, разрушивший Иерусалим. — А. Б.) на весь Новый Иерусалим, идеже течет Истра река, и с пригородком, в нем же Неглинна течет (то есть с Москвой. — А. Б.). Чаю, подвигнет Бог того же турка на отмщение кровей мученических. Пускай любодеицу ту потрясет, хмель-ет выгонит из блядки! Пьяна кровьми святых”, то есть единомышленников Аввакума, и потому должна быть уничтожена мусульманским мечом!¹⁷

Вот уж, как говорится, картина, знакомая до слез. Но мы сейчас должны углубиться не в исторические ассоциации, а в более подробный анализ того, как Аввакум пришел к желанию, чтобы враг уничтожил всю Москву, в которой, надо полагать, даже с точки зрения „огнепального” протопопа, было много невинных людей, да и его сторонников-староверов.

Искренняя, глубокая жалость к страдальцам, мученикам за старую веру, постоянно звучит в сочинениях

Аввакума. Но принципиальная нетерпимость к иномыслию, призывы к истреблению всех „не своих“, неодинаковых, логически вели к самоистреблению. Проповедь ухода от мира, в котором восторжествовала никонианская „ересь“, пала в пороховую бочку народного отчаяния, вызываемого всем строем жизни феодального государства. В своем крайнем проявлении отчаяние толкало дальше, к уходу из мира, из жизни. Характерно, что призывы и примеры столь противного христианской морали самоубийства исходили не от духовных вождей старообрядчества, а от грубых изуверов (подобных Капитону, Василию Волосатому, попу Александрищу и другим), отличавшихся почти (если не вовсе) безумным „неистовством“.

Пост до голодной смерти, идея огненного крещения — этот „новоизобретенный путь самоубийственных смертей“ вызывал омерзение и ужас у вождей старообрядчества (см., например, „Отразительное писание“ инока Ефросина). Но могучая воля Аввакума позволила ему до конца пройти тот логический путь, от которого отшатывались товарищи, — и первым горячо приветствовать начавшиеся самоубийства — этот знак, по его словам, „нынешнего огнепального времени“. Если святы те правоверные, кого сожгли никониане, то святы и те, кто по своей воле уходит от никониан в огонь. Самоубийство в устах христианина становится подвигом, ибо для Аввакума, как и для Никона, человеческая жизнь превращается почти в ничто перед идеей, перед требованием единомыслия.

„В Казани никонияня тридесять человек сожгли, — пишет протопоп, — в Сибири столько же, в Володимире шестеро, в Боровске четырнадцать человек. А в Нижнем (Новгороде) преславно бысть: овых еретики пожигают, а инии, распальшеся любовью и плакав о благоверии, не дождався еретического осуждения, сами во огонь дерзнувше, да цело и непорочно соблюдут правоверие. И сожегше своя телеса, души же в руце Божии предаша,

ликовствуют со Христом во веки веком, самовольны мученички, Христовы рабы. Вечная им память во веки веком! Добро дело содеяли... надобно так!"

„Да еще бы в огонь христианин не шел! — восклицает Аввакум, описав „дьявольские” обычаи никониан. — Сгорят-су все о Христе Исусе, а вас, собак, не послушают. Да и надобно так прововерным всем: то наша и вечная похвала, что за Христа своего и святых отец предания сгореть, да и в будущем вечно живи будем о Христе Исусе...”¹⁸

Так духовный вождь, выдающийся русский писатель простирает перо, направляя десятки (а позже сотни и тысячи) людей в огонь, утверждая своим высочайшим авторитетом самоубийство мужчин, женщин и малых детей. Он мог пожалеть одного „уморенного” ребенка и назначить женщине кару за это преступление¹⁹, но когда дело касалось обрядности — убийство сжигаемых матерями грудных младенцев было для Аввакума святым делом. Мог ли он жалеть врагов — русских людей, следовавших слегка отличающемуся ритуалу, и не призывать на их головы мусульманский меч?! Вопрос для истинного русофила риторический: истреблять себе подобных „для блага народа” — дело святое...

Не Аввакум и ему подобные были инициаторами раскола. Называть их „раскольниками”, в отличие от „истинных” православных, сохранивших верность официальной церкви, — значит использовать ярлык церковных пропагандистов старого времени. Реформы Никона были не просто первым ударом колокола, возвестившим о приближении катастрофы, — это был взрыв, потрясший самые основы мировоззрения традиционно верующих людей. Но мощь этого взрыва не может польстить памяти Никона, ибо она определялась совсем не им, а позицией светской власти, поведением царя

Алексея Михайловича и его приближенных, твердо поддерживавших реформы.

Ведь именно православный царь был, по широко распространенному убеждению, гарантом благочестия русской православной церкви. Именно с наличием православного царства связывали староверы (как явные, так и тайные) мечту о земном Божием Граде, „Третьем” — и вечном до Страшного суда — „Риме”. И этот государь, эта надежда и опора, этот светоч православия „отступил”! Мир рушился в глазах староверов, Рим, который не должен был пасть, проваливался в тартарары. Четвертому Риму не бывать — значит, кончается сама история, точнее, священная история, приходит Антихрист...

„Яко ты наш государь, благочестивый царь, — писал опальный Аввакум Алексею Михайловичу, — а мы твои богомольцы: некому нам возвещать, како строится во твоей державе”. А ведь эти слова написаны после одиннадцатилетней ссылки в Сибирь и в Даурию с женой и малыми детьми, невероятных лишений и потерь, смерти детишек, после мучений, обрушившихся на протопла по воле царя или с его разрешения! И такие обращения к царю следовали одно за другим, многие годы, со вспышками надежды на восстановление идеала староверов.

„Царь-государь и великий князь Алексей Михайлович! — писал Аввакум в пятой челобитной. — Многажды писахо (м) тебе прежде и молихом тя, да примиришия Богу и умилишия о разделении твоём от церковн (о) го тела. И ныне последнее тебе плачевное моление приношу, из темницы, яко из гроба, тебе говорю: помилуй единородную душу свою и вниди паки в первое свое благочестие, в нем же ты порожден еси с прежде бывшими тебе благочестивыми цари, родители твоими и прародители... Аще мы раскольники и еретики, то и вся святини отцы наши, и прежнии цари благочестивии, и святейшия патриархи такови суть... Воистину,

царь-государь, глаголем ти: смело дерзаете, но не на пользу себе. Кто бы смел речи таковыя хульные глаголы на святых, аще бы не твоя держава попустила тому быти?"

Аввакум не только утверждает, что именно царь обладает решающей силой в церковных делах, но и изъясняется в любви к нему: „И елико ты нас оскорбляеши больши, и мучишь, и томишь, толико мы тебя любим, царя, больши и Бога молим до смерти твоей и своей о тебе и всех кленущих нас: Спаси, Господи, и обрати ко истине своей! — Но тут же следует угроза: — Аще же не обратитесь, то вси погибнете вечно, а не временно”.

„Аще не ты по Господе Бозе, кто там поможет? — пишет Аввакум уже новому царю — Федору Алексеевичу, севшему на отцовский трон в 1676 году. — Столпы поколебашася наветом Сатаны, патриарси изнемогоша, святители падоша и все священство еле живо — Бог весть! — али и умроша. Увы, погибе благоговейный от земли и несть исправляющаго в человецех! Спаси, спаси, спаси их, Господи, ими же веси судьбами!” — взывает Аввакум, подразумевая под „исправляющим” именно царя, бояр, которые должны были заставить исправиться патриарха. Нельзя сказать, чтобы это обращение было неискренним, ведь сразу по восшествии Федора на престол Аввакум призвал единоверцев молиться за государя, а в 1681 году, когда „неисправление” царя стало очевидно, а положение староверов ухудшилось, протопоп присоединился к замыслу товарищей „с челобитными по жребию стужати царю о исправлении веры”!²⁰

Эта настойчивость тем более показательна, что Аввакум и его товарищи прекрасно понимали „отступничество” царской власти. Недаром вспоминал протопоп византийского императора Константина, не исполнившего якобы свой долг по охране благочестия церкви, которого „предал Бог за отступление-то сие Магнету, турскому царю (султану Мехмеду II Фатиху, завоевателю Константинополя. — А. Б.), и все царство греческое

с ним”. Подобная гроза нависла и над Российским православным царством, считал протопоп. Кому достанется гибнущее после утраты благочестия царство Русское? „Разве турецкому царю?” Ведь рушится основа святости: „Царя тово (Алексея Михайловича. — А. Б.) враг Божий омрачил... А царь-ет, петь, в те поры чается и мнится, бутто и впрямь таков, святее его нет!”

На первый взгляд позиция Аввакума относительно пределов царской власти и ее функций в религиозной области противоречива. „В коих правилах писано, — с возмущением восклицает протопоп, — царю церковью владеть, и догматы изменять, и святая кадить? Только ему подобает смотреть и оберегать от волк, губящих ея, а не учить, как вера держать и как персты слагать. Се бо не цареве дело, но православных архиереов и истинных пастырей, иже души своя полагают за стадо Христова, а не тех, глаголю, пастырей слушать, иже и так и сяк готовы на одном часу перевернутца. Сии бо волцы, а не пастыри, душегубцы, а не спасители: своими руками готовы неповинных крови пролияти и исповедников православныя веры во огонь всажати. Хороши законоучителие! Да што на них дивить! Таковыя нароком поставлены, яко земские ярышки (стряпчие. — А. Б.) — что им велят, то и творят. Только у них и вытвержено: „а-се, государь, во-се, государь, добро, государь!”

Аввакум гневно обличает архиереев, коие „токмо потакают лишо тебе (царю Алексею Михайловичу. — А. Б.): „Жги, государь, крестьян тех, а нам как прикажешь, так мы в церкви и поем; во всем тебе, государю, не противны; хотя медведя дай нам в олтар-ет, и мы рады тебя, государя, тешить, лише нам погребы давай да кормы с дворца. Да, право так — не лгу!” „Любя я тебе, право, сие сказал, — отмечает протопоп, — а иной тебе так не скажет, но вси лижут тебя — да уже слизали и душу твою!”²¹

Но если архиереи не должны слушаться царя в церковных вопросах, как должен государь осуществлять

свои функции по охране благочестия? Если архиереи лишь марионетки, то почему Аввакум постоянно напоминает, что царя обольстил и столкнул с пути истинного именно архиерей — патриарх Никон? Неужели Никон и собор иерархов не вправе были решать вопросы церковного ритуала? В действительности противоречия в суждениях Аввакума нет, ибо царь для него именно потому является гарантом благочестия, что должен выступать третьей стороной, арбитром при разрешении церковных вопросов, равно защищающим обе стороны до тех пор, пока одна из них в споре не победит.

„И ты не хвалился, — гневно обращается Аввакум к Алексею Михайловичу. — Пал ся еси велико, а не востал искривлением Никона, богоотметника и еретика, а не исправлением, умер еси по души ево учением, а не воскрес. И не прогневиися, что богоотметником ево называю. Аще правдою спросиши, и мы скажем ти о том ясно с очей на очи и усты ко устом возвестим ти велегласно; аще ли же ни — то пустим до Христова суда: там будет и тебе тошно, да тогда не пособишь себе ни мало”.

„Здесь ты, — продолжает Аввакум, — нам праведного суда со отступниками не дал — и ты тамо (на Страшном суде. — А. Б.) отвещати будеши сам всем нам!.. Все в тебе, царю, дело затворилося и о тебе едином стоит. Жаль нам твоя царския души и всего дому твоего, зело болезнуем о тебе, да пособить не можем ти, понеже сам ты пользы ко спасению своему не хочешь”.

Итак, царь, не давший спорящим праведного суда, царь, ставший главным виновником раскола русской православной церкви, царь, благодаря которому правда уходит из богоизбранного „Третьего Рима” на небеса, оставляя землю Антихристу, который уже пришел и властвует, — вот наиболее острая заноза в сердце Аввакума, мучительнейшая тема его рассуждений. „Во



**Никон,
патриарх
Московский
и всея Руси**

время сие несть царя, — писал не позже 1669 года соратник Аввакума дьякон Федор, — един бысть православный царь на земли остался, да и того, не внимающего себе, западные еретицы, яко облацы темнии, угасиша христианское солнце. И се, возлюбленнии, не явно ли антихристова прелесть показывает свою личину?!”

Итак, рухнул „Третий Рим”, прекратилось священство, опозорено православие, страшные гонения претерпевают верные, настало безблагодатное антихристово время. Продолжая молить царя опомниться и дать правый суд православным, Аввакум тут же бросает:

„Надобно царя тово Алексея Михайловича постричь беднова, да пускай поплачет хотя небольшое время. Накудесил много, горюн, в жизни сей, яко козел скача по холмам, ветр гоня, облетая по аеру (воздуху. — А. Б.), яко пернат, ища станы святых, како бы их поглотить и во Ад с собою свести”.

Именно царь виновен во многих зверствах против староверов, страшнейшим из которых был разгром Соловецкого монастыря — одной из крупнейших и славнейших обителей России. За то, по словам Аввакума, Алексей Михайлович „расслаблен бысть прежде смерти, и прежде суда того (Страшного. — А. Б.) осужден, и прежде бесконечных мук мучим. От отчаяния стужаем, зовый и глаголя (царь), расслаблен при кончине: „Господие мои, отцы соловецкие старцы, отрадите ми, да покаюся воровства своего, яко беззаконно содеял, отвергся християнска веры... вашу Соловецкую обитель под меч подклонил, до пятисот братии и больши. Иных за ребра вешал, а иных во льду заморозил, а бояроне живых, засадя, уморил в пятисаженных ямах. А иных пережег и перевешал исповедников Христовых бесчисленно много. Господие мои (якобы говорил, умирая царь. — А. Б.), отрадите ми ноне мало!”

„А изо рта, и из носа, и из ушей (царя, писал Аввакум. — А. Б.) нежид (сукровица. — А. Б.) течет, бытто из зарезанные коровы. И бумаги хлопчатые не могли напасться, затыкая ноздри и горло. Ну-су, никонияне, вы самовидцы над ним были, глядели, как наказание Божие было за разрушение старья християнска святая наша веры. Кричит (царь) умирая: „Пощадите, пощадите!” А вы ево спрашивали: „Кому ты (царь) молился?!” И он вам сказывал: „Соловецкие старцы пилами трут мя и всяким оружием, велите войску отступить от монастыря их!” А в те дни (соловецкие монахи) уж посечены быша”. Преступный царь Алексей Михайлович „царскую и архиерейскую власть на ся восприял... но Соловецкий монастырь сломил гордюю

державу его. В который день монастырь истнил (разрушил. — А. Б.)... в той день и сам исчез. Восхотел Бог быти, и не быть!" — заключил Аввакум²².

Как Никон поставил себя, высшего российского архиерея, выше царя на земле, так Аввакум, пережив глубокую духовную драму, более тяжелую, чем выпавшие на его долю физические страдания, вознесся над самодержцем как личность. Из заточения в темной земляной норе взлетел над Россией освобожденный от оков могучий человеческий дух, презревший „темные власти” мирских владык.

„Видишь ли, самодержавне? — бросил „огнепальный” протопоп одному из могущественнейших владык вселенной. — Ты владеешь на свободе одною Русскою землею, а мне Сын Божий покорил за темничное сидение и небо, и землю. Ты от здешняго своего царства в вечный свой дом пошедше только возьмешь гроб и саван, аз же присуждением вашим не сподоблюся савана и гроба, но наги кости мои псами и птицами небесными растерзаны будут и по земле влачimy — так добро и любезно мне на земле лежати и светом одеянну и небом прикрыту быти; небо мое, земля моя, свет мой и вся тварь — Бог мне дал!”²³

Не сразу и не скоро сумел Аввакум противопоставить себя земному царствию с такой высотой мысли, но уже на соборе 1667 года он вступил в решительный бой не со вселенскими патриархами, властями и русскими иерархами, а с государем царем и великим князем Алексеем Михайловичем, всея Великия и Малыя и Белья России самодержцем. Правда, в одном из посланий 1678/79 года он почему-то решил оправдывать царя и вселенских патриархов, приписывая им совершенно отсутствовавшие в 1667 году намерения: „Вселенские-те было и говорили взять старые те (церковнослужебные. — А. Б.) книги, да наши псы не вос-

хотели, заупрямку им стало. Царь тот меня и зело милосердовал, да уже и ему нечево стало делать. Властишка те (русские иерархи, участвовавшие в соборе. — А. Б.) мне многия дружья духовныя были, да свратил бранью их, бывало так. Оне с сердца приговор написали жжечь меня, да царица-покойница (Мария Ильинична, первая жена царя Алексея. — А. Б.) не дала”.

Но в другом послании 1679 года роль патриархов и особенно царя описана совсем по-иному. „А патриарси со мною, протопопом, — пишет Аввакум, — на соннице ратовавшеся (сражаясь. — А. Б.), рекоша: „Не на нас възыщется, но на царе! Он изволил изменить старья книги!” А царь говорит: „Не я, так власти изволили!” Священнослужители, отмечает Аввакум, „царя паче Бога убоялися”²⁴. Решающая роль царя подчеркивается и в других сочинениях „огнепального” протопопа. И все же: кто „изволил” осудить Аввакума и его товарищей на большом церковном соборе 1666—1667 годов — русские церковные иерархи, царь или вселенские патриархи? Организация крупнейшего церковного собора и важнейшего в истории раскола русской православной церкви судебного процесса заслуживает внимательного рассмотрения.

В „Житии” и других сочинениях Аввакума описана внешняя сторона собора, приведены сцены состоявшихся на нем прений о вере, чуть было не кончившихся дракой. Прежде чем обратиться к документам, раскрывающим подоплеку событий, посмотрим, что происходило в зале, куда привели и поставили перед блестящим собранием иерархов „огнепального” протопопа.

* * *

Поискав глазами по трапезной, Аввакум не нашел в ней царя Алексея Михайловича. Это был дурной знак: царь умывал руки, предоставляя своего давнего знакомого, перед которым он чувствовал вину, на расправу никонианам. На миг протопоп дрогнул при виде очезри-

мого могущества противостоявшей ему власти, явившейся здесь во всем великолепии, во главе со сверкающими драгоценным убранством вселенскими патриархами. Да и до того как привести на собор, Аввакума уже немало мучили, уговаривали, улещали, чтобы он отказался от своих взглядов хотя бы по некоторым вопросам.

Некоторые из товарищей Аввакума сдались и публично принесли покаяние в своих „заблуждениях”. Протопоп до сих пор был тверд и непоколебим, но перед невиданным в России собранием высших православных иерархов сомнение проникло и в его душу. Аввакум боялся не только и не столько за себя, сколько за жену и детей, переносивших все кары вместе с ним. Он вспомнил, как когда-то в дикой Даурии, когда они шли по голому льду, полумертвые от голода и холода, жена его упала без сил и взмолилась:

— Долго ли муки этой, протопоп, будет?!

— Марковна, до самыя до смерти! — отвечал Аввакум жене, и она снова поднялась и сказала:

— Добро, Петрович, ино еще побредем.

А в другой раз в Сибири сидел он печальный, размышляя о своей участи:

— Что сотворю? Проповедую ли слово Божие или скроюсь где? Понеже жена и дети связали меня. И видя меня печальна, — вспоминал Аввакум, — протопопица моя приступи ко мне со опрятством и рече ми: „Что, господине, опечалился еси?” Аз же ей подробну известих: „Жена, что сотворю? Зима еретическая на дворе; говорить ли мне, или молчать? — связали вы меня!” Она же мне говорит: „Господи помилуй! что ты, Петрович, говоришь?.. Аз тя и с детьми благословляю: дерзай проповедати слово Божие по-прежнему, а о нас не тужи; дондеже Бог изволит, живем вместе, а егда разлучат, тогда нас в молитвах своих не забывай; силен Христос и нас не покинуть! Поди, поди в церковь, Петрович, обличай блудню еретическую!”

Протопоп еще раз окинул взглядом блестящую публику, сидящую на возвышениях. Выше всех находились патриархи Паисий и Макарий — на золотых, изукрашенных резьбой креслах. В лицах русских иерархов, группировавшихся по правую и левую руку от греков, Аввакум заметил что-то лисье. Это наблюдение окончательно вернуло протопопу мужество. Он усмехнулся и сказал про себя:

— Любил, протопоп, со славными знаться, люби же и терпеть, горемыка, до конца. Писано: „На начавший блажен, но окончивший!”²⁵

И тут „Бог отверз грешные мои уста”, вспоминал потом Аввакум, говоря о себе словами псалмопевца Давида. При первых же речах вселенских патриархов, переводившихся толмачами, неистовый проповедник бросился в бой, избочливая заведенные Никоном в русской церкви новые греческие обряды. „И посрамил их Христос!” — гордо заметил Аввакум. Это весьма похоже на истину, ибо состязаться с пламенной речью старовера Паисию и Макарию было затруднительно. Записи прений не сохранилось: церковным властям это было бы невыгодно, а Аввакум не стал повторять в „Житии” то, о чем не раз писал в полемических сочинениях. Легко представить себе стиль выступления протопопа, когда он, распаяясь все больше и больше, переходил от начетнических аргументов к иронии и издевке.

„Есть же дело настоящее, — говорилось, к примеру, в его „Беседе о иконном писании”, — пишут Спасов образ Еммануила: лице одутловато, уста червонная, власы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые, тако же и у ног бедра толстыя, и весь яко немчин брюхат и толст учинен, лишю сабли той при бедре не писано!.. А все то кобель борзой Никон враг умыслил — (образы) будто живыя писать, устрояет все по-фряжскому, сиречь по-немецкому. Якоже фрязи пишут образ Благовещения пресвятыя Богородицы, чреватую, брюхо на колени висит — во мгновения ока Христос



Паисий,
патриарх
александрийский

совершен во чреве обретется!.. Вот, иконники учнут Христа в Рождестве с бороною писать... так у них и ладно стало. А Богородицу чреватую в Благовещении, яко же и фрязи поганья. А Христа на кресте раздутова: толстехунек миленькой стоит, и ноги те у него, что стульчики. Ох, ох бедныя! Русь, чего-то тебе захотелось немецких поступов и обычаев!”

„Пьян ты, — говорит Аввакум воображаемому никонианину в своих толкованиях к Псалтири, — упился еси от жены-любодеицы (это один из образов Антихристового царства. — А. Б.)... Зело пьяно вино и пьяно

питие у блядки. Нарядна вор-блядь... Упоила римское царство, и польское, и многие окрестные веси, да и на Русь нашу приехала во 160 (1652) году, да царя с царицею напоила: так он (Алексей Михайлович. — А. Б.) и пьян стал, с тех пор не проспится, беспрестанно пьет кровь свидетелей Исусовых. Ну, разумеете ли про жену ту, чада церковная? Всякая ересь блядня глаголется. У еретиков у всех женская слабость: яко же блудница всякова осквернити желает, тако и отступник Никон...”²⁶

В „Житии”, стиль которого более мягок, Аввакум передает спор с патриархами только по одному вопросу, но и этот рассказ свидетельствует, сколь жесткую позицию занимал на суде проповедник. Патриархи, по его словам, „последнее слово ко мне рекли: „Что-де ты упряма? Вся-де наша Палестина, и серби, и албансы, и волохи, и римляне, и ляхи — все-де тремя персты крестятся, один-де ты стоишь во своем упорстве и крестисься пятью персты! Так-де не подобает”. „И я, — пишет Аввакум, — им о Христе отвечал сице: „Вселенстии учителяе! Рим давно упал и лежит невосклонно, и ляхи с ним же погибли, до конца враги быша христианом. А и у вас православие пестро стало от насилия турскаго Магмета — да и дивить на вас нельзя: немощни есте стали!”

„А впредь, — заявил Аввакум, — приезжайте к нам учитца: у нас, Божию благодатию, самодержство. До Никона-отступника в нашей России у благочестивых князей и царей все было православие чисто и непорочно и церковь немятежна. Никон-волк со Дьяволом предали трема персты креститца. А первые наши пастыри яко же сами пятью персты крестились, такоже пятью персты и благословляли, по преданию святых отец наших Мелетия антиохийского и Феодорита Блаженного, епископа киринейскаго, Петра Дамаскина и Максима Грека”.

„Еще же, — добавил Аввакум аргумент, казавшийся ему неотразимым, — и московский поместный бы-

вый собор при царе Иване (Грозном. — А. Б.) так же слагая персты креститися и благословляти повелевает... Тогда при царе Иване быша на соборе знаменосцы Гурий и Варсонофий казанские чудотворцы и Филипп соловецкий игумен от святых русских”.

„И патриарси задумалися, — отмечает Аввакум, — а наши, что волчонки, вскоча, завьли и блевать стали на отцев своих, говоря: „Глупы-де были и не смыслили наши русские святыя, не учоные-де люди были — чему им верить?! Они-де грамоте не умели!”

Такое заявление со стороны русских иерархов глубоко потрясло Аввакума. „О, Боже святыи! — восклицает он спустя много лет в „Житии”. — Како претерпе святых своих толикая досаждения?! Мне, бедному, горько, а делать нечева стало. Побранил их, побранил их, колько мог, и последнее слово рекл: „Чист есмь аз, и прах прилепший от ног своих отрясаю пред вами, по писанному: „Лутче един творяи волю Божию, нежели тьмы беззаконных!” (Сир. 16, 3. — А. Б.).

Слова Аввакума взорвали собор, чуть было не завязалась драка. Действительно, иерархам было на что оскорбляться, ведь Аввакум перефразировал слова апостола Павла к иудеям, злословившим о Христе и апостолах: „Он, отрясши одежды свои, сказал к ним: кровь ваша на главах ваших; я чист; отныне иду к язычникам” (Деян. 18, 6). В другом сочинении Аввакума — „Беседе о внешней мудрости” — проповедник рассказывает эту сцену подробнее, называет имена тех, кто „завыл” на него, и дает понять, что он имеет в виду под словами „побранил их”.

„Помните ли? — спрашивает Аввакум. — На соннице той лукавой пред патриархами теми вселенскими говорите мне, Иларион и Павел (архиепископ рязанский Иларион и митрополит крутицкий Павел. — А. Б.): „Аввакум, милой, не упрямяся, что ты на русских святых указываешь, глупы наши святые были и грамоте не умели, чему им верить!” Помните, чаю,

не забыли, как я бранить стал, а вы меня бить стали. Разумные свиньи! Мудрены вы со Дьяволом! Нечего рассуждать, да нечева у вас и послушать доброму человеку: все говорите, как продавать, как куповать, как есть, как пить, как баб блудить, как робят в олtare за афедрон (задний проход. — А. Б.) хватать. А иное мне и молвить тово сором, что вы делаете: знаю все ваше злохитрство, собаки, бляди, митрополиты, архиепископы, никонияна, воры, прелагатаи (шпионы. — А. Б.), другия немцы руския!”

Теперь нам понятнее, почему, как рассказывает Аввакум в „Житии”, участники церковного собора закричали: „Возьми, возьми его! Всех нас обесчестил!!!” Да и толкать, и бить меня стали, и патриархи сами на меня бросились. Человек их с сорок, чаю, было — велико Антихристово войско собралось. Ухватил меня Иван Уаров (видный никонианин дьяк Иван Уарович Калитин. — А. Б.) да потащил”.

„И я, — рассказывает далее Аввакум, — закричал: „Постой, не бейте! Так оне все отскочили. А я толмачу-архимариту (Дионисию. — А. Б.) говорить стал: „Говори патриархам: апостол Павел пишет: „Таков нам подобаше архиерей — преподобен, незлоблив” и прочая. А вы, убивше человека, как литоргисать станете?” Так оне и сели”.

В этот момент Аввакум потряс собор еще раз. Не проявив никакого уважения к сану архиереев во время прений, он демонстративно выразил им презрение: „И я отошел ко дверям да набок повалился. „Посидите вы, а я полежу”, — говорю им. Так оне смеются: „Дурак-де протопоп-от! И патриархов не почитает!” Но смеялись архиереи недолго.

„И я говорю: „Мы уроди Христа ради; вы славни, мы же бесчестни; вы сильни, мы же немощни!” (парафраз слов апостола Павла, с горечью сказанных коринфским священнослужителям. — А. Б.). Лежащий на полу Аввакум сделал бессмысленной тщательно проду-

манную и декорированную церемонию судилища и посрамил высокое собрание, показав, сколь далеко оно от апостольской проповеди.

Власти, уже, видимо, не в таком представительном составе, еще раз попытались спорить с Аввакумом о пении аллилуйи, но получили столь аргументированный ответ со ссылками на Дионисия Ареопагита, что даже Евфимий Чудовский, тогда еще келарь (мы ближе познакомимся с ним в следующей главе), сказал протопопу: „Прав-де ты — нечева-де нам больши тово говорить с тобою”. Аргументы Аввакума ничего не значили для церковного суда. Участь его и всех его сподвижников решалась на основе других, вовсе не относящихся к богословию соображений, а соборные заседания были фарсом, роскошной ширмой для закулисных решений.

Аввакум это отлично понимал — потому-то он и постарался сорвать маску с этого чинного собрания, выразить свое презрение марионеткам в драгоценных одеяниях. Собор же не нашел иного способа обращения с неистовым протопопом, кроме как приказать вновь бросить его в темницу. „Да и повели меня на чепь”, — завершает рассказ Аввакум²⁷.

* * *

Восточные патриархи и архиереи, занимавшие наиболее почетные места на большом церковном соборе в Москве, интересовали Аввакума гораздо меньше, чем русские иерархи, среди которых протопоп отнюдь не случайно выделил Павла крутицкого и Илариона рязанского. Что это были за люди и почему именно они вызывали особую ярость Аввакума, неоднократно упоминавшего о них в своих сочинениях?

Отчасти это объясняется личными причинами. Так, Иларион некогда был приятелем Аввакума. „Ездил к другу своему Илариону игумну... — вспоминал протопоп, — (он) тогда добро жил — что ныне архиепископ резанский, мучитель стал христианской”. Он мучил,

например, товарища Аввакума Федора. „Был-де я на Резани под началом, — записал протопоп рассказ Федора (к тому времени казненного повешением), — у архиепископа на дворе, и зело-де он, Иларион, мучил меня: реткой день, коли плетьми не бьет, и скована в железах держал, принуждая к новому антихристову таинству”.

Именно к Илариону Аввакум обращает гневную проповедь „О Мелхиседеке”, где описывает приход на Русь Антихриста, за которым „царь наш последует и власти со множеством народа”. „Друг мой Иларион, архиепископ рязанской! — писал Аввакум. — Видишь ли, как Мелхиседек жил? На вороных в каретах не тешился, езда! Да еще был царские породы. А ты хто? Воспомяни-тко, Яковлевич, попенок! В карету съедет, растопырится, что пузырь на воде, сидя на подушке, расчесав волосы, что девка, да едет, выставя рожу, по площади, чтобы черницы ворухи-унеятки (монахини изменницы-униатки. — А. Б.) любили.

— Ох, ох, бедной! Некому по тебе плакать! Недостоин суть век твой весь Макарьевского монастыря единыя нощи (во время дружбы с Аввакумом Иларион был макарьевским игуменом. — А. Б.). Помнишь, как на комарах тех стояно на молитве? Явно ослепил тебя диявол! Где ты ум-то дел? Сколько добра и трудов погубил! На Павла митрополита что глядишь? Тот не живал духовно — блинами все торговал да оладьями, да как учинился попенком, так по боярским дворам блюдолизитъ научился — не видал и не знает духовнаго тово жития. А ты, мила голова, нарочит бывал и бесов молитвою прогонял... А ныне уж сдружился ты с бесами теми, мирно живешь, в карете (бесы) с тобою же ездят и в соборную церковь и в Верх к царю под руки тебя водят, любим бо еси им.

— Как им тебя не любить? Сколько христиан прижег и пригубил злым царю наговором; еще же и учением своим льстивым и пагубным многих неискусных во Ад сведе! Никто же ин от властей, яко же ты, ухищре-

нием басней своих и пронырством царя льстишь и люди божия губишь. Да воздаст ти Господь по делом твоим в день Страшного суда! Полно мне говорить. Хощу от вас ныне терпеть... Мне сие гораздо любо: Руская освятилась земля кровию мученическою!"

„А о Павле крутицком, — замечает Аввакум в другом сочинении, — мерско и говорить: тот явной любодей, церковный кровоядец и навадник, убийца и душегубец, Анны Михайловны Ртищевой (жены видного советника царя Алексея Михайловича. — А. Б.) любимой владыка, подпазушный пес борзой, готов зайцов Христовых ловить и во огонь сажать!"

В частности, Павел мучил на патриаршем дворе детей Аввакума и его духовную дочь монахиню Агафью. С Иларионом и Павлом сотрудничал Иоаким — чудовский архимандрит, позже ставший патриархом московским и всея Руси. Аввакум ставил ему в вину преследования боярыни Морозовой по приказу царя Алексея Михайловича²⁸. Здесь и кроется разгадка особого места, отведенного названной троице в публицистике Аввакума: Иларион, Павел и Иоаким, по отзывам многих современников, — креатуры царя, проводившего с их помощью собственную церковную политику.

Алексей Михайлович не случайно, вопреки требованиям русских архиереев, не поставил на патриарший престол нового человека после ухода Никона в новоиерусалимский Воскресенский монастырь. Ему были более удобны „царевы потаковщики: Павел, митрополит крутицкий, Иларион, архиепископ рязанский, — которые, писал дьякон Федор, — не по святым правилом наскочиша на престолы архиерейския: попы убо быша в мире... и те убо два законопреступные архиереи утвердили все никонианство по хотению цареву, а прочие все власти нехотя последовали им, славы ради и чести временныя". Также и проныра Иоаким сумел убедить царя в своей полной послушности — поэтому его и „поставили в Чудов монастырь архимандритом

на Павлово место — пришел вор на вора, — восклицает Федор, — а вси на Бога! Павла же поставили митрополитом на Крутицы, пасти ветры”.

Во время подготовки большого церковного собора 1666—1667 годов царь Алексей Михайлович, решая сложную задачу осуждения Никона и одновременно утверждения его преобразований в области обряда, раскрыл своим подручным „тайну сердца своего, а они и прочих всех властей уже усвоеваху, и утверждаху всех на новинах стояти, а древнее предание все презира-ти и не во что же вменяти”. Для этого они активно обрабатывали архиереев и книжников, собирая их на Крутицком подворье и в Крестовой палате Кремля.

Большая древность (и, следовательно, по понятиям того времени, истинность) традиционного русского обряда была для отечественных архиереев достаточно очевидной. Тем большим цинизмом отличалась деятельность царских духовных слуг по ниспровержению этого обряда. „Сказа ми Павел архиерей, — с изумлением пишет дьякон Федор, — правду свою в Крестовой патриаршей (палате)... тихо и к слову некоему сказав:... и мы, диаконе, знаем, яко старое благочестие церковное все право и свято и книги непорочны; да нам бы царя оправить, того ради мы за новыя книги стоим, утешая его... Великий государь то изволили, а мы бы и ради по старым книгам пети и служить Богу, да его, царя, не смеем прогневати и сего ради угождаем ему: а за то уж Бог судит — не мы завели новое”.

Желание царя утвердить новый обряд определялось многими соображениями, в частности внешнеполитическими. Алексей Михайлович был убежден (не вполне справедливо), что православное духовенство Украины и южнославянских епархий, на которые уже поглядывало российское самодержавие, ориентировалось именно на навогреческий обряд в соответствии со своей подчиненностью патриарху константинопольскому. Внутри страны царю представлялось опасным признать

правоту фанатичных защитников старого обряда, не менее Никона склонных диктовать свою волю самодержцу: предлагал же Аввакум „роспись, хто в которые (епархии) во владыки годятца”, указывая царю, кого куда следует назначить! Но после опыта с Никоном Алексей Михайлович хорошо усвоил значение послушной церкви и не жалел сил, чтобы иметь такую.

Чтобы обеспечить нужное поведение российских архиереев на предстоящем большом церковном соборе, царь лично провел серию подготовительных мероприятий. Прежде всего, Алексей Михайлович потребовал от архиереев и настоятелей крупнейших монастырей дать ему письменный за собственноручной подписью ответ на три вопроса:

- 1) Как относиться к четырем восточным патриархам?
- 2) Как относиться к греческим книгам и обрядам?
- 3) Как оценивать решения никонианского собора 1654 года, поддержавшего курс на церковные реформы в России?

Иными словами, архиереям было предложено покориться царской воле, вполне ясно переданной им Иларионом, Павлом и Иоакимом, или открыто, письменно засвидетельствовать свое сопротивление самодержцу. Смельчаков не нашлось. Каждый из опрошенных согласился, что необходимо чтить православных восточных патриархов, их книги и обряды, и признал обязательными решения собора 1654 года.

Заручившись письменными ответами, 29 апреля 1666 года царь Алексей Михайлович открыл в Кремле собор русских архиереев. В своей речи он изображал плачевное состояние церковных дел и призывал ревностно потрудиться для наведения в церкви порядка. Царь особо обрушился на староверов, обвиняя их в богохульстве и мятеже и предупреждая собравшихся против „небрежения” в искоренении этих „дьявольских плевел”. В знак покорности царской воле каждый

участник собора русских архиереев должен был поцеловать греческую книгу, что присутствующие и осуществили. Успокоенный этим „единодушием”, царь мог позволить себе не участвовать в следующих заседаниях собора, на котором главную роль играли Павел, Иларион и Иоаким.

На втором заседании собора архиереи обрушились на вятского епископа Александра — известного своемыслием и даже позволявшего себе осуждать никонианские книжные исправления. Запуганный епископ принужден был униженно каяться и дать письменное отречение от своих взглядов. Следующие заседания посвящались „увещанию” сторонников старого обряда, из ссылок и тюрем свозившихся к Москве. „Обработка” вождей староверов продолжалась специально назначенными людьми и между соборными заседаниями, причем, согласно указанию Алексея Михайловича, духовные власти старались действовать в примирительном духе, уговаривая если не принять новый обряд, то по крайней мере не хулить его.

Старообрядцы в своих сочинениях неоднократно признавали, что власти беседовали с ними „тихо”, уважительно, „кротко”. Даже неистовый Аввакум записал, как ему говорили: „Долго ли тебе мучить нас? Соединись с нами, Аввакумушко!” — Я отрицаюся, — продолжал протопоп, — как от бесов, а оне лезут в глаза! Скаску им тут с бранью с большою написал... И в Крестовой, стяжався власти со мною, ввели меня в соборной храм и стригли... потом и проклинали; а я их проклинал сопровтив; зело было мятежно в обедню ту тут!”²⁹

Однако подобных мятежников оказалось немного. Лишь Аввакум, Лазарь, дьякон Федор и подьяк Федор из множества вызванных на собор наотрез отказались от примирения с официальной церковью. Такой успех православных архиереев объясняется не только и даже не столько формой, сколько содержанием их „увеще-

ваний с любовью". Собор русских иерархов не хулил старые книги, чины и обряды, не называл их еретическими и, более того, не порицал держащихся их. Собор призывал следовать новым обрядам, а от сторонников старых обрядов требовал, строго говоря, одного: отказаться от утверждения, что русская церковь утратила православие и в мире наступают времена Антихриста.

Примером этого здравого и плодотворного в предотвращении раскола подхода может быть соборный приговор Аввакуму. Что было поставлено в вину лидеру староверов? Очень немногое. Собор осудил его ругань на новый символ веры, троеперстное крещение, редактирование книг и самих редакторов, на новую манеру пения. Аввакум, по словам участников собора, оклеветал московских священников, будто бы они не веруют в воплощение и воскресение Христа, не исповедуют его божественную природу и Святого духа и т. п., а к этой клевете „приложил, как эпилог, матерщину, запрещая православным христианам принимать божественные тайны от священников, употребляющих при службе новоисправленные книги. Об этом всем, — констатирует документ собора, — (Аввакум) от священного собора распрошен был, и не покорился, клеветник и мятежник, еще больше злобу к злобе прилагая, укорил в лицо весь священный собор, всех неправославными называя”.

Позиция собора, сводившаяся к прекращению открытой вражды внутри церкви и постепенному внедрению новых обрядов и книг, была четко выражена в обширном соборном воззвании к пастырям церкви. В нем указывалось на необходимость водворения более строгого благочиния в церковной службе, исполнении церковных треб и поведении священнослужителей, поскольку именно деятельность духовенства щедро снабжала староверов материалом для критики официальной церкви. Собор не ограничился общими пожелания-

ми, но сделал немало конкретных распоряжений для укрепления благочиния³⁰.

Когда примерно через месяц после первого заседания собор русского духовенства завершил свою работу, большой шаг в деле преодоления возможности раскола церкви был сделан. При этом, как и планировал царь Алексей Михайлович, лидеры старообрядцев были осуждены и лишены возможности восстановить свое влияние в церковных кругах. Но опасность никонианского движения за самостоятельность церкви относительно светской власти, на взгляд царя, еще не была вполне преодолена. Это должен был сделать тщательно подготавливавшийся большой церковный собор с участием восточных иерархов, открывшийся в Москве 29 ноября 1666 года.

Царь и его правительство опять оказались прозорливыми и правильно предвидели развитие событий. 14 января 1666 года в ответственный момент подписания соборного осуждения патриарха Никона русские архиереи взбунтовались. Иларион и Павел показали, что они выступали марионетками самодержца прежде всего из тактических соображений. Под их предводительством многие архиереи отказались ставить подписи под приговором Никону, пока собор не утвердит главную идею низвергаемого патриарха — о превосходстве духовной власти над светской!

Этот удар, не оказавшись светские власти подготовленными к нему, мог бы принести самодержавию немало затруднений и, кто знает, возможно, изменить дальнейшую историю России. По понятным соображениям сведения о бунте архиереев не были включены в деяния большого собора, однако события эти подробно описаны советником восточных патриархов Паисием Лигаридом в сочинении о суде над Никоном, в котором он принимал самое активное участие, отстаивая интересы самодержавия.

Еще перед большим собором, готовя низложение Никона, царь Алексей Михайлович получил с Востока соборную грамоту патриархов о соотношении светской и духовной власти. Отвечая на прямые вопросы российского самодержца, осчастливившего их щедрой милостью, патриархи утверждали абсолютное превосходство царской власти. По их словам, царь есть „глава и верх всем членам, подчиненным ему”, „царь есть господь всех подданных своих, ожидающих от него дарований и добротворений, противных паки — казни. А если кто царю видится противен быти, хотя есть и лицо церковное высокого достоинства” — такой творит зло, ибо царь есть наместник божий.

Как бог всевластен на небесах, так самодержец единовластен на земле, утверждали восточные патриархи, сопротивляющиеся царю недостойны звания христиан, как не уважающие божьего помазанника. В доказательство патриархи приводили исповедание (присягу) византийских патриархов императору, содержащее обещание церковных владык „быть под повелительством, и заповедью, и под манием царского достоинства... под изволением и прописанием твоея царския светлости... Обещаваю, -- гласила присяга, — мя подлагати под суд и соответствующие ему казни по предложению и повелению твоего царского престола”.

Царское повеление — закон, которому никто не смеет противиться — ни церковный иерарх, ни сам патриарх — под угрозой законного низвержения с занимаемой степени и даже казни! Священнослужители всех степеней, гласила патриаршая грамота, подлежат царскому суду наравне с другими подданными и должны нести кару за всякое сопротивление царским повелениям. Неудивительно, что составленный в духе патриаршей грамоты доклад Паисия Лигарида о низвержении Никона вызвал взрыв возмущения русских архиереев. Как ни погрязли в холопстве Павел и Иларион, они не могли подписаться под словами, полностью

отдающими священнослужителей в подчинение светской власти: „Един государь владычествует всеми вещами богоугодными, патриарх же послушлив ему как пребывающему в большем достоинстве и наместнику Божию”.

Расчет русских иерархов был очевиден: используя крайнюю заинтересованность царя в формальном низвержении Никона, выторговать хотя бы декларативное признание самостоятельности, независимости священства от царства. Но на большом соборе не зря присутствовало столь большое количество иностранных иерархов, напрямую зависимых от царских субсидий. Как только Иларион, Павел и их сторонники, громко хлопнув дверью, покинули зал заседаний, патриархи Паисий и Макарий распорядились прервать работу собора на два дня, с тем чтобы все участники представили письменные мнения о соотношении духовной и светской власти.

Самодержавие получило необходимое время для нажима на архиереев. Требовалась большая смелость, чтобы лично и письменно засвидетельствовать свою приверженность идее „двух мечей” (независимых светских и духовных властей). Тем не менее среди русских архиереев нашлись люди, не испугавшиеся давления. Неизвестно, каким образом на последующие заседания собора оказались не допущены Иларион и Павел — инициаторы сопротивления царю, — но их место во главе противников самодержавного всевластия занял Симеон, архиепископ вологодский. Его поддерживали с мест, прерывая разглагольствования греков и приводя доводы, другие русские архиереи.

С самого начала восточные патриархи и Лигарид захватили инициативу в свои руки, „докладывая” собору собранные мнения не целиком и последовательно, а в скомканном и сокращенном виде, стараясь умалить, извратить и максимально затемнить представленную русскими аргументацию. Этому способствовало и то, что патриархи говорили по-гречески, а Лигарид по-



Макарий,
патриарх
антиохийский

латыни. Соответственно русские записки переводились на эти языки, а затем обратно. Тем, кто желает полно представить картину этих напряженных соборных прений, советую обратиться к исследованию профессора Н. Ф. Каптерева. Для нас достаточно отметить, что и в таких условиях русские архиереи долго не сдавались, прерывая намеренно витиеватые, продолжительные и утомительные речи греков серьезными аргументами и замечаниями.

„Для чего же ты не привел положенного вначале изречения Златоустаго, — спрашивали, например, Лига-

рида, хитроумно выбросившего важнейшую цитату Иоанна Златоуста, — „священство, которое столько превосходнее всех других достоинств, сколько дух превосходнее тела?“ „Вот слова Златоустаго яснее солнца царскаго!“ — заявил архиепископ Симеон, укоряя Лигарида в том, что, будучи архиереем, тот превозносит „права самодержавных“.

„Требую объяснения, для чего приведено это место?!“ — спрашивал тянущего время Лигарида суздальский архиепископ Стефан, не позволяя увести прения в сторону. „Отвечай, газский епископ (Лигарид. — А. Б.), — требовал собор, загнав греков в угол, — не яснее ли солнца высказывается здесь искомое: что престол святительский выше всякого другого престола, а следовательно, и самого царского достоинства?“ При всех риторических вывертах, используя свое право прерывать и переносить обсуждение, греки с заметным трудом продержались в прениях два дня, пока не подошла долгожданная помощь царя.

В ночь после второго заседания страшно запуганные Павел и Иларион пали на колени в палатах восточных патриархов, умоляя греков заступиться за них перед царем Алексеем Михайловичем и спасти от жестокой казни. Следует отметить, что даже в этот момент Павел и Иларион сохраняли надежду отстоять свое мнение, убедить патриархов Паисия и Макария стать на их сторону. Они вновь приводили слова Иоанна Златоуста о первенстве священства перед царством, напоминали древний обычай, когда поставляемый в должность архиерей становился ногами на двуглавого орла — римский знак самодержавной власти, убеждали, что преступно архиереям целовать руку царя, не имеющую права благословлять, ссылались на авторитетных богословов.

Интересы греков, которых в Москве долго упрекали в утрате благочестия из-за отсутствия у них право-

славного самодержавия, должны были, казалось, толкнуть их навстречу русским архиереям. Уповая на это, Павел и Иларион произнесли пламенную речь, которая даже в передаче Лигарида сохраняет свою остроту.

„Вы, — говорили Павел и Иларион патриархам, — находясь под владычеством христоненавистных агарян, за свое терпение и страдание, несомненно, имеете получить награду и венец от... Спасителя. А мы, несчастные и ублажаемые за то, что находимся в самых недрах христианства, терпим великую нужду в своих епархиях, и всякие затруднения, и много тяжкого поневоле терпеливо переносим от властей. Но страшимся еще худшего впереди, когда утверждено будет, что Государство выше Церкви. Хотя и не имеем в уме той мысли, — лукавили архиереи, — чтобы пришлось нам терпеть такие несправедливости и оскорбления в благополучное царствование... государя Алексея Михайловича — боимся за будущее, опасаемся, чтобы последующие государи, не зная смысла патриаршего постановления, не погрешили, просто следуя букве, которая часто убивает”.

Как в воду глядели Павел и Иларион, говоря о наследниках Алексея Михайловича: явственно проглядывает в их пророческой речи свирепый лик Петра Алексеевича с его Всепьянейшим собором и Святейшим синодом! Не менее четко видится будущее и в ответной речи, которой разразился Паисий Лигарид, не дав ничего сказать патриархам.

„Погибла ты, истина! — возопил он. — Господствует ныне ложь!.. Недостойны русские такого царя! (далее следует безудержное восхваление Алексея Михайловича и самого себя. — А. Б.). Поистине наш державнейший царь государь Алексей Михайлович столько сведущ в делах церковных, что можно было бы подумать, будто целую жизнь был архиереем, посвящен во все тайны иерархического служения, от молодых ногтей воспитывался в храме, как Самуил. Почему не стыдись возве-

щаем, что лобызаем щедродаровитую десницу такого царя”.

„Да, да! Целую и лобызаю руку, обогащающую странных, пекущуюся о сиротах, руководствующую слепых... Да, да! Лобызаю десницу... пишушую спасительные заповеди... Да, да! Лобызаю бранноносную руку... подвигающуюся за благочестие...”

„Не к бесчестию, но к благой похвале полагается орел под ноги хиротонисуемого (поставляемого. — А. Б.) архиерея. По праву становится он на него:... этим он показывает, что будет тверд в вере самодержца... что будет во всем покорен и послушен царю!...”

„Вы боитесь будущего, чтобы какой-нибудь новый государь, сделавшись самовластным и соединя самоуправство с самозаконием, не поработил церковь российскую. Нет, нет! У доброго царя будет еще добрее сын, его наследник... Он будет... иереем и царем. Да и у римлян, как и у египтян, царь соединял в себе власть священства и царства...”

К тому все и шло, и это-то более всего беспокоило русских архиереев, но они вынуждены были смириться. На следующем заседании собора восточные иерархи во главе с патриархами, сделав вид, что идут на уступки, преодолели последнее сопротивление. Формально было „признано заключение, что царь имеет преимущество в делах гражданских, а патриарх в церковных”. Реально речь шла о полном и безоговорочном политическом подчинении церкви государству. Это было подчеркнуто оглашением на соборном заседании некоего „списка”, выдаваемого за „патриаршее александрийское собрание законов”, где утверждалось, что заговорщики и мятежники подвергаются анафеме, церковному проклятию. Иными словами, проклят должен быть каждый, кто противится самодержавной власти!

Возражения русских архиереев по поводу этого странного узаконения, лишаящего священство всякого суверенитета, вызвали столь резкую реакцию гре-

ков, что они, похоже, не вполне отдавали себе отчет в произносимом. „Кто не любит царя, тот не любит Господа Иисуса Христа”, — заявлял Паисий Лигарид, и не только заявлял, но и пытался обосновать это положение. „По сим и подобным причинам, — завершал он пространные рассуждения, — *царь именуется Богом*. И ты, богоподобный Алексей Михайлович, имеешь право на такое богоименование!..” По соображениям Паисия и восточных патриархов „царь не подлежит законам”, а распоряжения его „всевластны”.

Немая сцена последовала за такими выступлениями греков... „Что скажете на это? — произнесли патриархи после продолжительного молчания. — Убедились ли сказанным, или еще желаете других свидетельств? (Вроде того, что Синодрийон позволил иудейскому царю иметь 18 жен, Артаксеркс убивал всех увидевших его, а Дарий не разрешал себе противоречить. — А. Б.)”. — „Предовольно и сказанного”, — уныло ответили русские иерархи, подписывая приговор Никону и надеждам на самостоятельность православной российской церкви.

Возможно, они надеялись взять реванш после окончания собора и отъезда столь ретивых в служении царю греков, когда на престоле будет сидеть собственный патриарх. Не исключено, что в этом была причина довольно скорого (через четыре дня) „покаяния” местоблюстителя патриаршего престола митрополита Павла и архиепископа Илариона. Но тягаться с искушенным в политических делах аппаратом светской власти церковным деятелям было не под силу.

Прежде всего были выведены из игры Павел и Иларион. Неожиданно, вечером 24 января 1667 года, на собрании в палатах восточных патриархов из уст Паисия и Макария прозвучали три зловещих вопроса: 1) Как наказать того, кто обесчестил собор? 2) Какому

наказанию подлежит не оказавший уважения вселенским патриархам, подписавшим приговор Никону? 3) Какому наказанию должен подвергнуться тот, кто не слушается христианского царя?

Вырвав у участников собора признание необходимости церковного наказания таких „злодеев”, патриархи послали за Павлом и Иларионом. Возражения заочно осужденных русских архиереев (довольно сильные) не были, разумеется, приняты во внимание. „Свят самодержавный наш, — впадая в патетику, говорил александрийский патриарх Паисий, — те никонствуют и папствуют, кто покушается уничтожить царство и поднять на высоту священство”. Обоим обвиняемым была запрещена церковная служба.

„И они, — пишет довольный Паисий Лигарид, — вышли из патриаршей кельи не без слез. А прочие (русские иерархи. — А. Б.) пришли в страх от сего неожиданного наказания и от тяжести сей епитимии... Отсюда уразумели, что имеют над собой начальников и высших предстоятелей и те, которые уже с давнего времени привыкли быть непокорными по причине зазорного отсутствия Никона и последовавшего затем бесчинного безначалия”.

„А поелику митрополит Павел крутицкий был местоблюстителем патриаршим, — разъясняет Лигарид смысл этого превентивного удара, — то на его место избран Архангельского собора архиерей кир Феодосий (бежавший на Русь бывший сербский митрополит. — А. Б.), который и управлял краткое время делами патриаршескими, всем благоугождая, Богу и людям”. После ухода Павла и Илариона патриархи немедленно объявили о предстоящем избрании патриарха московского...”

Слова Паисия Лигарида подтверждает и дополняет официальный документ, гласящий, что на следующий день, 25 января, в пятницу, „Павлу митрополиту отказано правление в дому пречистыя Богородицы в соборе

и в дому патриархов; а приказано Феодосию, митрополиту сербскому. Илариону, архиепископу рязанскому, також отказано от службы, что и Павлу митрополиту, с тем, однако, чтоб оба из дворов не выезжали” — то есть находились под домашним арестом и не могли помешать выборам нужного царю патриарха.

„Выборы” были организованы настолько четко, что уже в первом списке из 12 кандидатур было только трое епископов (остальные — архимандриты и игумены). Из трех отобранных затем, „не без ведома” царя Алексея Михайловича, кандидатов все были архимандритами — и именно самодержец указал „призвать” на патриарший престол самого дряхлого старца, не имевшего (как признает известный историк церкви митрополит московский и коломенский Макарий) „ни учености, ни способности к церковным делам”. Так был „избран” российский патриарх Иоасаф. Цель была достигнута — и русских архиереев можно было „простить”, что и произошло 3 февраля 1667 года³¹.

Так на соборе 1666—1667 годов самодержавие сумело отбросить и Никона, и, сохранив его обрядовые реформы, староверов во главе с Аввакумом, и русских архиереев, которые помогали царю в низвержении Никона, желая в то же время отстоять его идею церковного суверенитета. Как видим, протопоп Аввакум был прав, утверждая, что Павел, Иларион и другие русские архиереи сыграли весьма незавидную роль. Еще более оправданно было презрение, выраженное „огнепальным” протопопом представителям восточного православия, перед золотыми тронами которых Аввакум демонстративно лег на пол. Духовный вождь старообрядцев не считал даже нужным ругать „палестинских” (как он называет восточных патриархов — Паисия Лигарида и иже с ними) — он почти не упоминает о них в своей публицистике.

Дело было не только в свойственном староверам чувстве превосходства над „утратившими благочестие

Иоасаф,
патриарх
Московский
и всея Руси



греками”. Перед Аввакумом не были открыты государственные архивы, документально свидетельствующие о сущности взаимоотношений приезжих греков со светской властью, но шила в мешке не утаишь: протопоп видел перед собой не настоящих духовных лиц, а нарядно обряженных кукол, марионеток, недостойных не только уважения, но и простого внимания. Для нас, к счастью, архивные документы открыты (во многом благодаря прекрасным исследованиям профессора Н. Ф. Каптерева), и мы можем по ним проверить справедливость этих ощущений неистового протопопа.

Множество духовных лиц с православного Востока наводняло в XVII столетии Москву, ища материальной и политической поддержки богатого северного соседа. Немало среди них было авантюристов, потерявших надежду сделать карьеру на родине, но и официальные лица греко-кафолического вероисповедания, оказавшись в Москве, не всегда вели себя с должным достоинством. Тяжелое положение православного духовенства под властью турок, бедность восточных епархий, раздиравшие греческий клир междоусобия и интриги накладывали свой отпечаток на представления приезжих о морали. Для российского самодержавия эти особенности восточных посетителей Москвы оказались весьма удобными.

Царь Алексей Михайлович и его окружение ясно почувствовали это уже в 1660 году, когда была совершена первая серьезная попытка соборного осуждения патриарха Никона. Собор русского духовенства, продолжавшийся с 16 февраля по 14 августа — целых полгода, — был хорошо юридически подготовлен. Собравшимся 13 архиереям, 29 архимандритам, 13 игуменам, пяти протопопам и ученому старцу Епифанию Славинецкому (доверенному лицу царя) было представлено множество письменных свидетельских показаний об оставлении Никоном патриаршества. Собравшиеся обсуждали церковно-правовые документы и казусы, доложенные специальной комиссией (с участием Илариона и Павла), и приняли решение об отставке Никона и поставлении нового патриарха. Большинство русских духовных лиц — участников собора — не только не желало возвращения Никона на патриаршество, но и настаивало, в соответствии с желанием царя, на лишении его архиерейства.

Камнем преткновения оказался вполне понятный страх духовенства перед произволом, его ярко выраженное стремление поступить с Никоном „по правилам“. Поэтому посланная царю записка (вероятно,

Епифания) с сомнениями относительно правомерности низложения Никона поместным собором, а не собором восточных иерархов и избрания нового патриарха при жизни Никона чуть было не сломала отлично налаженный механизм суда.

Тут-то на помощь светским властям пришли бывшие в Москве греки: архиереи Парфений фивский, Кирилл андросский и Нектарий погонианский, которых царь Алексей Михайлович приказал призвать на собор, чтобы они изрекли приговор Никону по греческим правилам. Правила эти, как и следовало ожидать, оказались гибкими. Архиереи отметили, что им лично близок Никон с его грекофильской политикой, но его судьбу, как и судьбу патриаршего престола в Москве, имеет полное и нераздельное право решать сам самодержец: хочет — низложит, хочет — восстановит.

В соответствии с этими „правилами” собор постановил: „Чужду быти Никону патриаршескаго престола чести, вкупе и священства, и ни чим не обладати”. Греки горячо поддержали это решение, подав государю особые мнения, в которых каждый старался обвинить и унижить Никона. Между прочим, они заметили, что, во-первых, новопоставленный после Никона патриарх должен считать четырех восточных патриархов выше себя; во-вторых, что следует изменить порядок поставления патриарха в пользу царя. Вместо избрания по жребию следовало, по мнению греков, избирать на поместном соборе три кандидатуры, из которых самодержец должен самолично выбрать лучшего!

В своем рвении, однако, греки зашли слишком далеко. Епифаний Славинецкий, поверивший им и подписавший решение собора о лишении Никона патриаршества и архиерейского сана, будучи человеком любопытным, стал читать греческую книгу, содержащую, по словам приезжих, соответствующее (шестнадцатое) правило первого и второго вселенского собора. С глубоким изумлением Епифаний такого правила не нашел:

оно было попросту выдуманно греками в угоду царю! Возмущенный Епифаний подал государю заявление, в котором отказывался от своей подписи под приговором Никону. Это заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы — решение такого важного для русских иерархов дела оказалось основано на вранье, — и приговор не вступил в силу. К тому же архимандрит полоцкого Борисоглебского монастыря Игнатий Иевлевич произнес перед собором страстную речь, заявив о невозможности заочного осуждения Никона без участия вселенских патриархов (по крайней мере, константинопольского). Не признал правомерность решения собора 1660 года и Никон.

Первый блин греков вышел кодом, но светская власть уже углядела огромные возможности „сотрудничества” с приезжими. Вскоре, 12 февраля 1662 года, в Москву прибыл прекрасно подготовленный к подобным делам в иезуитской коллегии Паисий Лигарид, именовавший себя митрополитом города Газа. Свой символ веры он немедленно обозначил, обратившись к московскому правительству за деньгами. Предлоги просьб о вспомоществовании были разные. Прежде всего, Паисий живописал ужасное положение христиан его епархии под властью турок и просил ежегодно вручать ему 500 ефимков (крупных серебряных монет), необходимых как дань мусульманским властям. Затем грек просил увеличить ему содержание из казны, чтобы его слуги и лошади не помирали с голоду. Поскольку греческий митрополит прибыл в Москву без соответствующего одеяния, он попросил затем выдать ему архиерейские одежды, саккос и митру. Все было дано с прибавкой против просимого.

Паисий Лигарид недолго удивлялся щедрости московского правительства: попросил карету и лошадей с новой упряжью. Они были даны. Тогда он вместе со своим дьяконом Агафангелом купил по цене лома 250 вышедших из обращения медных рублей и просил за-

менить их серебром. Все было дано. Дают — бери, решил Лигарид и кровью сердца написал прошение о том, что его епархия уже три года, пока он живет в Москве, не выплачивала дани туркам и подати иерусалимскому патриарху (для чего прихожане заняли 1700 ефимков). Не спрашивая, куда митрополит дел выплаченные прежде деньги, российское правительство согласилось оплатить эти расходы христиан города Газа. Лигарид просил „легкости ради” выдать эту сумму золотом — и эта просьба была удовлетворена: вместо 1700 ефимков серебром ему выдали „850 золотых червонных”.

К расходам казны на Лигарида следует отнести и немалые косвенные потери: широкую торговлю Паисия соболями, покровительство купцам, которые, являясь якобы „племянниками” митрополита, уклонялись от уплаты таможенных пошлин, маклерскую деятельность. Кроме того, правительству было известно о взятках, которые Лигарид брал за покровительство приезжавшим в Москву греческим купцам и духовным лицам, об ограблении им с сообщниками архимандрита Христофора, вещи которого были найдены в келье Паисия при обыске („золотые, и ефимки, и соболи, и перстень”). Тем не менее московские власти не только смотрели сквозь пальцы на „шалости” Лигарида, но и постоянно снисходили к его просьбам за различных лиц, укрепляя влияние митрополита, который очень быстро стал как бы полномочным представителем греков в России.

Разумеется, царь Алексей Михайлович и его казначей не зря тратили на Лигарида и его компанию средства из крайне истощенной войной с Речью Посполитой казны. Деньги в России считать умели еще со времен Ивана Калиты и если платили — то за дело. Что это было за дело — нетрудно догадаться. Сразу после приезда Лигарид взялся помочь царю решить церковную распрю и проявил в этом деле изрядное рвение. Уже 29 мая 1662 года он подал докладную записку, требуя

запретить Никону всякие архипастырские действия до решения церковного суда. 15 августа того же года он представил письменный ответ на серию вопросов о Никоне, составленных по поручению государя боярином С. Л. Стрешневым. „Я хочу правду говорить и умру для правды Божии”, — гордо заявил Паисий — и выслужался, составив целое обвинительное заключение против Никона.

Увидав такое рвение, царь особым указом от 29 декабря 1662 года повелел в присутствии архиепископа Илариона и светских чиновников прочесть перед Паисием материалы собора 1660 года — и не раскаялся, поскольку тот дезавуировал действия Епифания Славянецкого, назвав его „врагом царю, и правде, и всему собору”, и призвал к осуждению Никона. Но как это было сделать? И тут Лигарид пришел на помощь царю, предложив организовать в Москве новый суд с участием восточных патриархов. (Правда, решение о созыве такого собора царь принял еще 21 декабря, но Лигарид словно прочитал мысли своего щедрого патрона.)

Тонкость ситуации состояла в том, что царь не хотел явно показывать свою заинтересованность в деле, стремился представить его чисто церковным. Поэтому на Востоке должны были действовать не царские дипломаты, а некие неофициальные лица. Паисий брался это осуществить. С царскими грамотами к восточным патриархам отправился иеродиакон Мелетий — высокообразованный и умный человек, земляк и друг Лигарида. О его способностях ходили легенды, одну из которых излагал царю опальный патриарх Никон: „Он есть злой человек, на все руки подписывается и печати подделывает, и здесь, не солгу, такое дело за ним было, чайть и ныне есть в Патриаршем приказе, а известно то дело Арсению Греку и иным, их же он весть”.

Дело о подделке Мелетием патриарших подписей действительно существовало — и недаром Лигарид заодно благоверно постарался оклеветать перед царем Ар-

сения Грека (в августе 1662 года). Даже Алексея Михайловича взяли сомнения, когда он вопрошал Паисия: „А кто поручится за него (Мелетия), что воротится, если он человек двоедушный и почти что сам за себя ручается?!” Но Лигарид убедил царя, что такой-то посланец им и нужен...

Миссия Мелетия не была столь блистательной, как планировалось. Хотя еще по пути его на Восток среди греческих иерархов ходили фантастические слухи о суммах, которые он везет для подкупа патриархов (назывались числа в 8 и 20 тысяч золотых на патриарха, тогда как казна считала достаточными суммы в 400 золотых константинопольскому и по 300 золотых остальным патриархам), Мелетий добился сравнительно немногого.

В счет присланных сумм патриархи написали в Москву грамоты о преимуществе светской власти перед духовной (о которых мы уже упоминали). Но иерусалимский патриарх Нектарий в грамоте от 20 марта 1664 года написал Алексею Михайловичу, что не видит за Никоном вины, не считает возможным его низвергнуть и просит царя „не преклонять слуха своего к советам мужей завистливых, любящих мятежи и возмущения, а наипаче — если таковые будут из духовного сана”. Осудил гонения на Никона и действия Лигарида также преемник Нектария на иерусалимском патриаршем престоле Досифей. Все восточные патриархи отказались ехать в Москву или прислать своих заместителей (экзархов) для суда над Никоном.

Не лучшим оказалось и положение Мелетия в Москве, где иконийский митрополит Афанасий убеждал царя от имени своего „дяди” — константинопольского патриарха Дионисия „помириться со святейшим патриархом московским Никоном”, так как их распря роняет авторитет православия между иноверцами на Восто-

Досифей,
патриарх
иерусалимский



ке. В 1664 году, когда Мелетий вернулся в Москву, Афанасий публично опроверг подлинность привезенных им грамот восточных патриархов. Не сумев отвести обвинение в подделке грамот и подписей к ним, Мелетий и Лигарид сфабриковали грамоту патриарха Дионисия, в которой Афанасий назывался орудием Дьявола и „сосудом злосмрадным”, отлученным от церкви. Однако и таким путем уничтожить Афанасия не удалось. Приготовления к осуждению Никона и староверов вновь зашли в тупик.

Выход из него Паисий Лигарид видел в массивном воздействии на восточных патриархов и исполь-

зовании для этого своих специфических средств. Летом 1664 года из Москвы выехала группа посольств, снаряженных из ставленников Лигарида. Первое из них направлялось в Молдавию, где находился тогда иерусалимский патриарх Нектарий. Миссия, которая была на него возложена, позорно провалилась: Нектарий наотрез отказался судить Никона лично или через своего экзарха.

Отказался ехать в Москву и константинопольский патриарх Дионисий, к которому прибыл друг Паисия грек Стефан с царской грамотой, содержащей просьбу в случае невозможности поездки назначить константинопольским экзархом в Москве... Лигарида. 12 ноября 1665 года Стефан вернулся в Москву с блистательной победой: сразу тремя грамотами, свидетельствующими о назначении Лигарида экзархом! Грамоты утверждали, что Дионисий поручает Паисию суд над Никоном. Царь торжествовал, Лигарид начал активно обличать Никона, но... вновь возникший на горизонте иконийский митрополит Афанасий заявил о поддельности всех привезенных Стефаном грамот!

Это было уже слишком. После бурной сцены во дворце, где Афанасий и Стефан обвиняли друг друга во всех смертных грехах, неугодного обличителя убрали. „Иконийский на время отправлен был на успокоение в Симонов монастырь, в котором и пребывал до славного прибытия патриархов или, лучше сказать, до упокоения и безвременных своих похорон”, — удовлетворенно писал Лигарид. Но радовался он рано.

Как ни необходимо было царю Алексею Михайловичу преодолеть проблемы со священством, он не мог добровольно пойти на явный подлог. Самодержец пожелал убедиться в полномочиях митрополита Паисия и послал, наконец, на Восток русского — келаря Чудовского монастыря Савву. Во избежание осложнений миссия Саввы была тайной. „Отправление его более походило на бегство, чем на посольство, — писал оби-

женный Лигарид, не сумевший применить к Савве свои меры, — так тайно произошло оно, что только трое знали о нем...”

Соответствующий был и результат: Савва выяснил, что Стефан вообще не был у патриарха Дионисия и не получал от него никаких грамот. Более того, Дионисий никогда не согласился бы назначить Лигарида своим экзархом. „Я его и православна не нарицаю, — говорил царскому посланцу патриарх, — что слышу от многих, что он папешник и лукав человек... Газский Паисий Лигарид рукоположенец папин и во многих лятцких (польских. — А. Б.) костелах служил за папу литургию”.

Грамоты о царской и патриаршей власти, привезенные Мелетием, оказались подлинными, а митрополиту иконийскому Афанасию (к слову сказать, оказавшемуся в весьма далеком родстве с Дионисием) патриарх никакой миссии в Москве не поручал: тот сбежал из Константинополя от долгов. В „Третьем Риме”, как выяснилось, собралась целая группа авантюристов, и один стоил другого. Но для Лигарида итог был печален — он был полностью дезавуирован и уже считал за лучшее унести ноги из Москвы, когда судьба снова повернулась к нему лицом. Иеродиакон Мелетий ехал на Русь с богатой добычей — сразу двумя восточными патриархами!³²

21 июня 1666 года в Астрахань прибыла большая группа людей в монашеских одеяниях. Прибытие их не отличалось пышностью. По внешнему виду прибывших трудно было заключить, сколь высокие церковные иерархи находятся в землях Российского государства и сколь важную роль предстоит им вскоре сыграть в истории русской православной церкви. Лишь один из тех, кто отправился представляться астраханскому архиепископу Иосифу и воеводе князю Я. Н. Одоевскому,

сиял, не в силах сдержать торжества, — это был иеродиакон Мелетий, предвкушавший богатейшую царскую награду за блестяще выполненную на Востоке миссию.

Хотя патриархи константинопольский и иерусалимский наотрез отказались поехать в Москву или послать своих экзархов для суда над Никоном и староверами, Мелетий не сдавался, и его труды окупилась сторицей. Он нашел патриарха Паисия александрийского и „после многих оборотов в речах (как пишет Паисий Лигарид. — А. Б.) достиг желаемого”: то есть прельстил владыку богатой и обильной царской милостыней. Развивая успех, Мелетий прибыл на Синайскую гору „и медовыми речами убедил тамошнего архиепископа Ананию явиться в Московию для личного присутствия на замышляемом синоде”; уговорить удалось также бывшего трапезундского митрополита Филофея, которому все равно уже нечего было искать на Востоке.

Удача ждала Мелетия и на обратном пути в Москву. В Грузии он повстречал... патриарха антиохийского Макария, собиравшего там пожертвования. Стремления царского двора и антиохийского патриарха совпали — одному нужен был церковный авторитет, другому — деньги, которые Мелетий щедро обещал — и не обманул.

Золотой дождь пролился над патриархами еще в Астрахани (где духовные и светские власти организовали его своими силами) — и лил беспрепятственно все время пребывания их в России. Немедля по прибытии патриархов в русские пределы царь Алексей Михайлович выслал им по 200 рублей серебром, отрезы атласа, тафты и, разумеется, меха. На первом представлении царю в Москве Макарий и Паисий получили четырехфунтовые серебряные золоченые кубки, свертки бархата черного, вишневого рытого, зеленого, отрезы атласа, камки, два сорока (большие связки) соболей, по 300 рублей денег.

Приезд патриархов оставил глубокий след в расходных книгах царской казны: выдачи „подарков” приурочены были буквально ко всем публичным действиям Паисия и Макария — их выходам, службам, посещениям царского двора, причем помимо драгоценных тканей и соболей немалую часть подношений составляли деньги. Так, на 1 января Алексей Михайлович одарил каждого патриарха по 200 рублей, после службы на Сретение Макарий (Паисий болел) тоже получил 200 рублей и т. д. По самому скромному подсчету, так было роздано патриархам по 2 тысячи рублей серебром: огромная сумма для России XVII века, где несколько рублей стоила лошадь! Это, разумеется, был аванс, ибо основная награда ожидала приезжих по выполнению ими необходимых самодержавной власти мероприятий. В соответствии с вкладом каждого при отъезде из России Макарий антиохийский получил „милостыню” в 6 тысяч рублей, а Паисий александрийский мехов на 9 тысяч рублей (по русским расценкам, на восточном рынке все это стоило значительно дороже).

Царю Алексею Михайловичу было очень важно, чтобы приезд патриархов был высоко оценен в России, чтобы Паисий и Макарий имели авторитет, соответствующий возложенной на них миссии. Сразу по прибытии патриархов со свитой в русские пределы государь лично продиктовал (и более того — собственноручно отредактировал!) грамоты русским архиереям Питириму новгородскому, Павлу крутицкому, Илариону рязанскому и чудовскому архимандриту Иоакиму о встрече восточных гостей. Царь не случайно обращался к архиереям, служившим рупором его идей, задавая тон в отношении к Паисию и Макарию.

„Ныне, с Божией помощью, — писал Алексей Михайлович, — Рай отверзся, правила обрелись и те два великих светила радостно и дерзостно являются, прославляются и проповеваются... Здесь воистину спасение миру и союзу духовному укрепление, плевельни-

кам и врагам супротивным рассеяние, а нам всем оживление. Благословен Бог наш, изволивший так!”

Голос царя был услышан и понят русскими священнослужителями. Помимо царицы, царевен и царевичей, бояр, окольных и других знатных лиц двора приезжих спешили одарить русские митрополиты, архиепископы, епископы, настоятели всех крупных монастырей. Золото и серебряная монета, меха, дорогие ткани и драгоценные иконы широким потоком устремлялись в походные кладовые патриархов и членов их свиты. Не желая утомлять читателя подробностями, занимающими в документах не одну сотню страниц, приведу небольшой отрывок из архивных материалов о путешествии патриарха Макария из Москвы в Астрахань (подробно исследованных Н. А. Гиббенетом).

При отъезде из столицы 7 июня 1668 года Макарий из своего кремлевского подворья завернул в Новоспасский монастырь, где получил от архимандрита Иосифа икону, обложенную серебром, 20 ефимков, запас хлеба, рыбы и пития, а от Павла крутицкого икону в серебре и отрез зеленого атласа. На следующий день в Симонове монастыре Макарий получил икону в серебре, 10 рублей и новые продовольственные запасы, а в Даниловом монастыре — икону и хлеб. 9 июня в Коломенском от государя патриарху передали восемь сороков соболей в 400 рублей. Далее, на Угреше, Макарий получил образ в серебре, хлеб и рыбу, в Коломне от епископа — образ в серебре, серебряный золоченый кубок, вишневую камку, зеленый атлас и 5 золотых, от жителей — продукты, а от голутвинского игумена — икону в серебряном окладе и пять ефимков. В Рязани, помимо продуктов от населения, от архиепископа Макарию вручили образ в серебре, четки, серебряный золоченый кубок, атлас лазоревый, камку зеленую, 50 золотых, связку соболей и обитые золоченой кожей кресла... Всего до Астрахани, помимо огромного количества мехов, кубков и штук материи, патриарх полу-

чил (не считая упомянутого) около 150 золотых и более 200 рублей серебром. Поскольку на Востоке очень ценились русские иконы, патриарх специально просил царя о пожаловании ими в дополнение к тому, что ему дарилось!

В России восточные патриархи и их спутники не ограничивались богатейшим жалованьем, хитроумно изобретая другие способы наживы. Так, они продавали щедро отпускавшийся им „корм”. Например, при отъезде из Астрахани к Москве Паисию, Макарию и свите было отпущено церковного вина 10 ведер, вина двойного столько же, а простого — 30 ведер, медов: паточного и вареного — по 20 ведер, расхожего — 75 ведер, пива — 235 ведер, квасу — 100 ведер — с соответствующим количеством лучшей провизии. Между тем патриархи и свита питались как гости в городах и монастырях... В Москве они также получали богатые подношения и могли смело класть в карман ежедневно отпускавшиеся им рубль и 14 денег наличными, реализуя на рынке излишки „корма”, который только из казны составлял 5 кружек меду, 6 кружек пива, ведро квасу и т. п. Соответственно рангу дневной „корм” и пожалования получали все члены свиты патриархов, обязанные, по греческому обычаю, выплачивать некую толику своему начальству.

Помимо духовных лиц патриархов сопровождала большая светская свита — так называемые родственники, „племянники”, слуги. В действительности это были купцы, пользовавшиеся случаем беспошлинно провезти свои товары в Москву, а закупленное в России также беспошлинно вывезти на Восток. Как люди патриархов, они содержались на казенный счет и получали государственный транспорт. Так, когда Паисий и Макарий сошли с волжских судов, чтобы посуху добираться до Москвы, их свите потребовалось 400 подвод. Патриархи получали от купцов немалую мзду и сами участвовали в торговых операциях как пайщики, давали и полу-

чали векселя, а Макарий, как свидетельствуют документы, вел собственную торговлю, причем не только в России, но и в Польше.

Оказавшись в выгоднейшем положении третейских судей в русских церковных делах, александрийский и антиохийский патриархи постарались извлечь из этого максимальную прибыль. Уезжая из Москвы, Паисий испросил у государя жалованную грамоту со сторублевой золотой печатью на право александрийского патриаршего престола каждые три года присылать в Москву за милостыней. Двум египетским православным монастырям жаловалось право присылать за милостыней раз в шесть лет. Паисий попросил, чтобы последний срок был сокращен вдвое и в грамотах была указана точная сумма милостыни. И это было исполнено. Патриарху показалось мало — по пути из России он еще не раз посылал в Москву просьбы о выдаче денег его людям, присылке ему трех пудов слоновой кости и т. п. Царскому правительству приходилось платить.

Московские казначеи облегченно вздохнули, когда Паисий вернулся в Александрию, но, как выяснилось, рано, ибо патриарх попал в тюрьму по обвинению в присвоении чужого добра, судился на заемные деньги, а вексель на 1500 талеров отослал для оплаты в Москву, сопроводив его новой просьбой о деньгах.

Макарий антиохийский тоже писал с дороги царю Алексею Михайловичу и главе Посольского приказа боярину А. С. Матвееву, прося новых пожалований по поводу смерти царицы Марии Ильиничны, обещая за нее помолиться. Патриарх слезно описывал свои убытки в дороге, а вскоре по возвращении послал в Москву за новой милостыней. Царь Алексей Михайлович в ответной грамоте посочувствовал ему, но отметил: „И мы, великий государь наше царское величество, бесчисленное нашего царского величества жалованье роздали нашим... войскам, также и на искупление пленных. Однакож мы, великий государь наше царское величество,



Ближний боярин
Артамон
Сергеевич Матвеев

с христианского нашего государского милосердия послали к вашему блаженству нашей царского величества милостыни триста золотых червонных да соболей на семьсот рублев...”³³

Как видим, протопоп Аввакум не случайно говорил о „палестинских” (как он предпочитал называть вселенских патриархов), словами апостола Павла намекая на то, что они подкуплены. Ветхое рубище Аввакума было гораздо честнее сверкающих одеяний патриархов и их свиты, ибо восточные гости-судьи были

не только купленные, но и ряженные. Ряженные в прямом смысле — приходо-расходные книги Патриаршего приказа, Оружейной и Мастерских палат детально сообщают нам, как изготовлялись для греков все предметы их драгоценного одеяния и прочее, необходимое для придания ведущим участникам большого церковного собора достойного для Москвы вида: кресла, кресты, панагии, посохи, книги (писавшиеся, по условиям игры, по-гречески, одна из которых была в спешке переплетена „вверх ногами”, чего никто так и не заметил), ларцы, обувь и т. п.

Это весьма занимательные документы, разоблачающие комедию суда не хуже, чем улегшийся на пол протопоп Аввакум. Например:

„Октября в 26 день (1666 г.) куплено живописцу Кондрату Иевлеву для золоченья ш(ес)ти маковок деревянных точеных к трем креслам вселенским патриархам по ево, Кондратовой, сказке двести листов золота... да плошка клею”.

„Октября (в) 31 день куплено Ивану Филатову живописцу на большой стол, который делан вселенским патриархам, четырнадцать фунтов сурику кашинскова... да три фунта белил добрых... да два фунта бакану немецкова... Того ж числа куплено живописцу Кондрату (Иевлеву) сто листов сусального золота...”

„Генваря в 1 день (1667 г.) куплено к креслам в Оружейную палату дватцать колодок луженова гвоздья... и отданы Федору Сянушеву. Деланы строить кресла вселенским патриархам в собор. Да к тем же креслам куплено на маковки сто листов сусального золота”.

„Февраля в 10 день куплено Семену нижегородцу десять листов сусального золота, дано три алтына две деньги, — золотить ключик к раковинному ларцу, где лежали греческие книги”.

„Июня в 25 день куплено оклейщику Мишке Колупаеву для оклейки двух лагалищ (футляров. — А. Б.)

деревянных, одново бархатом (к) кресту благословляющему, а другое к деомиде вселенскому Макарию патриарху, фунт клею карлуку, дано шесть алтын четыре деньги... К деомиде святейшему вселенскому патриарху Макарию на лагалище деревянное липовое для оклей (ки) с лица сафьян красной... Того ж числа куплено подельщику Сеньке нижегородцу к лагалищу на замочки святейшим вселенским патриархам к митрам золотым с камнем четверть гривенки меди красной”³⁴.

Протопоп Аввакум достаточно разобрался в обычаях московских властей, чтобы догадаться о сказанном нами и без чтения финансовых документов. Но даже он — и по прямоте характера, и по недостаточной информированности — не мог предположить того, о чем прямо и недвусмысленно заявил его враг Никон: приезжие судьи были ряженными не только в очезримом, внешнем смысле — они были ряженными и внутренне, по существу. Попросту говоря, Паисий александрийский и Макарий антиохийский были не теми, за кого себя выдавали.

Не случайно, представ перед большим церковным собором, Никон прежде всего осведомился: „Есть ли с вами, вселенскими патриархами, совет и руки (то есть подписанное согласие. — А. Б.) святейших патриархов цареградского и иерусалимского о том, что им... ево, Никона, судить? А без их-де совету пред ними ему, Никону, отвечать немочно, потому что-де хиротонисание (поставление) на патриаршеский престол (есть привилегия) тех святейших — цареградского и иерусалимского патриархов”. В чем, в чем, а в каноническом праве Никон был достаточно сведущ!

Паисий александрийский и Макарий антиохийский утверждали, что такое согласие у них есть. В приговоре Никону прямо говорилось, что они прибыли на суд „с волею и советом других двух наших святейших патриархов, братьев и сослужителей”, то есть константино-

польского и иерусалимского. Но требование Никона предъявить свои письменные полномочия Паисий и Макарий выполнить не смогли. Таких полномочий у них не было.

Если протопоп Аввакум выразил свое отрицание авторитета церковного суда тем, что попросту улегся перед ним, патриарх Никон, не тратя времени на словесную перепалку и не надсаживая горло, спокойно заметил: он слышал, что в Москву приехали неистинные патриархи, то есть люди, лишённые своих патриарших престолов; и потребовал, чтобы его судьи поклялись на Евангелии, что это не так.

Реакцию участников собора на этот демарш нетрудно представить. Впечатление от заявления Никона, сделанного в присутствии царя, было усилено ответом Паисия и Макария. Они отказались клясться на Евангелии и сумели пролепетать только, „что они истинные патриархи, и неизверженные, и не отрекались престолов своих. Разве-де турки что без них учинили...”.

Разумеется, светские власти и их подручные на церковном соборе не позволили расследовать вопрос о том, не являются ли двое главных судей самозванцами, не по праву возложившими на себя патриаршие (к тому же казенные) облачения. Но характерно, что у самого Алексея Михайловича давно были сомнения на этот счет. Не случайно сразу по пересечении Паисием и Макарием русской границы он приказал приставленным к ним людям тайно выведать, „держат ли едущие патриархи свои кафедры, и нет ли иных на их место, и от всех вселенских патриархов есть ли какой наказ с ними к великому государю?”

Слова Никона на соборе и жалкие оправдания Паисия и Макария подтвердили худшие предположения царя. Отступать было нельзя: машина была запущена на полный ход, Алексей Михайлович мог превратиться в посмешище (что было особенно неудобно в условиях малоудачной войны с Речью Посполитой, финансового

кризиса, внутренних волнений, религиозного разномыслия). Тут-то светская власть и показала в полной мере свои чудодейственные возможности.

В декабре 1666 года Посольский приказ получил задание посадить Паисия и Макария на патриаршие престолы в Александрии и Антиохии! Нисколько не смущаясь необычностью проблемы, опытные дипломаты приступили к ее решению. По словам Паисия и Макария, виновниками лишения их патриарших санов были турки. Поэтому воздействовать необходимо было на турецкого султана, точнее, на его правительство (ибо, по имевшимся сведениям, султан уже не оказывал определяющего влияния на государственные дела). Решать вопрос надо было быстро и безошибочно, поэтому Посольский приказ разработал комплекс мер, чтобы, не привлекая большого внимания Дивана (совета) Оттоманской Порты, „утрясти” проблему на административном уровне.

В царской грамоте на имя султана приход Паисия и Макария в Россию был представлен как обыденное малозначительное дело: находились-де возле русской границы, захали „ради милостыни”, а царь пишет в основном для того, чтобы впредь облегчить православным такие поездки. Кстати, царь Алексей Михайлович сообщает, „что на места вышеупомянутых патриархов — Паисия и Макария — Бог весть кто поставил иных двух патриархов”, и просит о небольшом одолжении, принятом среди монархов: повелеть упомянутым патриархам снова занять свои кафедры.

Государственные чиновники прекрасно знали, что без „смазки” в Османской империи не сдвинется с места ни один вопрос. Ходатаями должны были стать правители Молдавии и Валахии, с которыми были налажены связи и наместники которых играли видную роль при стамбульском дворе. Инструкция русскому по-

сланнику конкретно указывала, через кого следует действовать „для того, что они у молдавского владетеля ближние люди и всякую мочь имеют”. Ходатаем должен был стать и константинопольский патриарх Парфений, для чего к нему и другим греческим архиереям были составлены особые грамоты с обещанием, что „царское величество имать пожаловать тех, которые достойны суть его царской милости”. Все они через свои каналы должны были выйти на османских чиновников, а те за полученные суммы... Судьба православных иерархов, занимавших вместо Паисия и Макария александрийский и антиохийский престолы, московское правительство не интересовала.

В Посольском приказе все уже было готово к действию, когда заграничная агентура внесла существенные коррективы в разработанный план. Как выяснилось, турки не имели никакого отношения к лишению Паисия и Макария престолов. Отставку двум патриархам дал собор восточных архиереев во главе с константинопольским патриархом Парфением, дал по праву и именно за то, что Паисий и Макарий бросили свои епархии (в чем они обвиняли Никона) и отправились в Россию судить патриарха, много сделавшего для сближения русской и греческой церквей. Осужденные и низвергнутые приехали судить и низвергать! Положение Алексея Михайловича усложнилось, но правительство недолго пребывало в растерянности.

Если нельзя было с помощью православных уговорить мусульман, то почему бы не договориться с турками, чтобы они приказали своим подданным-христианам исполнить волю московского царя?! 30 июня 1667 года Алексей Михайлович подмахнул указ, а 12 июля посольство Афанасия Нестерова и дьяка Ивана Вахрамеева выехало из Москвы в Стамбул с государевыми грамотами и точными инструкциями.

На имя султана царь писал, что патриархи приехали в Россию по его, государя, личному приглашению, что,

будучи в Москве, они всячески старались укрепить между мусульманским и христианским владыками самую искреннюю братскую дружбу и любовь. Именно ради этой „братской дружбы и любви” царь просит султана вернуть Паисию и Макарию их престолы. В аналогичной грамоте великому визирю Мехмет-паше просьба царя Алексея Михайловича подкреплялась многозначительным обещанием: „А впредь наше государское жалованье (так! — А. Б.) учнем держати по твоей к нам, великому государю, службе; и служба твоя и раденье у нас, великого государя, в забвеньи не будет”. Просьбу поспособствовать решению дела послал своему старому знакомому молдавскому воеводе Ионе Ильяшу тогдашний глава Посольского приказа боярин А. Л. Ордин-Нащокин. В грамотах к греческим архиереям на этот раз не видели необходимости.

Константинопольский патриарх Парфений, сместивший Паисия и Макария, поставил на александрийский патриарший престол родосского митрополита Иоакима, но заместить вакантный антиохийский престол уже не успел. Греческий переводчик при турецком правительстве Панагиот (по совместительству — московский агент) быстро нашел ему укорот. По указу султана от 11 ноября 1667 года, объявленному стамбульскому православному духовенству мултянским правителем князем Радулом, Парфений отправлялся в ссылку, а православным властям повелевалось избрать нового патриарха. Указы мусульманских властей требовали быстрого исполнения — и 13 ноября константинопольским патриархом был уже гераклийский митрополит Мефодий.

22 декабря русские послы получили приглашение приехать к султанскому двору в Адрианополь. 14 января они удостоились аудиенции у султана, а 19 января состоялась их обстоятельная беседа по существу дела с Каймаканом-пашой (замещавшим отсутствовавшего великого визиря) и великим муфтием (главой мусуль-

манского духовенства). Любопытно, что великий муфтий выразил недоумение, как могли „христианского закона духовного чина начальные люди-патриархи” самовольно оставить свою паству и свои обязанности, чтобы ехать за тридевять земель бог знает зачем?! Однако в целом переговоры шли успешно, нужные чиновники получили свое, с политической точки зрения вопрос для Оттоманской Порты был слишком мелок, чтобы не разрешить его „для дружбы царя”. Словом, весной 1668 года послы отправились домой с целым ворохом султанских фирманов.

Паисий и Макарий указами турецких властей восстанавливались на своих местах. Особая грамота наместнику Египта Ибрагим-паше приказывала ограбить и сослать александрийского патриарха Иоакима и посадить на его место Паисия. По приказу султана константинопольский патриарх Мефодий также написал грамоту о смещении Иоакима и утверждении на патриаршем престоле Паисия. Разумеется, обо всем этом Оттоманская Порта официально извещала московского царя. Алексей Михайлович мог, казалось бы, успокоиться, но опыт предыдущих затруднений заставлял его вновь и вновь подстраховывать достигнутый успех.

По православному Востоку был выпущен еще один залп грамот из Москвы. Царь дважды писал новому константинопольскому патриарху Мефодию, желая, чтобы Паисий и Макарий благополучно вернулись на свои престолы и, таким образом, тот факт, что на соборе в Москве председательствовали экс-патриархи, можно было представить как недоразумение местного (восточного) значения. Грамоту Мефодию направил новый патриарх Иоасаф московский и всея Руси (вернее, она была написана от его имени). Мефодию и иерусалимскому патриарху Нектарию написали перед отъездом из Москвы также Паисий и Макарий. Все названные сочинения были приправлены изрядной дозой более или менее замаскированной лжи. Как бы то ни было,



**Мефодий,
патриарх
константинопольский**

инцидент был исчерпан благополучно для московских властей, хотя одобрения своим действиям от константинопольской и иерусалимской патриархий на московском соборе и тем более на Востоке они, конечно, не дождались.

Любопытно, что в еще более сложном положении русское правительство оказалось из-за Паисия Лигарида — признанного консультанта по церковным вопросам. Если Паисий и Макарий были попросту жертвами своей любви к золотому тельцу и интриг среди восточного православного духовенства, то их ближайший советник и помощник на большом церковном соборе

Паисий Лигарид оказался самым настоящим и притом отъявленным авантюристом.

Обвинение Лигарида в неправославии, выдвинутое патриархом Никоном, правительству удалось отвести. На соборе 1666—1667 годов митрополит сарский и подонский Павел представил созданное под его руководством „сыскное дело о газском митрополите Паисии, что он православен”. „А хотя б де он, газский митрополит, и не еретик был, — не сдавался Никон, — и ему-де на Москве долго быть не для чего, я-де его за митрополита не ставлю, у него-де и ставленные грамоты на свидетельство нет. И мужик-де наложит на себя мантию, и он-де таков же митрополит!”

Обвинение Паисия Лигарида как самозванца не могло не обеспокоить московское правительство, тем более что оно вынуждено было признать правоту Никона. Не следует думать, что прежние „шалости” Лигарида ускользнули из памяти царя Алексея Михайловича. Особое впечатление произвел страх, который Лигарид не смог скрыть перед приездом в Москву двух патриархов. Не случайно царь велел заблаговременно, еще при отправлении патриархов из Астрахани в столицу, вызнать у них: „Нет ли патриаршего гнева какого на газского митрополита Паисия?” При этом царь заранее просил патриархов не спешить с проявлением этого гнева.

В соответствии с царской волей Макарий антиохийский заявил на соборе, что Лигарид является православным: „Газский митрополит во дьяконы и в попы ставлен в Иерусалиме, а не в Риме — про то-де он, антиохийский патриарх, ведает подлинно”. Гораздо дальше пошел в защите Лигарида царь Алексей Михайлович, объявивший участникам большого церковного собора, что газский митрополит „живет истинно... и грамота у него поставленная есть и свидетельствована, а (об) отлучении его от иерусалимского патриарха грамоты не бывало”. Как видим, Алексей Михайлович

покрыл Лигарида, но в его словах прозвучал новый мотив — об отлучении первого царского и патриаршего советника от церкви. Защищая Лигарида, царь невольно выдал то, о чем было известно лишь узкому кругу членов правительства и сотрудников Посольского приказа.

Как бы то ни было, заступничества царя и восточных патриархов оказалось достаточно, чтобы Лигарид воспрянул духом. На большом церковном соборе он держался хозяином, выступал самоуверенно, как признанный учитель неразумных россиян, с апломбом перебивал и поправлял других, в том числе самих патриархов. Истинное лицо этого самозванца вскрылось только по окончании собора, когда и Никон, и старообрядцы были осуждены и репрессированы, во многом благодаря усилиям Лигарида.

29 июня 1669 года в Москву пришла грамота иерусалимского патриарха Нектария, в ведении которого находилась газская митрополия. Паисий Лигарид, уведомлял Нектарий, бросил свою епархию 14 лет назад и отправился в волошскую землю. Он был не только лишен митрополии, но отлучен от церкви и проклят еще предшественником Нектария патриархом Паисием иерусалимским. Между прочим, специальной грамотой из Иерусалима об этом был извещен и патриарх Паисий александрийский, скрывший этот факт от большого церковного собора в Москве (и не случайно, ибо подружился с Лигаридом еще в Валахии, где они промыслили на пару).

Решив отправиться на Русь, Лигарид по пути, на Украине, подделал свои документы (на которые, как мы помним, ссылался Алексей Михайлович). Факт подделки был установлен точно, поскольку ни Паисий, ни Нектарий проклятому архиерею их не выдавали, а человек, осуществивший подделку (архимандрит Леонтий), находится ныне в распоряжении Нектария. Втершись в доверие московского двора, Лигарид получен-

ные якобы для своей епархии деньги отсылал к себе домой на остров Хиос. Он попросту спекулировал на желаниии русских властей помочь притесняемым мусульманами единоверцам!

Итак, писал Нектарий, „даем подлинную ведомость, что он отнюдь не митрополит, не архиерей, не учитель, не владыка, не пастырь, потому что он столько лет отстал (от православного архиерейского служения. — А. Б.), и по правилам святых отец есть он подлинно оставлен и всякого архиерейского чина лишен, только именуется Паисий”. Православной церковью он проклят, зато „латыни свидетельствуют и называют его своим и папа римский берет от него на всякий год по двести ефимков”. То есть московские деньги шли отчасти анафемствованному изгою, отчасти папе римскому, которого в Москве называли чуть ли не первым врагом православия! Десятой доли вины Лигарида было бы достаточно, чтобы простой смертный сгнил в заточении. Но что не позволено человеку — позволено верному царскому прихвостню, и богомольный „тишайший” царь Алексей Михайлович не только не разгневался (думаю, он знал подноготную Лигарида заранее), но устремился на спасение проклятого и перешедшего в латинство самозванца.

Поначалу все шло удачно. 13 июля 1669 года царь писал патриарху Нектарию „о митрополите газском Паисии, которого мы имеем в царском нашем дворе как великого учителя и переводчика нашего, — да возымеет первую честь и славу как и было, поскольку некоторые, радуясь злу, от зависти злословили его пред святительством вашим, и бесчестили, и извергли”. Отмечая большие заслуги Паисия на церковном соборе в Москве, царь лично просил патриарха, чтобы Лигарид на Востоке „был принят с прежней честью... И так молим, да приемется прошение наше, ведая, что (бы) ни учинилось — и то учинилось от зависти”. Московский патриарх Иоасаф в своей грамоте также просил про-

стить Лигарида и выслать на Русь „писанием своим архипастырским прощение и благословение”, ибо премногие труды его (Лигарида) премудрые многую пользу церкви великороссийской принесли”. В сочтении с царскими и патриаршими пожертвованиями иерусалимской церкви эти грамоты должны были оказать свое действие.

Успеху предприятия по восстановлению Паисия в Газе способствовало добровольное оставление Нектарием своего престола. С 23 января 1669 года иерусалимским патриархом стал Досифей (с которым мы не раз столкнемся в следующей главе), ревностный противник католичества, сильно нуждающийся в русской помощи. Это сочетание хорошо отразилось в его ответном послании в Москву.

„Прочитали о газском митрополите, чтоб мы его простили, — писал Досифей, — и что будто не имеет вины на себе. А он, Лигарид, имеет многие великие вины и согрешения, которые, написав, послал (я) было к тебе, великому государю, свидетельства ради; только стыд послать нас не допустил, отчего и возвратили (Досифей действительно старался не допускать до России вести о преступлениях в недрах греческой церкви, боясь окончательного падения ее авторитета. — А. Б.).

Только одно говорим, — продолжал патриарх, — что кир Нектарий патриарх не таковский, чтобы писать или говорить ложно, но такой в правиле, что ныне иного такого архиерея разумного и богобоязненного не будет!”

Далее Досифей осуждал „неподобные, хульные, непотребные и превознесенные слова” Паисия Лигарида о патриархе Нектарии и завершал свою грамоту... обещанием полного прощения Лигарида, а также восстановления его в достоинстве газского митрополита.

Скрытый в столь странном построении письма намек был мигом расшифрован в Москве, и в Иерусалим

поехали связки соболей на 1300 рублей по московской цене. Отвечая на намек намеком, Посольский приказ сообщал Досифею, что дары посланы „по челобитью газского митрополита Паисия”. Царь просил их принять, „имея добрую надежду иное и бóльшее воспрять, когда сбудутся наши желания о газском митрополите... и на прежнее будет возвращен достоинство, и разрешение совершенное получит”.

В ответ из Иерусалима 24 января 1670 года пришла разрешительная грамота патриарха Досифея, освобождавшая Паисия Лигарида от церковного отлучения и восстанавливающая его в архиерейском достоинстве. Выполнив желание царя, Досифей, однако, самому Лигариду прислал письменный выговор, сообщая, что, если бы не ходатайство государя, не видал бы тот святительского сана как своих ушей. С удивительной откровенностью Досифей признает, что простил и восстановил в сане того, „кто работает на папегей (католиков. — А. Б.) хийских и оставил свою паству на 15 лет без пастыря”. „Ты не столько велик, — пишет Досифей Лигариду, — сколько глуп, безчеловечен и безстыден, — только место, где пребываешь, есть двор царский” — и этим объясняется снисхождение патриарха.

Казалось бы, Алексей Михайлович решил и этот скользкий вопрос, но не прошло и двух месяцев после получения в Москве разрешительной грамоты Досифея, как в Иерусалиме вскрылись новые преступления Лигарида и он снова был отлучен от церкви — на этот раз окончательно. Даже царь устыдился вторично просить за изгоя, а попытка воздействовать на Досифея через валашского воеводу Иоанна Дуку оказалась неудачной. Еще менее уместно было держать запрещенного архиерея в Москве, напоминая всем, что организатором осуждения Никона и староверов был авантюрист. 4 мая 1672 года Паисия отправили из Москвы в Палестину, снабдив богатым жалованьем и двенадцатью подводами для вывоза его имущества.

Лигарид понимал, что на Востоке ему делать нечего. Он выехал из Москвы только в феврале 1673 года (причем получил еще одно пожалование на отъезд, в полонину прежнего), но обосновался в Киеве, не желая покидать русские пределы. Царским указом ему было это разрешено, но письма Паисия за границу не выпускались, а самого его велено было стеречь „всякими мерами накрепко”. Сообщник в темных делах пугал царя, к тому же из Стамбула переводчик-агент Панагиот предупреждал государя, „чтоб не велел газского митрополита с Москвы отпускать, чтоб не учинил в Цареграде и в иных местах какого дела с простодушия своего”.

Живя в Киеве, отставной интриган находил утешение в многочисленных доносах „наверх” на украинское духовенство и местную администрацию, в том числе просил учинить розыск, куда киевский митрополит обрацает свои доходы. Он настолько надоел властям, что 21 августа 1675 года в Киев был послан строгий указ о высылке Лигарида в столицу, хотя бы и против его воли. В Москве Паисий содержался под арестом, но 1 сентября 1676 года добился-таки разрешения уехать в Палестину. На этот раз жалования на отъезд он не получил. Впрочем, и в Палестину Лигарид не уехал. 24 августа 1678 года старый авантюрист скончался в Киеве, надолго унеся с собой тайны большого церковного собора в Москве, организация которого, во всей ее неприглядности, выплыла на свет только после открытия для ученых государственных архивов³⁵.

* * *

Но вернемся к протопопу Аввакуму, улегшемуся, как мы теперь понимаем, не перед высшими церковными иерархами, а перед простыми слугами царского престола. Этот жест столь понравился Аввакуму, что позже, давая советы своим единомышленникам-старо-

верам, как избавляться от непрошенных гостей — никоианских священнослужителей (которых он тоже считал продажными), протопоп писал: „Он, сидя, исповедывает, а ты ляг перед ним, да и ноги вверх подыми, да и слину попусти, так он и сам от тебя побежит: чорная-де немочь ударила. Простите-су Бога ради, согрешил я перед вами. А што? Уже горе меня взяло от них, от блядиных детей. Плюйте на них, на собак!”³⁶

Действительно, Иларион, Павел, Иоаким — эти обманутые государем в их надеждах слуги государя, Паисий, Макарий, Лигарид — иностранные наемники, мало отличавшиеся от авантюристов, стремившихся попасть в русскую армию, молчаливое большинство церковного собора, молча устрашающееся царского гнева и готовое послушно голосовать за что угодно, — все они вместе составляли малопривлекательную компанию, которую не могли скрасить все драгоценности церковной и государственной казны.

Но, на мой взгляд, у нас недостаточно оснований, чтобы говорить о полной управляемости членов церковного собора. Мы видели, что не все русские иерархи и не во всех вопросах были просто холопами самодержавной власти. Что касается восточных архиереев, настораживает поведение самого царя Алексея Михайловича, явно неуверенного в их полном подчинении его воле. Хотя, например, Паисий александрийский сразу по приезде в Россию выразил царю изумление и восхищение щедростью, с которой царский посланник Мелетий расходовал на него и его свиту денежные средства в дороге („сотворил ради нас бесчисленную проторь”), и обещал в благодарность за это свою верную службу „боговенчанному вашему царству”, царь отнюдь не был спокоен.

Были приняты экстраординарные меры, чтобы восточные патриархи до личных переговоров с царем не имели контактов в России ни с кем, кроме доверенных людей самодержца. Они даже не должны были знать,

зачем приглашены в Россию и ради чего, собственно, на них израсходованы средства.

Архиепископу Иосифу астраханскому — видному участнику собора 1660 года против Никона — царь послал инструкцию насчет общения с патриархами. „И будет они, патриархи, учнут тебя спрашивать, для каких дел к Москве им быть велено? — гласил наказ. — И ты б им говорил, что Астрахань от Москвы удалена и для каких дел указано им быть, про то ты не ведаешь. А чаешь-де ты того, что велено им быть для того: как бывший патриарх Никон с патриаршества сошел и для иных великих церковных дел. А будет что и иное небольшое доведется с ними поговорить, и ты б говорил, будто от кого что слышал, а не собою”. Вообще, указывает царь, Иосифу при приеме патриархов следует „во всем быти опасну и бережну” (как будто он принимает опасных врагов!).

Архиепископ должен был проследить, чтобы сопровождающие патриархов мирские и духовные лица с патриархами и их свитой ни о чем не говорили „и были во всем опасны”! Однако и этого царю было мало: приставам из стрелецких командиров и подьячему, посланным, по обычаю, для сопровождения гостей в Москву, был дан такой наказ, как будто они везут бомбу. Они должны были „держатъ о патриархах всякое бережение и учтивость” и в то же время „смотреть и беречь накрепко, чтоб к патриархам ни от кого ни с какими письмами никто не подъезжал, также бы и от них, патриархов, ни к кому никаких писем в посылке не было”.

Дьякон Мелетий должен был с помощью агентуры, завербованной в свите патриархов, шпионить за Паисием и Макарием, „смотреть и беречь накрепко” общеизвестную „тайну” о готовящемся суде над Никоном и староверами. Царская инструкция рекомендовала Мелетию подкупить племянника Макария, архидьякона Павла, чтобы он следил за перепиской дяди и при необ-

ходимости перехватывал письма, а также попытаться подкупить племянника патриарха Паисия. Жалованье главным шпионом полагалось большее, чем лучшим военным разведчикам, — до 30 золотых!

К тому времени, когда патриархи доехали почти до Владимира, царь Алексей Михайлович еще более обеспокоился. Видимо, агентура, приставленная к Никону, известила его о сомнениях русского патриарха относительно полномочий его предполагаемых судей. К Паисию и Макарию был послан стрелецкий полковник А. С. Матвеев (доверенное лицо царя, будущий глава правительства). Он должен был расследовать, являются ли патриархи патриархами и имеют ли они грамоты от патриархов константинопольского и иерусалимского. „А проводывать про то в разговорах неявным обычаем”.

Матвеев также должен был негласно перетрясти свиту патриархов с целью выявления людей, подосланных от Никона и некоторых других лиц, перечисленных в царской инструкции. Следовало „остерегать накрепко с большим опасением”, исключить любые контакты Паисия и Макария с внешним миром. Даже при патриаршей службе в попутных соборах Матвееву полагалось допускать к благословению воевод, приказных и иных чинов знатных людей только в своем присутствии. О всем замеченном и вызнанном следовало немедленно сообщать лично государю.

Наблюдение за патриархами оказалось нелишним, хотя и не в том аспекте, который предполагал царь Алексей Михайлович. Паисий и Макарий с самого начала повели себя вольно, настолько вольно, что приняли в свою свиту ссыльных.

„Нам, великому государю, — писал по этому поводу Алексей Михайлович, — ведомо учинилось, что вселенские патриархи везут с собою из Астрахани к Москве Печатного двора наборщика Ивана Лаврентьева, которого по нашему... указу велено сослать из Астраха-

ни на Терек за воровство, что он... на Печатном дворе завел латинское воровское согласие и римские многие соблазны.

Да они ж, — продолжал рассерженный государь, — везут с собою к Москве гостя Васильева человека Шорина Ивашку Туркина, который писал к воровским казакам воровские грамотки, — и по тем его воровским Ивашковым грамоткам те казаки наш, великого государя, насад (большое грузовое судно. — А. Б.) и торговых многих людей суды (пограбили) и многих людей побили до смерти. И тебе б (Мелетию. — А. Б.) им, вселенским патриархам, говорить о том, чтоб они с нами, великим государем, *не ссорились*, тех воров, Ивашку Лаврентьева и Ивашку Туркина, с собою к Москве не возили”.

Патриархи не только не выполнили пожелание государя, но кроме И. Лаврентьева и И. Туркина привезли с собой в Москву еще 20 человек, не числившихся в свите. Не считались Паисий и Макарий и с церковным правилом, запрещающим епископу действовать архиерейски в чужой епархии без согласия и разрешения местного архиерея. По пути в столицу они творили суд и расправу над русским духовенством, экзаменовали священников, лишали их сана и даже сажали в тюрьму. Царю же в Москву они послали требование, чтобы к их прибытию были приготовлены „многие великие дела” по части исправления русской церкви, а также „изготовлена судебная палата”.

Эти требования и вообще поведение патриархов крайне обеспокоили московское правительство. Экстраординарные меры ограждения Паисия и Макария от контактов, окружение их шпионами по дороге в Москву и особенно в столице, постоянное беспокойство царя относительно тех или иных шагов и заявлений гостей свидетельствуют, что царь Алексей Михайлович отнюдь не был уверен, что держит главных участников собора в своих руках. Всесильная светская власть трепетала

перед авторитетом духовных лиц: осуществляя описанные выше малопривлекательные с моральной точки зрения мероприятия, российский самодержец и его слуги оставались глубоко, даже фанатично верующими людьми.

События 60-х годов XVII столетия невозможно понять, не учитывая этот феномен общественного сознания: сочетание непосредственного, часто грубого прагматизма с мышлением и чувствованием в религиозных рамках, со страхом перед Страшным судом и Высшим судьей. Над бездной смерти люди лихорадочно искали возможности за что-то зацепиться, чем-то защитить себя — и в духе своего времени хватались за ритуалы, правила поведения, букву учения, за что-то конкретное и осязаемое. Того, кто знал жизнь больше, она с точки зрения вечности больше и страшила, пугала возможностью гибельной для души ошибки.

Не случайно царь Алексей Михайлович, подготовив заранее, обсудив с восточными патриархами и русскими архиереями комедию суда над Никоном, встал, когда низвергаемый патриарх вошел в зал соборных заседаний. Вопрос о том, следует ли вставать при появлении Никона, специально обсуждался собором, и все, во главе с царем, решили не вставать. Но самодержец не смог удержаться, и за ним встали все остальные! Далее, Никон отказался садиться, ибо, как он заявил, не увидел подобающего места. Тогда Алексей Михайлович, к ужасу организаторов церемонии, сошел с трона, спустился к Никону и встал у стола, над которым возвышались патриархи Паисий и Макарий. Царь сделал все, чтобы осудить Никона, но не почитать его не мог. Самодержец купил содействие восточных патриархов — но стоял перед ними, как перед авторитетами, обязанными рассудить спор русского самодержца с русским патриархом.

Характерно, что, добившись низложения Никона, царь до конца своих дней проявлял к нему почтение и всячески старался улучшить его положение в ссылке. Умирая, Алексей Михайлович продиктовал в духовном завещании слова, перечеркивавшие его победу над Никоню. Он просил „прощения и разрешения” „от отца моего духовного великого господина святейшего Никона иерарха и блаженного пастыря, аще и не есть на престоле сем”! Сын его — царь Федор — не жалел средств, чтобы выполнить предсмертную просьбу отца и получить Никону у восточных патриархов разрешительные грамоты, то есть уничтожить приговор собора 1666—1667 годов. Царское посольство везло четырем патриархам богатую милостьню „и сверх того, — за разрешительные грамоты, — ...по двести по пятидесяти рублей патриарху... И если крепко и упорно станут и не похотят того учинить — и по самой конечной мере дать по пятисот рублей патриарху. А буде и по тому... не учинят, и по самой нужде дать по тысяче рублей человеку, только б учинили и в грамотах своих написали имянно!” Благодаря искусству русского посла Прокофия Возницына Никону был официально возвращен патриарший сан сразу пятью восточными патриархами (антиохийских оказалось двое, и посол взял грамоты обоих). При этом, как гордо заметил дипломат, „учинил он то неусыпным своим промыслом и радением, без великих дач, а велено было от того дать и многую дачу” (смета расходов Возницына опубликована Н. Ф. Каптеревым)³⁷.

Трепетал царь и перед Аввакумом, осужденным следом за Никоню. По свидетельству Аввакума, уже после вынесения приговора к нему, закованному в кандалы и ждущему ссылки в Заполярье, не раз приходили доверенные царские слуги, передавая слова Алексея Михайловича: „Протопоп, ведаю-де я твое чистое, и непорочное, и богоподражательное житие, прошу-де твоего благословения и с царицею и с чады — помолися

о нас!” — кланяючись, посланник говорит. И я по нем, — писал Аввакум в „Житии”, — всегда плачу: жаль мне сильно ево. И паки он же: „Пожалуй-де послушай меня: соединишь со вселенскими теми хотя небольшим чем!” И я говорю: „Аще и умрети ми Бог изволит, с отступниками не соединюся! Ты, реку, мой царь, — а им до тебя какое дело? Своево, реку, царя потеряли, да и тебя проглотить сюды приволоклися! Я, реку, не сведу рук с высоты небесныя, дондеже Бог тебя отдаст мне”. И много тех присылок было. Кое о чем говорено. Последнее слово (царь) рек: „Где-де ты не будешь, не забывай нас в молитвах своих!” Я и ныне, грешной, елико могу, о нем Бога молю³⁸.

Однако судьба Аввакума оказалась много трагичнее судьбы Никона. Ему сохранили жизнь — но он находился в жестоком заточении, его не убивали — но протопоп становился свидетелем все новых и новых зверских казней своих родных, близких, друзей, единомышленников. Аввакум, в отличие от Никона, находил возможности и в нечеловеческих условиях писать, защищая свои взгляды, свое мировоззрение, — и видел, как оно планомерно и неумолимо искореняется в России силой той самой самодержавной власти, которая была, в его понимании, гарантом благоверия и душевного спасения...

Поворотным пунктом в трагической судьбе Аввакума и его сторонников, одним из важнейших, если не определяющих, событий в трагедии русской православной церкви и русского народа стало решение большого церковного собора 1666—1667 годов о старом обряде и старообрядцах. На вопрос: что происходит в поместной церкви — внутренние споры, еретическое движение или раскол? — был дан четкий и однозначный ответ: церковь, сообщество верующих, расколота, не существует более как духовное и организационное единство, как целостный организм.

Поскольку это решение не только перечеркивало, но и в корне противоречило решению собора русских церковных иерархов 1666 года, его инициаторами и вдохновителями принято считать восточных патриархов (причем одни авторы пишут об этом с одобрением, другие — с осуждением). Приехали иноземцы — и просветили; приехали иноземцы — и все испортили. Схема достаточно знакомая, но не слишком ли простая для объяснения сложного исторического процесса, в который были вовлечены огромные силы Российского государства? Как бы то ни было, мы должны рассмотреть этот вопрос, опираясь на конкретные факты.

Прослеживаемый в источниках ход событий свидетельствует, что восточные патриархи и вообще приезжие греки сыграли в раскольническом решении собора активную роль. Маловероятно, чтобы Паисий александрийский и Макарий антиохийский до приезда в Россию серьезно разбирались в русском религиозном разномыслии. Тем важнее были данные им в Москве консультации, первая из которых была получена от Паисия Лигарида, специально приставленного к патриархам царем Алексеем Михайловичем для ознакомления их с состоянием русских церковных дел.

Протоколов совещаний патриархов с Паисием, естественно, не сохранилось, но мы имеем свидетельство самого Лигарида, описавшего эти совещания. Не отличаясь скромностью, Паисий Лигарид основное внимание обращает именно на то, что он говорил патриархам, и его речь была столь своеобразна, что вряд ли может быть позднейшим литературным домыслом. Смуту в русской церкви Лигарид характеризует как „какой-то всенародный избыток соков, причинивший неисцелимую болезнь православной русской церкви...”.

Суть этой „неисцелимой болезни”, бациллами которой Лигарид считает Аввакума, Лазаря, Епифания и других видных старообрядцев, состояла в „извращении древних нравов церковных и обычаев отцовских”, в

„несказанных нововведениях”, выливающих в неправовере и ересь. Итак, во-первых, старообрядцы, по Лигариду, не защищали старые обряды, а выдумывали нечто новое. Во-вторых, их главный удар был направлен против греческого авторитета в восточной православной церкви. Аввакум и иные „многоглаголющие мужи... по-видимому, обличали Никона, а по существу — ромеев (греков), как бы уклонившихся от православия, от переданной отцами веры, от совести”. Именно „против нас”, говорил Лигарид патриархам Паисию и Макарию, староверы написали „бездну лжи”.

Подготовленные таким образом патриархи получили от своего переводчика Дионисия, официально представленного московским правительством, более подробное сочинение о сущности русского старообрядчества³⁹. „Сия прелесть”, утверждал Дионисий, пошла в России с тех пор, как ее митрополиты перестали ходить для поставления на свой престол в Константинополь и, таким образом, не могли достаточно учиться у греков. Действием Дьявола и католиков русские, по своему неразумию и темноте, впали во многие ереси, примерами которых автор считает отвергнутые Никоном старые обряды. Дионисий многословно заверял патриархов, что все особенности русского церковного обряда создавались исключительно на русской почве благодаря невежеству русского духовенства, склонного к еретичеству, и, следовательно, имеют неправославный характер.

Влияние сочинения Дионисия на патриархов и других членов большого собора безусловно. Оно не только сказалось на духе соборных решений о старообрядцах, но многие статьи этих решений представляют собой цитаты из Дионисия. Большой собор объявил весь старый обряд (то есть все, чего касались изменения Никона) неправославным и безусловно запретил его употребление. Собор утверждал, что все книги, все частные и коллективные постановления, все решения русских собо-

ров, подтверждающие благочестивость старого обряда, есть „только суемудрие, мятеж и раскол”.

Отсюда следовало безусловное запрещение употреблять старый обряд или как-либо защищать его всем без исключения. „Аще же кто не послушает повелеваемых от нас и не покорится святой восточной церкви и сему священному собору, — гласил приговор, — или начнет прекословить и противиться нам, — и мы такого противника данной нам властью... аще ли будет от священного чина — извергаем и обнажаем его всякого священнодействия и проклятию предаем; аще же от мирского чина — отлучаем и чужда сотворяем... и проклятию и анафеме предаем как еретика и непокорника, и от православного всесочленения и стада и от церкви Божия отсекаем...”

Этого показалось мало. Собор специально рассмотрел вопрос, достаточно ли церковного наказания „еретикам и раскольникам”, самим же собором отсеченным от русской православной церкви? Нет, ответили духовные отцы, „подобает их наказать и градским наказанием” „и казнить их разным томлением и различными муками, и так кому языки отрезать, кому руки отсекают, кому уши и носы, и позорить их на торгу, и потом ссылатъ в заточение до кончины их”.

„Так, — заключает профессор Н. Ф. Каптерев, — двумя восточными патриархами и другими бывшими тогда в Москве греческими иерархами соборно был утвержден в русской церкви раскол, — единая дотоле русская церковь, благодаря соборному провозглашению старого русского обряда еретическим и наложению анафемы на всех державшихся старого обряда, раскололась теперь на две враждебные одна другой части, причем вражда между ними продолжается и доселе” (писалось в начале XX века)⁴⁰.

Огромные массы населения страны, в особенности сельского, составлявшего подавляющее большинство, малоосведомленные о московских нововведениях,

формально оказались отделенными от официальной церкви лишь потому, что следовали традициям. Церковные проклятия и государственное насилие, шедшие, согласно решению большого церковного собора, рука об руку, устрашали многих, заставляя спешно усваивать новые правила. Но повсеместно, и чем дальше, тем больше, принуждение рождало сопротивление местных священнослужителей и прихожан. Придворная история Никона и Аввакума в условиях массового принуждения имела многочисленные повторения. Стихийный протест против условий жизни в „богоспасаемом” государстве находил выход в защите традиционной русской старины, веры отцов, укреплялся народными поверьями о счастливой „золотой старине”, блаженных докрепостнических временах Ясного Солнца Владимира и русских богатырей.

Ярость церковной и светской власти, огнем и мечом насаждавшей „благочестие” в крестовом походе за новую веру, лишь консолидировала отторгнутую часть русской православной церкви. Сочинения Аввакума и его соратников, уже ко времени большого собора создавших целую полемическую литературу с разработанной аргументацией позиции староверов, в условиях ширококомасштабного насилия приобрели огромный резонанс, стали мощным средством агитации среди униженных и оскорбленных. Каждый новый мученик, вместо того чтобы устрашать народ, вызывал последователей и подражателей из его среды. Каждый удар властей укреплял сопротивление. Чем ниже опускались власти в своей бессмысленной жестокости, тем выше становился дух новых страдальцев за веру, которые в условиях непрекращающихся преследований возрождали и создавали новые культурные традиции, обогатили Россию великолепной литературой и замечательными произведениями искусства. Сверхмощному карательному аппарату староверы противопоставили уникальные организационные структуры, перед которыми столетиями

оставалось бессильно военно-полицейское государство и которые неизменно проявлялись в движениях протеста, начиная с Соловецкого восстания, войны Степана Разина и т. д.

Раскол -- слишком серьезное явление в русской истории, чтобы принять на веру версию о его случайном возникновении благодаря своекорыстным действиям небольшой группы иноземцев. Роль греков и в реформах Никона, и в решениях собора 1666—1667 годов неоспорима, но ее следовало бы уточнить, четче очертить границы их влияния на события. Мы видели, что, будучи купленными ряжеными и прикрываемыми царем Алексеем Михайловичем самозванцами, греки были способны на несанкционированные и даже идущие против желаний государя действия. Собственная воля восточных патриархов получила явное отражение в решениях большого церковного собора, особенно относительно оценки знаменитого и высокочтимого русской церковью Стоглава.

Стоглавый собор 1551 года с участием церковных и светских властей под председательством царя Ивана Грозного и митрополита Макария отражал в своих постановлениях мысль о государственной и религиозной независимости, зрелости России, не нуждавшейся более в опеке и советах кого бы то ни было, в том числе греков. Он утверждал, в частности, идею первенства России в делах благочестия после падения Константинополя и утраты греками истинного обряда под владычеством мусульман. Именно самостоятельность русского собора, обошедшегося без „свидетельства” вселенских патриархов, возмущала греков, и именно это основание было указано в приговоре большого собора, осудившего Стоглав!

Достаточно прочесть соответствующую статью приговора, чтобы явственно увидеть в ней руку прищель-

цев с Востока. „А собор, — гласит документ, — иже был при... царе и великом князе Иоанне Васильевиче... от Макария, митрополита московского, — и что писали... — писано неразумно, простою и невежеством, в книге Стоглаве, и клятву, которую без разсуждения и неправедно положили, мы, православные патриархи, кир Паисий, папа и патриарх александрийский и судиа вселенский, и кир Макарий, патриарх антиохийский и всего Востока, и кир Иоасаф, патриарх московский и всея России, и весь освященный собор — ту неправедную и безрассудную клятву Макариеву и того собора разрешаем и разрушаем, и тот собор не в собор, и клятву не в клятву, но ни во что вменяем, яко же и не бысть: потому что тот Макарий митрополит и иже с ним мудрствовали невежеством своим безрассудно, как восхотели, сами собою, не согласясь с греческими и древними пергаменными славянскими книгами, ниже со вселенскими святейшими патриархами о том советовались и ниже совопросились с ними”.

Как бы далеко ни зашли русские иерархи в отрицании старого обряда, они не могли столь резко отозваться о своих предшественниках и высокочтимом митрополите Макарии. Не мог и царь Алексей Михайлович пожелать оскорбить память Ивана Грозного, превозносившегося Романовыми в качестве образцового самодержца. Не случайно, когда Никон лишь упомянул в письме о митрополите Филиппе, „его же мучал царь Иван неправедно”, — Алексей Михайлович публично взорвался: „для чего он, Никон, такое безчестье и укоризну блаженные памяти великому государю и великому князю Ивану Васильевичу всеа Руси написал?!”

Маловероятно, чтобы русские участники собора самостоятельно решились хулить повесть о белом клобуке, освященную авторитетом Максима Грека и служившую с давних пор подтверждением притязаний России на первенство в православном мире. Между тем

приговор большого собора гласит: „Повелеваем... да никто сему писанию веру имеет, потому что лживо и неправо есть, как яснее возобличится прочие его блядословия во ином писании”. Но снять белый клобук с русского архиерея не могли и восточные патриархи: „однако мы благословляем, — утверждают участники собора, — всех митрополитов Великороссийского государства, да носят белые клобуки... ради древнего обычая, а не ради лживого писания”⁴¹.

Итак, восточные патриархи и их советники располагали определенной степенью свободы и на большом церковном соборе имели возможность проводить собственные, несвойственные русским участникам собора мнения. Но сомнительно, чтобы они могли диктовать свою волю царю и русским иерархам (исключая те случаи, когда царь действовал на своих иерархов через греков) по главным, принципиальным вопросам. Патриархи (хотя они, строго говоря, не были патриархами во время собора) пользовались большим авторитетом, однако от них ждали вполне определенных суждений. Характерный эпизод, позволяющий почувствовать атмосферу во время большого собора, приводит осужденный на нем дьякон Федор.

Знаменитый старообрядец Лазарь (впоследствии, 14 апреля 1682 года, сожженный в Пустозерске вместе с Аввакумом и Епифанием), по словам дьякона, смело заявил на соборе перед патриархами: „Молю вас, крайних пастырей, повелите мне идти на судьбу Божию в огонь, и если сгорю — то правы новые книги, если же не сгорю — то правы наши старые отеческие книги, иже древле переведенные с ваших книг греческих неперепорченных!” Восточные патриархи ухватились за это предложение, видя возможность разом покончить с „заблуждениями” староверов. Они подробно изложили свое согласие с предложением Лазаря, мотивировав его тем, что, если народу нужно чудо, пусть так и будет: как в древности Русь крестилась, увидев, что Евангелие

не горит в огне, так ныне пусть Лазарь сгорит — никто его к этому не принуждал!

Царь не знал, что сказать на это, русские же иерархи были смущены героическим вызовом старовера. Суеверия были тогда весьма сильны (им был подвержен даже образованнейший и умнейший князь В. В. Голицын), все вспоминали за собой грехи и думали втайне: „А ну, как не сгорит?!” Короче говоря, русские участники собора долго обхаживали восточных патриархов и их приближенных, чтобы избежать божьего суда. Наконец они решили действовать через известного нам переводчика, архимандрита Дионисия. Тот, зная и своих хозяев в Москве, и приезжих, произнес перед Паисием и Макарием выдающуюся по откровенности речь:

„Отцы святые! Заезжие вы люди здесь: если так станете судить здесь без помазания — и вам чести большой, и милостыни довольной, и даров не будет от великого государя и от всех властей тоже, но сошлют вас в монастырь, как и нашего Максима Грека святогорца, и в свою землю не отпустят вас, если в задор станет дело! Как им надобно — так и пушайте!”

„Патриархи же послушали его, — констатирует дьякон Федор, — и творить так стали, а не спорили ничего, только потакали”⁴². Достоверность этого рассказа укрепляется тем, что старовер не старается выгородить восточных патриархов или показать, что они были обмануты никонианами. Паисий александрийский и Макарий антиохийский действительно считали старый обряд еретическим новообразованием. В этом смысле соборный приговор вполне соответствует их взглядам. Следует, однако, учитывать, что это были взгляды *приехавших в Москву* греков, греков нанятых, а не греческого (точнее — восточного православного) духовенства вообще.

Не следует думать, что обрядовое безумие и стремление истребить малейшее обрядовое инакомыслие охватывало в XVII веке не только Россию, но и весь православный Восток. Здравый и совершенно справедливый даже с точки зрения сегодняшнего богословия взгляд на обрядовые различия авторитетно выразил в 1555 году константинопольский патриарх Паисий, писавший от своего имени и от лица константинопольского собора. Отвечая на множество вопросов, заданных Никоном, Паисий указал, что волнующая Никона разница в обрядах не только не предосудительна, но и нормальна, естественна и закономерна; она никоим образом не может вызывать разделения и свар в единой православной церкви.

Единение православия, писал константинопольский патриарх, состоит „в одном и том же исповедании веры, с одним разумением и с одной мыслью... Ты жалуешься сильно на несогласие в кое-каких порядках, существующих в поместных церквах, и думаешь: не вредят ли эти различные порядки нашей вере? В ответ на это мы похвалием мысль... но исправляем опасение... Если случится, что какая-нибудь церковь будет отличаться от другой какими-либо порядками, неважными и несущественными для веры, или такими, которые не касаются главных членов веры, а относятся к числу незначительных церковных порядков, каково, например, время совершения литургии, или вопрос о том, какими перстами должен благословлять священник и подобные, — то это не должно производить никакого разделения, если только сохраняется неизменно одна и та же вера.

„Это потому, — объясняет патриарх, — что церковь наша не с самого начала получила тот устав чинопоследований, который содержит в настоящее время, а мало-помалу”. Что-то устаревает, что-то вводится вновь, справедливо приводит примеры Паисий. „При всем том, так как сохранялась одна и та же вера всеми по-

местными церквами, то это различие в чинопоследованиях не могло тогда служить основанием признавать их еретическими или схизматическими. Не следует нам и теперь думать, будто извращается наша православная вера, если кто-нибудь имеет чинопоследование, несколько отличающееся в вещах, которые не принадлежат к числу существенных — или членов веры: лишь бы соглашался в важных и главных с кафолической церковью” — то есть с православным исповеданием.

Не раз и не два патриарх втолковывает Никону, что поднятые им вопросы не имеют значения, что креститься и благословлять можно, в конце концов, любыми пальцами, „лишь бы только благословляющий и благословляемый имели в мысли, что это благословение исходит от Иисуса Христа при посредстве руки священника”, и так по всем вопросам... „Что же касается полемики, — пишет Паисий, — ...то умоляем именем господа нашего Иисуса Христа, да прекратит ее твое блаженство, со свойственной тебе разсудительностью, рабу бо Господню не подобает свариться (2 Тим. 11: 24), и особенно в вещах, которые не принадлежат к числу главных и существенных и членов веры!”⁴³

Не следует забывать также, что неоднократно приглашаемые участвовать в русской обрядовой полемике восточные патриархи отказывались делать это даже за большие деньги, а те, кого удалось все-таки завлечь золотым тельцом в Москву, были извержены восточным духовенством и судили, будучи лишенными сана. Строго говоря, не греки прибыли в Россию проводить свою церковную линию, а Москва получила то, что хотела и чего была достойна. Чего стоит, в конце концов, восстановление Паисия и Макария на патриарших престолах с помощью турок и мусульманского великого муфтия! Паисий Лигарид и бывший архимандрит афонского Иверского монастыря Дионисий, кормившийся в Москве более 15 лет (с 1655 по 1669 год), конечно, имели свои соображения, но все-таки в первую очередь

они являлись слугами (вернее, даже прислужниками) российского самодержца. Можно ли было ожидать, что в существенном вопросе они все пойдут против воли своего нанимателя (располагавшего в качестве одного из аргументов Сибирью)?!

Роковое решение о старом обряде и старообрядцах, официально расколовшее русскую православную церковь, было принято на основе „сердечного согласия” греков и русских. Возможно, молчаливое русское большинство на соборе 1666—1667 годов и не одобряло столь крутого решения (чем может объясняться относительная мягкость решений русского собора 1666 года), но Павел, Иларион, Иоаким и иже с ними, активно выступавшие от имени русской церкви, могли ли они не одобрять жестокой расправы над староверами, которую сами неукоснительно вели до соборного приговора и которую с удвоенной свирепостью продолжали после собора?! Помимо того что соборное решение не было бы принято без одобрения царя Алексея Михайловича, оно никогда не было бы реализовано без его сознательного и целеустремленного содействия. Именно царские воеводы хватали и казнили староверов, именно царь отдал приказ о разрушении русской святыни — Соловецкого монастыря, — и с его одобрения каратели вешали монахов за ребра. То, что он из сентиментальности или в страхе перед грядущей расплатой щадил Аввакума, не дает никаких оснований переложить вину за раскол русской церкви с царских плеч на плечи нанятых им иноземных судей.

Наконец, очевидно, что из решений собора 1666—1667 годов выполнялись лишь те, что пришлось по душе, вызывали одобрение служителей официальной церкви. Так, осуждение Стоглава никогда не действовало, авторитет Максима Грека нисколько не пострадал, а повесть о белом клобуке, это „лживое писание”, по выражению соборного приговора, продолжала оставаться одним из высокочтимых произведений: на нее

ссылался и ее использовал даже Игнатий Римский-Корсаков, один из образованнейших полемистов и активнейших преследователей старообрядчества. Решение же большого церковного собора о расколе оказалось живым и действенным — это главное, что не позволяет даже при большом желании приписать его исключительно проискам заезжих греков.

* * *

Кого же, если не экс-патриархов Паисия александрийского и Макария антиохийского вкупе с Паисием Лигаридом и подобными ему, мы должны назвать раскольниками? Думаю, сказанного достаточно, чтобы ответить на этот вопрос. Это самодержавная власть: царь Алексей Михайлович со своими подручными и своими предшественниками, утверждавшими единомыслие и единообразие как единственные законные формы мысли и жизни. Это многие представители русского духовенства, зависимые от светской власти и тщетно пытавшиеся преодолеть эту зависимость, но требующие „не рассуждать!“ в духовной сфере. Это патриарх Никон и его единомышленники, посеявшие зерна зла, поднесшие фитиль к пороховой бочке, на которой сами же сидели. Это вожди староверов, первыми объявившие никонианскую церковь антихристовой и своим поведением подчеркнуто разжигавшие церковную вражду (в чем не раз с чувством вины признавался сам Аввакум). Это используемые и использовавшие ситуацию заезжие греки — корыстолюбцы и авантюристы. Словом, справедливо было бы называть раскольниками всех героев этой главы. Все они внесли свой вклад в трагедию, которая, как пожар, который не тушат, но еще пуще разжигают, захватывала все большие пространства и уносила все больше жизней. Россия покрывалась кострами и освещалась огнем горящих в церквах самосожженцев. Звенели оковы, палили мушкеты стрельцов, рыскали по лесам

воинские команды, свирепствовали, как орды Батыя, петровские драгуны, звали к смерти фанатичные проповедники. Совместными усилиями обеих сторон раскол непрерывно поддерживался, развивался и укреплялся.

Преследование инакомыслия и убийство инакомыслящих оборачивалось для русской православной церкви самоубийством. Церковный кризис, ярчайшей страницей которого стал раскол, становился и кризисом религиозного мировоззрения. В тех рамках, в которые было загнано религиозное мышление, человеческое общение оказывалось уже невозможным. Необходимую платформу для диалога, для общения без взаимобийства, и тем самым для возрождения, передовые русские писатели стали искать в области рациональной мысли, в отказе от догмы, в исследовании, в аргументации своих взглядов по законам человеческого разума. Путь этот был тернист и кровав, но он должен был быть пройден.

Глава IV

РАЗУМ ПРОТИВ ВЛАСТИ



Государственный преступник №2



рик и шум стоял во дворцах Троице-Сергиева монастыря, несмотря на утихомиривающие вопли начальства. Бряцающие оружием толпы дворян, офицеров солдатских, стрелецких и драгунских полков, их холопы и денщики, надменные бояре в окружении своих людей, дьяки и подьячие, прижимающие к телу бумаги — вся масса людей, съехавшихся, чтобы защитить молодого царя Петра от его властолюбивой сестры Софьи, сливалась в водовороты, выплескивалась в огромный лагерь под стенами, вливалась в монастырь через множество ворот. Спешно расширяемая походная канцелярия едва справлялась с организацией прибывающих, счет которым шел уже на десятки тысяч. Даже привычные к большому стечению народа троицкие монахи сбивались с ног. Звонкие колокола возвещали о патриаршей молитве в соборе. Монастырские службы бросали из своих труб в октябрьское небо огромные клубы дыма, слясь накормить, отмыть и обогреть спешно собранный в Сергиеве царский двор. Шпионы по должности, а более по призванию сновали повсеместно. Кого-то по изветам или просто по ошибке хватали и волокли в переполненные застенки, где кнутабойцы под руководством знатных людей страны раскрывали страшный заговор против царской семьи. Кружок

ближних родичей и сторонников Петра почти непрерывно заседал, засыпая государство решениями от царского имени. В толпах ползали самые нелепые слухи, раздуваясь до размеров неоспоримых истин.

Ловко вывинчиваясь из людского потока, вырывались на волю гонцы-сеунщики, опасливо придерживающие на головах шапки с соколиными перьями и спрятанными внутри бумагами. Пробившиеся к ямскому двору совали в нос старосте красные кулачищи с подорожными и требовали лошадей с проводниками. Дороги на много верст были забиты спешащими и орущими сорванными голосами людьми. Специальные конные отряды воинов в мундирах разных полков, разгоняя запрудивших дорогу встречных, переворачивая в канавы повозки на заторах, не вникая воплям и угрозам, рвались от Троицы, чтобы выполнить задание особой государственной важности. Группа храбрых капитанов с несколькими сотнями особо доверенных воинов привилегированных полков получила этот указ.

Один за другим капитаны погружались в относительную тишину палаты, где собрались высокие персоны, и, вытянувшись во весь свой рост перед всесильными царедворцами, слушали рассказ о злоковарных преступниках Федьке Шакловитом и Сильвестре Медведеве с товарищами, умысливших подкоп под все государство, намеревавшихся убить ручными гранатами великого государя царя Петра Алексеевича, погубить мать его благоверную царицу Наталию Кирилловну и самого святейшего патриарха Иоакима тайно извести. Скрывшегося из своей обители старца Сильвестра Медведева, настоятеля московского Спасского монастыря, что за Иконным рядом (близ Никольских ворот Кремля, ныне это улица 25 Октября), следовало немедля сыскать, заковать в кандалы и под усиленной охраной, глядя в оба, чтоб он над собой какого дурна не учинил, доставить в троицкий застенок¹.

Звякая саблями и скрипя военной амуницией, капитаны лихо били челом в пол и устремлялись вон из палаты, мысленно рисуя себе ожидающую их награду. Сильвестр известен был всей Москве и не мог затеряться среди народа. Поймать пожилого ученого не представлялось затруднительным. Заботы вельмож о том, чтобы капитаны брали с собой побольше верных людей (хотя с начальством и не спорят), выглядели забавно: как будто охота идет на ватагу разбойников, а не на старца, которого скрутит и один капитан! Но ни молодечество сыщиков, ни резвость их коней не приносили удачи. Ни одному капитану со всеми их силами взять второго по значению государственного преступника, из-за которого происходило все смятение в Троице, не удавалось. Напрасно били землю копыта воинских коней и руки ответственных за сыск чиновников чесали ответственные затылки. Сильвестр Медведев как сквозь землю провалился.

Когда 1 сентября 1689 года люди полковника Ивана Константиновича Нечаева выяснили, что старца нет в Заиконоспасском монастыре, поиск был направлен на места, где бы он мог укрыться. Благожелатели Медведева были давно уже на заметке у патриарха, допросы давали дополнительные сведения. 5 сентября капитан московских стрельцов Дмитрий Родичев с отрядом окружил московский Симонов монастырь. Поставив караулы у всех ворот и пролазов, он произвел тщательный обыск келий архимандрита Гавриила, монастырского наместника, соборных и рядовых монахов. Не обретя Сильвестра и разыскиваемого вместе с ним келейника* Арсения, капитан потребовал у симоновских иноков письменной клятвы, что они действительно не знают, где скрывается государственный преступник.

К тому моменту, когда отряд разочарованного Дмитрия Родичева вернулся в Троицу, проводившим

* Келейник — сожитель по келье в монастыре.

дознание царедворцам стало известно, что Медведев покинул монастырь не только с келейником. С ним были также муж его сестры Дарьи служилый иноземец Михаил Гульский и царский певчий дьяк, известный певец и композитор Лаврентий Бурмистров. Появился и новый подозреваемый в укрывательстве преступника. Это был видный человек в государстве — думный дьяк Любим Алферьевич Домнин, долгое время служивший в важнейших приказах — Посольском и Разрядном. Его подвели два обстоятельства. Домнин недавно ездил в посольство к гетману Мазепе с руководителем Стрелецкого приказа, ближайшим сторонником царевны Софьи, думным дворянином Федором Леонтьевичем Шакловитым — ныне государственным преступником № 1. Хуже того, он был земляком и хорошим знакомым Сильвестра Медведева.

Таких сведений было достаточно, чтобы сыскной отряд капитана Артемия Непоставова нагрязнул в подмосковные вотчины думного дьяка. Оцепив деревню Дроздино, сыщики перевернули вверх дном дворы Домнина и его крестьян. Ничего не найдя, капитан Непоставов под угрозой смертной казни допытывался у крестьян, были ли здесь Медведев и его спутники, давно ли были и куда попрятались?! Не имея приказа о дальнейших действиях, но желая, как говорилось в инструкции, „порадеть и службу свою ему, великому государю, показать”, Непоставов 7 сентября обыскал еще села Козмодемьянское, Ермолино и Михайловское. Тем временем особая воинская команда скакала в Москву, чтобы самого Домнина „взять и привезть к великому государю в Троицкой Сергиев монастырь тотчас. А дорогою, — гласил указ, — везти бережно и осторожно, за крепким караулом”. Что и было исполнено.

10 сентября неожиданно взятый в собственном доме и доставленный в Троицу, думный дьяк вынужден был оправдываться за свое знакомство с Медведевым. Он сумел уверить грозную розыскную комиссию, что

весь сентябрь не виделся с Сильвестром, не укрывал ни его ни его вещей „и лошади ему никакой никогда не даывал”. Так оно и было, но за случайно павшее на него подозрение будущий видный сподвижник Петра I поплатился отправкой в службу на далекий Терек.

Неудача с Домниным не привела в уныние розыскную комиссию, ибо она уже напала на след Медведева. Патриарху Иоакиму удалось выяснить, что Сильвестр со своим келейником объявлялся в Донском монастыре, бывший архимандрит которого, Никон, как раз собирался ехать на богомолье в Севск. Было установлено, что „с тем бывшим архимандритом Никоном поехал вор*, и изменник, и всякого зла начинатель бывший Спасского монастыря, что за Иконным рядом, строитель чернец Сильверстко, что бывал в мире Сенька Медведев, с келейником своим с чернецом же Арсенкою”. В погоню за Никоном и его спутниками был брошен отряд капитана московских стрельцов Михаила Данилова. Он должен был стать на след у Донского монастыря, далее „ехать в погоню до Севеска наскоро и дорогою про них разведывать всякими мерами: где, кто их видел и сколь давно проехали?”

Начальство в Троице полагало, что Медведев будет пытаться уйти из Севеска за границу. В последнем случае бравый капитан должен был „ехать из Севеска и в другие места, где их догнать мочно, чтоб их кончае в даль не упустить”. Но Сильвестр мог устремиться и на родину — в Курск. Тогда и погоне следовало повернуть к Курску. Престарелого Никона, как возможного соучастника, велено было схватить и заточить до времени в каком-нибудь монастыре, а Медведева с Арсением спешно везти в Троицу „с великим бережением, чтобы они с дороги не ушли и над собою и над стрельцами (!) какого дурна не учинили”. Получив сыскную память,

* Вор — по терминологии XVII века, государственный преступник (в отличие от татя — вора в современном смысле).

проезжую грамоту и подорожную, капитан Данилов умчался, однако ожидаемых от него подвигов не совершил.

Маленький обоз Никона настиг за Калугой отряд пятидесятника московских стрельцов Михаила Косого. Ворвавшись ночью на монастырский гостиный двор, сыщики избили и связали архимандрита Никона и его старого знакомого, бывшего дьякона царской дворцовой церкви Якова Яблонского, ехавшего на Украину „к матери своей родной, ко вдове Анне Тимофеевой дочери, для свидания с нею”. Не найдя Медведева, лихие стрельцы ограбили задержанных, а Яблонского в качестве трофея приволокли к Троице-Сергиеву монастырю. При всем желании розыскная комиссия не могла найти криминала в поведении и прежней жизни Яблонского, уехавшего из столицы с высочайшего разрешения. После допроса он был отпущен и даже спас некоторую часть своего имущества (не считая денег и ценностей, уже поделенных между собой сыщиками).

Судьба Никона и других его спутников не установлена. Следствие не тратило на них чернил: выяснилось, что след Медведева вновь утерян. Старец оказался хорошим конспиратором. Он вовремя покинул обоз Донского архимандрита и успешно боролся со сверхмощным сыскным аппаратом.

Между тем все увеличивающееся число капитанов и стрельцов в полном вооружении скакало по дорогам страны в погоне за призраком. Только полковник Семеновского полка стольник Кривков выслал на сыскные работы трех пятидесятников и восемь десятников с людьми. По городам на площадях, по уездам на торжках, в селах и деревнях звенели крики глашатаев-биричей, читавших указ „о ворах и о бунтовщиках о Федьке Шакловитом и единомышленнике его о старце Селиверстке Медведеве”. Население призывалось к ловле беглецов из Москвы, воеводы впадали в азарт.

В Курске Авраам Иванович Хитрово „сыскал” мирно жившего у всех на виду брата Сильвестра — Бориса Агафонниковича. И хотя быстро выяснилось, что Сильвестр давно в Курске не бывал и тем более у брата не прятался, воевода с 29 сентября до 7 ноября продержал Бориса Медведева под караулом, заведя о нем обширную переписку с розыскной комиссией во главе с Тихоном Никитичем Стрешневым. Еще раньше, как и положено пограничному полководцу, отреагировал белгородский воевода Борис Петрович Шереметев, схватив „объявившегося” прямо к нему подъячего Дворцового Судного приказа с одиозной фамилией Медведев, который привез в Белгород колодника-ссыльного. То, что подъячий именовался Калиной Афанасьевичем и не имел отношения к Сильвестру, ему не помогло: он отправился назад в узах, да еще не прямо, а через Курск, и не в Москву, а в троцкий застенок. К его счастью, он был все же отпущен (в итоговых списках следствия не значится).

Но не всем так везло. Подъячий Стрелецкого приказа Иван Истомин еще 13 сентября по собственному почину явился перед розыскной комиссией, чтобы помочь следствию над своим дядей Сильвестром и отчимом Михаилом Гульским. Так посоветовал ему другой его дядя — прославленный стихотворец и секретарь патриарха Карион Истомин, не отличавшийся гражданским мужеством. Паренек, проведенный детство в доме Медведева и постоянно пользовавшийся его милостями, получивший место в приказе благодаря Шакловитому, донес, что его благодетели „почасту... говорили промеж собою тайно, выслав всех”, а его-де с дядей Карионом стрельцы подозревали в шпионстве и даже хотели убить! Рвение Ивана Истомина не оставило равнодушными даже выдавших виды сыщиков, так что запись о его освобождении из темницы появилась только в итоговом „Списке казненных” и т. д., по окончании следствия.

При всей безрезультатности сыска шум, поднятый в ходе ловли Медведева и некоторых второстепенных жертв (также заочно объявленных государственными преступниками, но не схваченных 7 сентября вместе с Шакловитым), был полезен для составивших розыскную комиссию родственников и приближенных царя Петра. Чем больше беспорядочных толп вооруженных дворян и чиновников стекалось в Троицу, чем громче кричали на площадях биричи, призывая ловить изменников, чем внушительнее выглядели скачущие по дорогам сыскные отряды, тем сильнее внедрялось в сознание людей представление о существовании страшного заговора против верховных властей, тем крепче становилась уверенность в опасности чудом предотвращенного верными слугами престола государственного переворота. Ирония истории заключалась в том, что вся эта катавасия дымовой завесой прикрывала действительно совершающийся переворот. Под крики о злоковарном заговоре заговор победил.

Заговор



тобы было понятно, как очутился в самой гуще этой грязной возни вокруг власти выдающийся русский писатель и поэт, философ и просветитель Сильвестр Медведев, надо вспомнить некоторые события политической истории последней четверти „бунташного“ XVII века. Российское государство стремительно выдвигалось в это время в первые ряды мировых держав. Его сельское хозяйство становилось все более товарным, перекрывая внутренние потребности и обеспечивая стране значительное место в европейской торговле. Сельская и городская промышленность насыщала укрепляющийся всероссийский рынок массой изделий, которые широким потоком устремлялись по историческим торговым путям на Восток. Быстро росли заводы и мануфактуры. Новая регулярная армия, одна из самых больших по численности в Европе, составлявшая уже $\frac{4}{5}$ всех вооруженных сил страны, получала самое передовое по тем временам вооружение (вплоть до гранатометов и винтовок). В сражениях с отборными войсками Османской империи русские солдаты и стрельцы, драгуны и пушкари показали отличную боеспособность. Османское наступление в Восточной Европе было остановлено, Россия сама устремилась в Дикое поле, чтобы ликвидировать вековой очаг агрессии в Север-

ном Причерноморье. Без ее участия уже не обходилось решение крупных международных проблем в Европе, Передней и Средней Азии; на Дальнем Востоке передовые русские отряды мужественно противостояли Цинской империи. Посольский приказ наладил дипломатические связи со всеми ведущими государствами и все более активно проводил свою линию на внешнеполитическом театре. Внутри страны шли почти непрерывные преобразования, затрагивавшие почти все стороны жизни, вплоть до изменений на общеевропейский манер стилей архитектуры и живописи, перехода с крюковых нот на линейные и указа царя Федора Алексеевича об отмене старинной длиннополой одежды.

Прогресс страны был тесно связан с ростом общественного самосознания. Одним из его проявлений было бурное развитие актуальной литературы, как правило рукописной, ибо на пути нового печатного слова плотной стояла монополия Печатного двора, находившегося под контролем патриарха. Русская и переводная научная и техническая литература, беллетристика и публицистика создавались и переписывались все более многочисленными мастерскими и отдельными лицами по всей стране. Особенно велик был интерес к отечественной и всеобщей истории, наблюдавшийся во всех слоях общества. Значительно вырос вес писательского слова, авторитет литератора. Люди настойчиво пытались определить свое место в мире, понять пути развития государства.

Страшные оковы крепостничества, хотя и не ставшего столь могучим и всеильным, как после реформ Петра I, но уже неуклонно тормозившего развитие всего живого, душили страну. Все больше людей поднималось на открытую борьбу с феодальным бесправием. Крестьянские и казацкие волнения не утихали. Мощным потрясением господствующей бесчеловечной системы стала народная война под руководством Степана Тимофеевича Разина. На попытки туже затянуть цепи госу-

дарственного крепостного рабства горожане отвечали еще невиданными по силе восстаниями, заставлявшими правителей временно отступить и маневрировать. По мере того как феодальный способ производства истощал себя, силы реакции консолидировались, спеша любыми средствами задержать прогресс, скрутить народы России путами внеэкономического принуждения и идеологического дурмана.

Формирование и укрепление абсолютизма давало многим надежду на установление социального мира. Столь созвучные народным чаяниям идеи общего блага, государственной пользы, равенства подданных перед царем-отцом — гарантом правого суда — и т. п. элементы усиленно насаждавшейся идеологии абсолютизма маскировали подлинный облик монстра, уже ставшего главным орудием закрепощения, „чудища обла, озорна, стозевна”, которое обеспечит невиданное по жестокости и продолжительности рабства народов огромной империи, станет жандармом Европы и даже после своей гибели оставит губительные метастазы в теле страны. Необходимая для абсолютизма концентрация и централизация власти заметно обостряла и без того жестокую борьбу „в верхах”. Боярская дума еще функционировала, но за реальную административную власть шло настоящее сражение придворных клик, имевших своих лидеров, четкое руководство, внутренне спаянных и готовых на все ради победы, ибо поражение было почти (а подчас и вполне) равносильно гибели.

Знатность сама по себе сохраняла огромное значение, но не была необходимым качеством политика. Один за другим к высшей власти карабкались люди, которые не могли похвастать происхождением, но были способны править кораблем Российского царства в бурных волнах внутри- и внешнеполитических противоречий. Начало 70-х годов стало концом карьеры, крушением далеко идущих реформаторских планов и политических концепций Афанасия Лаврентьевича Ордина-

Нащокина, вышедшего к вершинам власти из мелких псковских дворян. На смену ему шел во главе своей группировки бывший стрелецкий полковник Артамон Сергеевич Матвеев. С его победой расстановка сил при дворе кардинально изменилась².

22 января 1671 года Матвееву удалось упрочить свое положение, женив вдового царя Алексея Михайловича на 20-летней Наталии Кирилловне Нарышкиной — дочери бедного тарусского дворянина, воспитанной в доме Артамона Сергеевича и его супруги, урожденной Гамильтон. Необразованная, но отнюдь не бесхитростная царица быстро утвердилась во дворце, оттеснив на второй план все остальное царское семейство. Для ее развлечения пожилой царь завел театр, светскую музыку и танцы, разрешил устраивать множество парадных выездов и даже позволил супруге показываться народу на гуляниях! Сестры царя, а главное, его дети от первого брака оказались в тени. Увлечение царя новой женой оскорбляло молодых царевичей Федора и Ивана Алексеевичей, а еще в большей мере — их образованную и многоразумную сестру Софью. К тому же Наталия Кирилловна поспешила родить царю крепкого и здорового сына Петра, а затем и двух дочерей. Ситуация в царской семье обострилась настолько, что сама возможность наследовать отцу для детей его первой жены, урожденной Милославской, оказалась под вопросом.

Соперничество в царской семье не было скрыто от глаз придворных, учитывавших его в собственной борьбе за место у государственного пирога. Попытка Матвеева, Нарышкиных и их сторонников после смерти Алексея Михайловича утвердить на престоле малолетнего царевича Петра встретила мощное сопротивление большинства родовитых бояр и провалилась. Законный наследник Алексея царевич Федор занял трон. Матвеев с семьей и его сторонники были обвинены в подготовке государственного переворота и сосланы. Вдовствующая царица Наталия с детьми вынуждена была поки-



Царь Федор
Алексеевич
Романов

нуть дворец и жила в особом, отведенном ей дворе в Кремле, а летом — в селе Преображенском. Но группировки, участвовавшие в сопротивлении плану Матвеева, просчитались. Власть захватил клан во главе с родичем царя Иваном Михайловичем Милославским, фактически диктовавшим свою волю правительству, опираясь на наиболее близкую к царю часть государевой семьи (его брата и сестер по материнской линии).

Властолюбие Милославского, не желавшего делиться влиянием, способствовало сплочению придворных группировок теперь уже против него. Федора Алексе-

евича удалось женить сначала на шляхтинке Агафье Симеоновне Грушевской (1681 год), а после ее смерти при родах — на московской дворянке Марфе Матвеевне Апраксиной (1682 год). С помощью приближенных и родственников новых царей склонность Федора Алексеевича к преобразованиям получила новый толчок; на первый план в Кремле вышла „партия реформ”, объединявшая представителей разных политических группировок. Все более видное место занимал заметно выдвинувшийся в правление царя Федора князь Василий Васильевич Голицын. Совершенно отстранив Милославского, во дворце утвердилась дворянская группировка Языковых — Лихачевых — Апраксиных. Крупные административные должности сосредоточили в своих руках князь Долгоруковы и ряд других знатнейших фамилий. Наталия Кирилловна и ее родственники Нарышкины вновь подняли головы, надеясь на благоприятные перемены. И они не заставили себя ждать.

Зимой 1682 года болезнь царя Федора поставила вопрос о его преемнике. Воцарение законного наследника, 16-летнего царевича Ивана Алексеевича, создало бы опасность возвращения к власти Милославского и его клики. К апрелю при дворе созрел широкий заговор с целью отстранения Ивана от престола. Десятилетний Петр со своей захудалой родней, казалось, весьма подходил для организации при нем регентского совета на основе полюбовного соглашения знатнейших членов Боярской думы, видных приказных деятелей и церковных иерархов во главе с патриархом Иоакимом. Переворот произошел 27 апреля 1682 года около часа дня. Нареченному на престол патриархом Петру немедленно принесли присягу придворные, заранее выделенные люди приводили к кресту приказных служащих, гарнизон и горожан столицы. Объявлено было о смерти царя Федора, который действительно скончался через несколько часов (подозревали, что от отравы)³.

Заговорщики торжествовали свою победу над противниками при дворе, но, как выяснилось, рано. Народ больше не хотел молчать. И до переворота московское население, жители многих других городов и уездов страны были возмущены „неправдами, и обидами, и налогами” от несправедливого начальства. Неудачные попытки добиться справедливости у верховной власти, расправы над лицами, подававшими „в верх” коллективные жалобы, приближали взрыв народного гнева. Дворцовый переворот в Кремле стал последней каплей, переполнившей чашу народного терпения. В первых рядах восставших выступили солдаты и стрельцы Московского гарнизона⁴.

Уже 27 апреля рядовые стрельцы отдельных полков кричали, что они „без ума целуют [крест] меньшему брату мимо большего” и „сказывали на бояр измену”. „Простые же люди, слушая это, понимали, что правду говорят, пристали к стрельцам*. И разошлись по всему народу речи такие: что бояре всем обиды творят и насиле великое, суд и расправу всем христианам чинят несправедно ради своей выгоды, не щадя сирых и бедных, разоряют их и из домов изгоняют, нападают всякими неправдами, себя обогащают и домам своим прибыль чинят, а народ губят! Поэтому служилые люди — стрельцы и солдаты — между собой совет сотворили, всеми полками в единомыслии стали, говоря: ...на бояр поднимемся, потому что бояре что хотят, то и творят... и того ради от бояр терпеть невозможно...”

Автор приведенных строк — сотрудник патриаршего летописного центра и приближенный главного заговорщика Иоакима, его политический противник Сильвестр Медведев, датский резидент в Москве Бутенант фон Розенбуш и множество других современников и очевидцев событий единодушны в рассказе о причинах

* Здесь и далее сложные для понимания церковнославянские цитаты адаптированы.

взрыва народного гнева. переворот 27 апреля лишил угнетенных надежды добиться „правды” у царя. Малолетний царевич был посажен на престол, по словам восставших, именно для того, чтобы „верхи” могли бесконтрольно продолжать издевательство над народом. Именно поэтому они обманом отстранили от престола совершеннолетнего Ивана. Теперь, говорили в народе, „не имея над собой по причине малолетства царя достаточного правителя и от неправды воздержателя, как волки будут нас, бедных овец, по своей воле в свое насыщение и утешение пожирать! И потому [восставшие], лучше избрав смерть, чем бедственную жизнь, по своему общему совету, начало своего с боярами поступка положили”. Москва готовилась к решительному выступлению против правителей. Те же, казалось, были ослеплены борьбой за власть, реагируя только на отдельные вспышки недовольства и не замечая приближающейся бури.

Для наивных было объявлено, что никакого переворота в Кремле не было, что царь Федор самолично завещал царство... не единоутробному ему Ивану, а сводному брату Петру. Неубедительность этой версии бросалась в глаза, и чтобы притушить гнев народа, придворные дельцы выдвинули другую — что Петр якобы был избран всеми чинами Российского государства на Земском соборе, да еще „всенародно и единогласно”! Так и было записано в грамоте, составленной в канцелярии патриарха Иоакима и от его имени, с которой специальные чиновники поехали по стране приводить население к присяге новому государю. Чтобы подкупить стрельцов и солдат, им были сделаны уступки: наиболее свирепым полковникам пришлось выйти в отставку и даже сесть на несколько дней в тюрьму.

Однако на этот раз обмануть народ не удалось. Пожавшиеся „стоять всем за одного”, служивые уже начали хватать в своих полках приспешников и „ушников” начальства — и метать их наземь с высоких сиг-

нальных каланчей. Этот традиционный метод оказался эффективным — главные планы восставших, вырабатывавшиеся, по казачьему обычаю, на общих собраниях — „в кругах”, — не доходили до ушей двора. Не воспрепятствовали развитию восстания и экстренные меры патриарха Иоакима, направившего в места волнений митрополитов, архиепископов, епископов, архимандритов и игуменов, которые должны были уговаривать народ смириться. Доверие к церковным властям, запятнавшим себя участием в дворцовых интригах, было сильно подорвано.

Столица бурлила. Центр города был окружен стрелецкой стражей с заряженными ружьями и пушками, направленными в сторону Кремля. Восставшие составляли списки „изменников-бояр и думных людей”, подлежащих суровому наказанию, а будущие мертвецы ожесточенно рвали друг у друга новые чины, звания, пожалования. Коалиция, достаточно широкая для победы переворота, оказалась, как обычно, слишком широкой для дележа добычи. Дружными усилиями придворных было прежде всего отброшено „сильное орудие”, использованное для свержения Милославского: Языковы, Лихачевы, Апраксины и их сторонники были изгнаны из дворца. Радость победителей была, однако, омрачена тем обстоятельством, что львиную долю добычи захватила узкая группировка возвращенных из ссылки и „возведенных в прежнее достоинство” Нарышкиных, а также князей Долгоруковых, Куракиных, Стрешневых и некоторых других участников заговора в заговоре. Именно они заблаговременно вызвали из ссылки А. С. Матвеева и к его приезду прибрали к своим рукам управление важнейшими приказами, присвоили себе множество видных придворных чинов, посадившая Петра на трон коалиция распалась.

Большинство участников переворота 27 апреля чувствовало себя обманутыми, а один из Одоевских — фамилии знатнейших членов Боярской думы, участвовав-

шей в заговоре против Ивана и Милославских, — публично дал пощечину новоиспеченному боярину И. К. Нарышкину и назвал его собакой. Но было уже поздно. Прибывший в столицу Матвеев долго тайно беседовал со своим старым товарищем князем Ю. А. Долгоруковым, а затем с патриархом Иоакимом, возглавлявшими в его отсутствие правительство. Матвеев должен был стать „великим опекуном” малолетнего царя, а его ближайшие приближенные — пожинать плоды совершившегося захвата власти. Правда, оставалось еще народное восстание, но Долгорукову, разгромившему войска Степана Разина, и Матвееву, пытавшему Разина в Москве, а до того залившему кровью Медный бунт в столице, казалось нетрудным подавить „беспорядки”. Новый глава правительства немедленно потребовал прекратить „потворство стрельцам” и обещал железной рукой „пресечь бунт”, перевешать его зачинщиков и сослать участников. Это было 14 мая 1682 года.

На этот раз каратели потерпели поражение. Рано утром 15 мая лучшие полки Московского гарнизона под барабанный бой, с развернутыми знаменами и курящимися легкими дымками фитилями пушек устремились с окраин столицы к Кремлю. С минимальными жертвами (несколько человек погибло, кроме того, были раненые) Кремль был взят, вся столица перешла под контроль восставших. Начавшиеся было грабежи были сурово пресечены — захваченных с поличным казнили на Красной площади. Восставшие взяли под охрану и заперли Кружечный двор, откуда развозилось по кабакам спиртное. Победители не были кровожадны. Составленный и тщательно обсужденный в их „кругах” список лиц, виновных в злоупотреблении властью и безобразиях в стране, которых требовалось казнить или сослать, состоял всего из 40 имен. Это были, во-первых, придворные и приказные деятели, особо зверски при-

теснявшие народ, разорявшие казну и творившие неправедный суд при царе Федоре; во-вторых, „изменники”, составившие ядро государственного переворота 27 апреля и захватившие власть за спиной малолетнего Петра; наконец, придворные лекари, признавшиеся под пытками в отравлении царя Федора и подготовке убийства царевича Ивана, защиту прав которого восставшие считали своим делом. Тринадцать из обозначенных в списке лиц были казнены, остальные отправлены в ссылку или пострижены в монахи, трое после разбирательства прощены.

Юный Петр и его мать, царица Наталия Кирилловна, не подвергались никакой опасности (хотя страх, испытанный в то время, когда восставшие разыскивали по всему дворцу „изменников”, остался с царем на всю жизнь). Однако стоящая за их спиной группировка была разгромлена: А. С. Матвеев, Долгоруковы и трое Нарышкиных казнены, остальные сосланы. Более того, по требованию восставших на престол первым царем был возведен старший брат Петра, 16-летний Иван Алексеевич. Даже ужас перед восставшим народом не заставил „верхи” прекратить ожесточенную борьбу за власть.

И. М. Милославский, воспользовавшись тем, что большинство бояр в страхе перед восставшими разбежались из Кремля, 18 мая присоединил к двум оставшимся в его руках приказам (центральным ведомствам) еще три военных приказа, сосредоточив под своим управлением казну и верные правительству вооруженные силы. Но его противники быстро опомнились: через два дня думское большинство лишило Милославского финансовых приказов, через неделю он потерял Пушкарский, а 5 июля — Рейтарский и Иноземный приказы, был вышвырнут из дворца и, „как бы подземный крот”, скрылся в свои вотчины, навсегда прощившись с политической карьерой. Возглавляемая им группировка не могла остаться без лидера — и он уже появился. Это был наиболее образованный, здравомыслящий

Царь
Иван Алексеевич
Романов



и сильный духом член царской фамилии — царевна Софья Алексеевна. Защищая интересы своего клана и его клиентов, она в самые бурные дни Московского восстания одна оказалась способной отстаивать интересы самодержавия, лично говорила с восставшими, обещала им всевозможные уступки, организовала выплату стрельцам и солдатам огромных денег, принимала разнообразные меры для приведения гарнизона в повиновение правительству, которое оставалось пока бессильным и, по существу, взятым восставшими в плен.

Царевна Софья играла огромную роль в спасении феодального государства, но не имела никаких формальных прав на власть. Девушка издревле считалась



Царевна
Софья Алексеевна
Романова

„засорным лицом”, исключенным из публичной деятельности, а царевна не смела появляться вне узкого круга домашних. За судейские кресла (руководитель приказа с высоким придворным чином именовался судьей) и влияние в Боярской думе продолжалась ожесточенная борьба, хотя победители уже вырисовывались. Быструю карьеру делал Василий Васильевич Голицын, лично возглавивший Посольский и шесть связанных с ним приказов, распространивший свое влияние на некоторые другие ведомства через близких к нему людей. Могущественный клан Одоевских за полтора месяца вдвое увеличил число подведомственных ему

приказов и занимал уже восемь судейских кресел. После Голицына и Одоевских современники называли имена знатнейших князей Черкасских и бояр Шереметевых. Среди приказных деятелей все более заметную роль играл Федор Леонтьевич Шаковитый — мелкий брянский дворянин, сделавший блестящую карьеру. После работы подъячим в Приказе тайных дел (1673—1675 годы) он стал дьяком Разрядного приказа (1676 год), а 27 августа 1682 года в чине думного дьяка возглавил это важнейшее военное ведомство России, сочетавшее функции Генерального штаба и министерства обороны. Судью в этот приказ намеренно не назначили.

Альянс с царевной Софьей, которая искала возможностей активнее влиять на администрацию, давал преуспевающим в борьбе за власть лицам необходимого союзника во дворце, при государях, причем такого, который не мог сам покуситься на практическую власть, как это делали Матвеев, Милославский, Языковы — Лихачевы — Апраксины и тому подобные. Союз был взаимовыгоден: по мере укрепления нового альянса (известного как правительство регентства) власть Натальи Кирилловны Нарышкиной и стоящих за спиной Петра царедворцев „умалаялась”, царица Софья занимала при дворе все более видное место, а ее союзники в Думе и приказах приобретали новые чины и должности.

Ожесточенная борьба в Кремле затмевалась другой, гораздо более масштабной и значительной схваткой. Московское восстание не утихало. Оно распространилось на десятки городов и уездов. Более того, при всем своем монархизме стрельцы, солдаты, пушкари, ямщики и другие „служилые по прибору”, посадские люди (горожане) не склонны были надеяться исключительно на доброту царя. Широчайший политический резонанс получило в России строительство на Красной площади памятника в честь победы восстания. Правительство

вынуждено было допустить, чтобы со всех четырех сторон памятного „столпа” были написаны обвинения против „изменников-бояр и думных людей”, наказанных восставшими правителями, „чтоб впредь иные... чинили правду”. Непривилегированные служилые сословия и податное население городов добились „жалованных грамот”, подчеркивающих их роль в государстве, обещающих справедливое управление и приравнивающих „неправду” правителей к государственной измене.

Написанные на основе письменного требования восставших, „жалованные грамоты” июня 1682 года регламентировали выполнение представителями народа ряда государственных функций, избавляющих подданных „от налогов начальнических и неправедных обид”. Для контроля за соблюдением справедливости выбранные на стрелецких и солдатских собраниях представители по двое направлялись в приказы. Представители восставших нередко обращались к правительству и самим царям Ивану и Петру: „...повсюду к ним, государям, приступали смело и дерзостно и будто великие люди с боярами смешивались”. Утверждая себя гарантами народной правды при государях, московские стрельцы добились переименования в „надворную пехоту” (в противовес дворянству и боярству), а своих полков — в „приказы”.

Разумеется, стрельцы и солдаты, стоявшие во главе движений в Москве и других городах, понимали „народную пользу” достаточно однобоко. Они, например, способствовали разгрому Холопьего приказа (когда были уничтожены документы, повергавшие людей в рабство), но в то же время опасались холопов как военной силы, верной своим хозяевам — боярам, дворянам, монастырям. Близкие по месту жительства и хозяйственной деятельности к посадским людям, служивые крепко держались за свои привилегии, а о большинстве населения страны — крестьянах — в своих выступлениях и не вспоминали. И все же временная победа вос-

ставших, не дни, а месяцы сохранявших контроль над государственным аппаратом в самой столице, возродила веру народа в справедливость. „Мужики”, „простецы” сумели установить в Москве строгий порядок, в то время как дворянство в массе своей разбежалось из города; толпы людей шли в приказы „за правдой”, обещанной солдатами и стрельцами.

„В Москве до сих пор еще тихо, — писал думный дьяк Посольского и подчиненных ему приказов Е. И. Украинцев своему начальнику В. В. Голицыну. — А мы все дни с утра и после обеда за челобитными сидим, и несть нам восклонения: ...все государство обратилось в Верх с челобитьями!” „Грамот много, и челобитчиков слишком”, — подтверждал его слова разрядный дьяк П. Ф. Оловянников в письме к Ф. Л. Шакловитому 31 августа 1682 года.

Именно этот порядок и эта возрождающаяся вера ужасом леденили кровь власть имущих. „Верхи” считали, что дело идет „к разрушению всего государства”. Восставшие, говорилось при объёме страха дворе, в боярских, дворянских и монастырских вотчинах, надеются государством управлять, стремятся заменить собой правительство! Самая боеспособная часть армии (два десятка полков только в Москве) выпадала из карательного механизма феодального государства, вела за собой все более широкие слои народа. Требовались экстраординарные меры, чтобы восстановить положение, „верхам” необходимы были мудрые политики, способные найти путь спасения. Софья, Голицын и Шакловитый с их сторонниками пробивались к власти именно благодаря этой необходимости.

Используя свой незаурядный ораторский талант, обманув восставших „милостью” и „кротостью”, царевна Софья сумела вывезти царскую семью в село Коломенское. Между тем Шакловитый уже скрытно вел сбор дворянского ополчения. 2 сентября 1682 года царский двор бежал из Коломенского и, „странным путем” пе-

реезжая с места на место, вырвался из-под контроля восставших: теперь они уже не могли проводить свои решения от имени государей. 3 сентября была объявлена мобилизация дворянства на борьбу с „бунтовщиками”. Главкомандующим правительственной армией стал князь Голицын, который в течение нескольких недель поставил под ружье более 100 тысяч человек. Но крутой поворот в царских грамотах — от похвал восставшим как защитникам престола до объявления их „ворами и изменниками” — требовал объяснения. Совершенно необходимо было скрыть и тот позорный для правительства факт, что оно более двух месяцев вынуждено было выполнять указания „невегласов-мужиков”. Наконец, в Москве оставался небезызвестный Иван Андреевич Хованский по прозвищу Тараруй (Болтун), который в самое критическое время возглавил Стрелецкий приказ и служил своего рода „буфером” между восставшими и Кремлем. Боярин Хованский настолько вошел в роль „отца” своих „детушек”-стрельцов, что нередко кричал на бояр, требуя внимания к их „просьбишкам”, стремился (как того требовал и инстинкт самосохранения) выполнять желания восставших даже при неодобрении их Боярской думой. Популярный в Москве Хованский становился опасен.

Мы до сих пор не знаем, мог ли Хованский стать вождем восставших при ином повороте событий. Однако оставаясь в Москве, откуда бежало практически все дворянство, он придавал действиям восставших некоторую легальность. Софья и Шакловитый нашли выход из ситуации характерными для придворной борьбы средствами. Неизвестно откуда на имя царевны поступил донос, обвинявший Хованского и его сыновей в организации Московского восстания, стремлении захватить всю власть в государстве и даже воцариться на московском престоле. Он был датирован 2 сентября. До 14 сентября правительство заигрывало с боярином, посылая ему лестные грамоты и приглашая приехать ко

двору. 17 сентября обманутый Хованский с сыном Андреем был схвачен на дороге, привезен в село Воздвиженское и немедленно казнен как государственный изменник.

Козел отпущения был найден. Народное восстание стало считаться в официальной пропаганде следствием злоковарного заговора Хованских. Цели восставших, их успехи, сам факт *народного* восстания удалось скрыть надолго, на столетия. В тот же день, 17 сентября, царевна Софья праздновала день своего ангела. Ее чествовал весь двор. Цари и придворные „в объяринных и цветных кафтанах” изволили отстоять в селе Воздвиженском, недалеко от залитой кровью Хованского, его сына и их товарищей плахи, „божественную литургию”. „А после божественной литургии в хоромах... София Алексеевна изволила бояр, и окольных, и думных людей жаловать водкой”.

Однако пропагандистская победа еще не давала победы над восставшими. Младшему сыну Хованского и некоторым другим удалось бежать. Лесами и болотами, избегая дорожных застав, они пробирались в столицу. Вести о казни вызвали настоящий взрыв. Государственные арсеналы были вскрыты, столица ошетибилась стволами мушкетов и пищалей, орудия были подняты на крепостные валы, раздавались призывы к походу на истребление бояр. Паника охватила при этих известиях все многочисленное дворянское воинство. Царский двор спешно укрылся за толстыми стенами Троице-Сергиева монастыря, но даже и там царедворцы, располагавшие в несколько раз более многочисленной армией, не чувствовали себя спокойно. По свидетельству очевидца, многие при дворе готовы были капитулировать, приняв самые тяжелые условия московских стрельцов, солдат и горожан.

И вновь царевне Софье удалось успокоить двор, Голицыну — привести в порядок войска, Шакловитому — наладить канцелярскую работу. Сложнейшими дипло-

матическими маневрами, подкупом и лестью, угрозами и обещаниями правительство регентства сумело сначала разделить восставших, а затем навязать им перемирие. Шаг за шагом правительству удалось заставить восставших отказаться от наиболее опасных для феодального государства требований, пока в октябре двор в окружении многочисленных войск не смог вернуться в Москву. Одно из крупнейших городских восстаний закончилось миром.

Вместо казней стрельцам и солдатам было выплачено вознаграждение за „раскаяние”, причем вина за восстание в значительной степени переложена на Хованских. Это произошло уже в ноябре, когда положение правительства регентства стало критическим: большинство вернувшейся из бегов Боярской думы хотело избавиться от него, выступая за царя Петра. Однако народ, поставивший на царство Ивана, оставался еще грозной силой. Волнения утихли (хотя отдельные вспышки возникали и позже), но возможность нового восстания как домоклов меч висела над головами „верхов”. Правительство регентства удержалось. Без него было не обойтись. Назначенный в Стрелецкий приказ Шакловитый воплощал в жизнь обширнейшую программу „перебора” полков, по одному выводимых из столицы и заменяемых тщательно проверенными „верными” частями. Софья укрепляла свои позиции во дворце и к лету 1686 года получила все формальные признаки регентши при двух царях, она даже стала писать свое имя в царском титуле⁵. Голицын вытеснял из государственного аппарата родовитую знать, заменяя ее деловыми и преданными ему людьми. Немало внимания правительство уделяло городскому торговому промышленному населению, были уточнены меры веса и длины, изданы „Новоторговые статьи” и расширен Новоторговый устав, принят новый тариф за перевозки. Во избежание возмущений народа приходилось немало делать для упорядочения управления и суда.

Крупные успехи были достигнуты на внешнеполитической арене.

Период регентства (1682—1689 годы), когда сама расстановка социальных сил вынудила „верхи” временно отказаться от „закручивания гаек” (или, по крайней мере, делать это замаскированно и осторожно), стал яркой страницей в истории России. Вот как писал о нем один из образованнейших русских людей того времени, видный сподвижник Петра I князь Борис Иванович Куракин: „Правление царевны Софьи началось со всякою прилежностью и правосудием и ко удовольствию народному, так что никогда такого мудрого правления в Российском государстве не было; и все государство пришло во время ее правления через семь лет в цвет великого богатства, также умножились коммерция и ремесла, и науки почали быть латинского и греческого языка... и торжествовала тогда вольность народная”.

Действительно, торговля и промышленность процветали, по всей стране широко развернулось каменное строительство (в одной Москве тогда построены были тысячи каменных зданий), крупные шаги сделала литература (и особенно поэзия), живопись и музыка, к слову Москвы внимательно прислушивалась вся Европа, налицо было множество признаков прогресса страны. Но восторженные оценки „милостивого” правления царевны Софьи, Голицына и Шакловитого в немалой мере стали следствием крутого поворота политического курса в 1689 году, после формального прихода к власти Петра (в действительности вплоть до смерти царицы Наталии Кирилловны в 1694 году он не был допущен к делам государственного правления). Воспользовавшись результатами укрепления идеологического и карательного аппарата самодержавия в период регентства, реакция перешла в решительное наступление на последние народные „вольности”. Тогда „не стало” „ни в чем-де

путного рассмотрения”, сетовали горожане; тогда разобщенные и ослабленные стрельцы возмечтали о возвращении былых времен, а передовые представители „верхов” вынуждены были констатировать: „Правление оной царицы Наталии Кирилловны было весьма не порядочное, и недовольное народу, и обидимое. И в то время началось не правое правление от судей, и мздоимство великое, и кража государственная, которая донне продолжается со умножением...”⁶ Такой разворот событий, безусловно, способствовал идеализации правительства регентства, которое, в сущности, преследовало те же цели, что и предыдущие, и последующие, а в борьбе за власть проявляло аналогичную неразборчивость в средствах.

Чем больших успехов добивалось правительство регентства во внутренней и внешней политике, чем более укрепляло оно феодальное абсолютистское государство, тем менее необходимым представлялось оно „верхам”, спешившим перейти к новому „закручиванию гаек”, обогащению и возвышению за счет унижения народа. Чем больше власти приобретали Софья, Голицын и Шакловитый, тем больше у них становилось врагов и меньше единства в собственных рядах.

Стремясь удержаться на гребне успеха, царевна Софья приказала Шакловитому начать подготовку к венчанию ее царским венцом. Шакловитый через верных людей среди стрелецких командиров уже подобрал „представителей народа” для подачи об этом прошения, но дело получило огласку и вызвало такое сопротивление при дворе, что сама царевна сочла за благо повременить с коронацией. Даже Голицын, который в это время как главнокомандующий находился в военном походе, получив шифровку из Москвы, „писал, что тому делу удивляется и насилу пришел в память, что то дело необычайное”. Утверждение Софьи на царском престоле сделало бы ее в значительной степени независимой от тесного союза с Голицыным и другими придворными.

Ближний боярин
Василий Васильевич
Голицын



Самым надежным сторонником Софьи оказывается Шакловитый, который, хотя и получает чин думного дворянина, а затем и ближнего окольничего (на одну ступень ниже боярского), с презрением профессионального администратора относится к придворной среде и называет бояр „отпадшим, зяблым деревом”. Продолая готовить коронацию царевны Софьи, Шакловитый одновременно прибирает к рукам государственный аппарат. Он добивается права единолично докладывать о повышении в чинах и жаловании, структурных перестановках, вмешивается в дела разных приказов, включая подчиненный Голицыну Посольский приказ. Един-

ство целей царевны и вышедшего из низов приказного деятеля дополняется личной симпатией. И здесь князь Василий Васильевич Голицын, которого молва чересчур тесно связывала с Софьей, отходит на второй план. Вот как пишет об этом многознающий князь Борис Куракин: „В отбытие князя Василия Голицына с полками в Крым, Федор Щегловитой весьма в амуре при царевне Софии профитовал, и уже в тех плезирах ночных был в большей конфиденции при ней, нежели князь Голицын, хотя и не так явно. И предусматривали все, что, ежели бы правление Софьи продолжилось, конечно бы князю Голицыну было от нея падение или б содержан был для фигуры за первого правителя, но в самой силе и делех был бы упомянутой Щегловитой”.

Софья должна была рисковать, потому что царь Петр подрастал и вступал в „совершенные лета”. Правда, он не претендовал на власть, но царица Наталия Кирилловна со своими родичами и приближенными не желала давать Софье править от его имени, как царевна правила от имени своего брата Ивана. Окружение Петра, воспитывавшее его в ненависти к клану Милославских и правительству регентства, становилось все более грозной силой. Даже из уст опытного дипломата Голицына временами вырывалось сожаление, что „медведицу” Наталию Кирилловну не убили с ее родичами в 1682 году: „если б в то время уходили, ничего б не было” и у царя Петра с сестрой Софьей было все „советно”. В окружении же Шакловитого угрозы в адрес „медведицы”, боярина Льва Кирилловича Нарышкина, близкого к Петру князя Бориса Голицына и других звучали постоянно. Распалаясь по мере усиления „петровцев”, сторонники Софьи говорили между собой о возможности разными способами „убрать” самого Петра: бросить в него ручные гранаты, подложить в возок бомбу, запалить дворец в Преображенском и т. п. Патриарха, в котором видели немалое препятствие к коронации царевны, считали возможным „переменить” на более покла-

дистого или тоже сжить со свету. Все эти разговоры не успели вылиться в реальный план. „Петровцы” нанесли удар первыми, и он оказался смертельным для правительства регентства, которое до последнего момента пыталось вести борьбу в легальных рамках.

Заговор „петровцев”, как и несформировавшийся заговор Софьи, был закономерным следствием положения при дворе. Уже в 1688 году сторонники Петра усилились настолько, что придворные панегиристы, обычно щедрые на восхваление правителей, не решались посвящать свои труды Софье. Но правительство регентства столь цепко держало власть, что не только в этом, но и в начале следующего, 1689 года, когда Наталия Кирилловна демонстративно женила Петра, доказывая его совершеннолетие, „петровцам” не удалось захватить сколько-нибудь крупные куски государственного пирога. Им оставалось надеяться на физическое устранение противников. Отношения при дворе обострились до предела, обе стороны усиленно береглись покушений. Эта атмосфера всеобщего страха и была положена хитроумным Борисом Голицыным в основу плана переворота.

Для него был избран момент, когда Шакловитый серьезно заболел, так что только по личному приказу Софьи „насилу выбрел” во дворец, чтобы дать царевне для пешего хождения в Донской монастырь охрану в сотню вооруженных стрельцов (царевна имела основания просить об охране, так как недавно неподалеку от нее был зарезан конюх). Час спустя из „объявившегося” во дворце подметного письма Шакловитый узнал, что „потешные” петровские солдаты этой ночью, 7 августа, хотят идти из Преображенского в Москву, чтобы убить царя Ивана, царевну Софью и ее единоутробных сестер. Софья через Шакловитого отдала приказ ввести в Кремль 300 стрельцов и „для того опасения” запирать

кремлевские ворота на ночь. В сторону Преображенского по дорогам высланы были конные разведчики.

Подобные действия были предусмотрены „петровцами”, которые постарались усилить „всполох”: их агенты среди стрельцов стучали среди ночи в окна и, давая своим товарищам по рублю денег, призывали всех с оружием в Кремль. Шакловитый был захвачен врасплох и не понимал причину шума в Кремле в ночь на 8 августа; потребовалось время, чтобы успокоить стрельцов и распустить их по домам. Тем временем несколько подкупленных родственниками Петра стрельцов явились в Преображенское с вестью, что в Кремле собираются полки, хотят убить молодого царя⁷. Расчет был безошибочен. Бросив беременную жену и мать, не успев даже одеться, Петр сломя голову поскакал в Троице-Сергиев монастырь.

Признаки „бунта” были налицо. Объявительные грамоты из Сергиева, куда вскоре собрались главные „петровцы”, призвали дворянство, иностранных офицеров и верные войска спасать государя. События 1682 года и колоссальные земельные пожалования дворянству за участие в троицком ополчении (выданные правительством регентства) были весьма свежи в памяти. Чиновники двора и патриарх Иоаким устремились в Троицу. Образовалось два правительства, одно из которых неизбежно должно было пасть. Оружием для уничтожения правительства регентства и стало розыскное дело о „заговоре” Шакловитого, спешно изготавливавшееся заплечных дел мастерами в Троице.

Трагедия Хованских повторилась почти буквально, только на этот раз жертвами ее стали прежние палачи. Организовавший захват и казнь Хованских Федор Шакловитый был арестован в Кремле. 7 сентября 1689 года его допрашивали и пытали в Троице. Свергнутый временщик отрицал все произведенные на него наветы на допросе, но почти во всем „признался” с пытки. Впрочем, его слова имели весьма малое значение для новых

палачей, не стремившихся в чем-либо разбираться. Помимо „расспросных речей”, в деле Шакловитого прибавились лишь три его „скаски”, данные 8-го числа и перед смертью — 12 сентября. Голова Шакловитого слетела с плеч всего за пять дней до очередной годовщины его расправы над Хованскими. Еще раньше, 9 сентября, без всякого намека на следствие и суд был лишен чинов и званий, ограблен и сослан в Каргополь царственные большие печати и государственных великих и поольских дел обергегатель, ближний боярин, дворовый воевода и наместник новгородский князь Василий Васильевич Голицын. Та же участь постигла его сына — боярина князя Алексея. Жены князей поехали вместе с сосланными.

Устранение Василия Голицына было одной из блестящих операций придворной борьбы. Выдающийся государственный деятель и реформатор, острым умом и глубокими знаниями которого не уставали восхищаться иностранные дипломаты, со времени свержения А. С. Матвеева в 1676 году играл при дворе важную роль, несмотря на смену временщиков. Как главнокомандующий, имевший в своем распоряжении верные воинские части, он был весьма опасен для организаторов нового „петровского” переворота. Обмануть его было сложно, но, как выяснилось, можно. Для этого была использована трещина, образовавшаяся в правительстве регентства. Основные переговоры шли, разумеется, тайно, но их направленность не ускользнула от придворных панегиристов. В то время, когда Шакловитый пропагандировал власть Софьи и свою собственную, похвалы канцлеру Голицыну стали все активнее раздаваться из „петровского” лагеря. Мало того, что Карион Истомин, например, прославлял Василия Васильевича наряду с царицей Наталией Кирилловной и Борисом Голицыным — панегирики канцлеру и генералиссимусу утверждали непреходящее значение его деяний независимо от перемен во дворце⁸. Нельзя утверж-

дать, что „петровцы” вполне склонили члена правительства регентства на свою сторону, но они вызвали у Голицына колебания, заставили его медлить в тот момент, когда придворная борьба требовала самых активных действий. Как некогда Хованский, Голицын с сыном выехал ко двору в Троице-Сергиев монастырь, „не ведая... государского гнева”. Как и Хованским, Василию и Алексею Голицыным был немедленно объявлен приговор.

„Переиграл” многоопытного канцлера его родственник Борис Голицын, служивший при юном Петре с 1676 года и имевший неограниченное влияние на государя (к зависти и неудовольствию Нарышкиных). Похоже, однако, что и он оказался обманут. В планы Голицына не входило полное унижение и разорение представителей собственного рода. Видимо, в соответствии с предварительной договоренностью, князь Василий и Алексей уже 14 сентября подали просьбу о помиловании, возвращении в Москву и отмене конфискации их имущества. Поддержка этой просьбы Борисом Голицыным перед определенным образом настроенным своими родственниками Петром была именно тем поступком, какого от него ждали Нарышкины. Князь Борис не только не добился своего, но вызвал такой гнев и недоверие Петра, что получил приказ сдать дела в розыскной комиссии! Лишь с большим трудом, бросив родичей на произвол судьбы, он сумел потом восстановить свое положение.

В кратчайший срок правительство регентства было разгромлено, власть поделена новыми временщиками, безвольный царь Иван из марионетки своей отправленной в Новодевичий монастырь сестры Софьи стал марионеткой Нарышкиных. Однако кнутабойцы в троицких застенках продолжали действовать, закрепляя реальную победу нового правительства известиями о страшном и разветвленном „заговоре” против светских и духовных властей.

Заговорщик



а первый взгляд Сильвестр Медведев вполне подходил на роль второго (после Шакловитого) заговорщика. Имя этого яркого, своеобразного человека было хорошо известно в светских и церковных кругах, среди народа. Более того, Сильвестр был последовательным сторонником правительства регентства, не скрывавшим и не менявшим своих убеждений. Сравнительно недавно удалось обнаружить похвальную рацею (орацию, слово) царевне Софье, написанную Медведевым летом 1682 года, в самый разгар народного восстания в Москве, когда положение правительницы было еще очень шатко и неопределенно⁹. Слово содержало одну из лучших похвал царевне, которой искушенные панегиристы начали посвящать свои сочинения только спустя полгода, начиная с зимы 1683 года.

Медведев отмечал в Софье главное качество правителя — мудрость, непосредственно связанную с милостью и кротостью по отношению к подданным. Личные качества, доказывал автор, давали царевне преимущественное право на власть перед всеми земными правителями, она была богоизбрана для спасения Российского государства. Не советом множества царедворцев, которые как дома без окон, „мняще себя светом быти — тьма суть”, но собственным „богодухновенным” разу-

мом Софья должна была руководствоваться в государственной деятельности на общенародную пользу.

Морально поддерживая царевну в трудное для нее время, Медведев давал и практические советы, близкие ученице Симеона Полоцкого. Он предлагал быть щедрой — и Софья не жалела казны, чтобы „утишить” восстание без кровопролития. Он советовал поддержать патриарха Иоакима, неспособного дать отпор движению староверов и утратившего авторитет в народе, — и Софья взяла на себя защиту официальной церкви, несмотря на то что глава ее был одним из опаснейших политических противников регентства. Патриарх был спасен от уготованной ему расправы не потому, что Софья, не забывшая его участия в перевороте 27 апреля, или Медведев, уже столкнувшийся с Иоахимом как главным „мудроборцем” (борцом против просвещения), были наивными людьми. Просто они были способны смотреть дальше личного или сиюминутного интереса, исходить из более широкого понимания государственной выгоды: смута в церкви стала бы в то время крупной пробойной в днище государственного корабля, носимого бурными волнами народного гнева.

К этому надо добавить, что Медведев был, как сказали бы сейчас, идеалистом. Его поведение для обывателей и дельцов было малопонятно: оно слишком часто не было обусловлено личной выгодой. Правильнее всего было бы назвать Сильвестра интеллигентом (в русском понимании этого слова), но в исторической литературе относительно русских людей XVII века так выражаться не принято. Какие „интеллигенты” могли быть в „темной, непросвещенной стране”, где до ближайшего по времени „великого преобразователя” чуть ли трава не росла? К счастью, нас интересуют не термины, а реальные факты жизни ученого русского литератора.

Объявив Софью солнцем и светочем Российского царствия в тот момент, когда прочность ее власти была

весьма сомнительной, придворный поэт, казалось бы, ухватил судьбу за хвост. Уж он-то мог бы занять выгодную позицию среди восхвалителей, взявшихся за перо с изрядным опозданием. Медведев же не только надолго замолчал, но и оставил деятельность придворного стихотворца (продолженную его свойственником Карионом Истоминым). Лишь в 1685 году Сильвестр вновь обратился к Софье с панегириком: стихотворным „Вручением Привилея” Московской академии¹⁰.

Развивая идеи похвальной рацеи 1682 года, Медведев славил государственную премудрость царевны Софьи, которая

Веру, надежду, любовь сохраняет,
Милость, правду, суд цело соблюдает,
Мудрость, мужество и мерность имеет...

Царевна, по его словам, сама „дом еси Духа пресвятаго”; избранная господом среди людей за добродетели, она

Премудростию во вселенной славна,
В милосердии ко всем нам прехвальна,
Премудростию свыше предпочтенна...

Поспособствовав открытию Академии, явив в России „свет наук”, Софья, как писал Медведев, уподобилась бы святой княгине Ольге, явившей Руси „свет веры”. Но „Вручение” — не просто похвальные стихи царевне, которой господь дал дар правления царством и способность хранить его „от всяких бедств”. Сильвестр-панегирист осмеливается ставить царевне условия расширения ее славы и даже многолетия: это распространение наук, продолжение того дела, которое начал, но не успел „укрепить” ее брат царь Федор. Софья должна потрудиться,

Дабы в России мудрости сияти,
Имя ти всюду в мире прославляти...
Тебе бо слично науки начати,
Яко премудрой оны совершати.

Да за то дело славу улучиши
Во всем мире, и в небе жить будеши.

Учитывая, что в этот момент „постараться” над созданием Академии Софья по политическим соображениям не была расположена, „Вручение” трудно считать обычным панегириком. Еще сложнее приписать его автору корыстные цели. И впоследствии, в самое тяжелое время споров с патриархом, Сильвестр Медведев не старался заслужить расположение правительницы подобострастными похвалами.

Инициатива создания еще одного, последнего в биографии Сильвестра панегирика исходила не от него. Зимой 1689 года Федор Шакловитый принес ученому литератору большую политическую гравюру-плакат, изготовленную по заказу временщика. Фаворит Софьи хотел услышать авторитетное мнение о сложной символике гравюры: достаточно ли прославлена на ней царевна Софья. Медведев оценил плакат положительно и растолковал Шакловитому отдельные символические тонкости. После этого, задумав издать в марте того же года коронационный портрет царевны в царском облачении на фоне государственного герба, Федор Леонтьевич сразу обратился к Сильвестру. Тот охотно согласился поработать над композицией и отразить в подписи свое понимание политических заслуг царевны.

Софья Алексеевна была изображена на гравюре со скипетром и державой в руках, по типу хорошо известных в то время царских портретов в „Чине коронации” и титулярниках. На рамке вокруг портрета был выведен краткий титул „самодержицы”. Под портретом печатался полный царский титул и стихи о добродетелях, которыми царевна „царство аки седми столпы укрепила”. Медведев хвалил Софью за мудрое правление, победу над Московским восстанием и спасение церкви во время раскольничьего „бунта”, за

защиту границ царства и увеличение славы России, ставил русскую правительницу в один ряд с выдающимися государынями всемирной истории: Семирамидой, византийской царевной Пульхерией, английской королевой Елизаветой I. Гравированный портрет Софьи был уже не частным делом, это был политический акт против „петровцев”. Но и участие в такого рода акте официально не представляло криминала. За восхваление члена царской фамилии в 80-х годах еще не судили. Напротив, опасно было распускать язык, например, об отношениях царевны с канцлером: и в правление Нарышкиных, и позже таких болтунов хватали и наказывали по соответствующей статье Уложения 1649 года (оскорбление государевой чести). Только после стрелецкого восстания 1698 года и пострижения царевны Софьи в монахини под именем Сусанна Петр и его подручные дали волю своей ненависти к царевне и высказываться о ней положительно стало опасно¹¹.

Но шел еще 1689 год, Медведев честно выполнял заказ на гравюру, славящую правительницу. 28 мая он завершил еще одну заказную работу: Акафист (кондаки и икосы) преподобному Сергию Радонежскому, святому, символизировавшему единство и служение Московскому государству. Сочинение было написано „повелением богомудрыя и благоверныя великия государыни царевны и великия княжны Софии Алексеевны, всея Великия и Малыя и Белья России самодержицы”¹². Этот заказ был поручен Медведеву царевной не случайно, но он еще менее, чем названные выше сочинения Сильвестра, мог служить хотя бы формальным поводом для зачисления писателя в число „заговорщиков”. Мы видим лишь, что Медведев занимал определенную позицию относительно участников придворной борьбы, причем позицию внутренне глубоко мотивированную. Ее обоснование подробно и откровенно изложено в книге Медведе-

ва, ставшей одним из важнейших источников политической истории того времени — „Созерцании кратком”¹³.

„Созерцание краткое лет 7190, 91 и 92 (то есть 1681—1683 годы. — А. Б.), в них же что содеялось во гражданстве”, как и политические гравюры, не было должным образом оценено следствием по делу „заговорщика” Медведева. У следователей, стремившихся создать заговор, не было ни времени, ни желания вникать в содержание какой-то „книги летописной”, как осторожно назвал свой труд Сильвестр. Их интересовало, зачем Ф. Л. Шакловитый время от времени появлялся в Заиконоспасском монастыре и о чем говорил с Медведевым у него в келье? Сообщения об этих разговорах тщательно выбирались из показаний разных лиц. Комиссии очень хотелось верить, что именно там, за закрытыми дверями, рядом с Кремлем, и ковались злодейские планы. Ответ Медведева, что он с Шакловитым „говаривал о рацеех” (текстах к политическим гравюрам) и что „была у них написана книга летописная, начата с 90-го году, с правления великия государыни, и что было с того году”, никак не удовлетворял мастеров заплечных дел. Какая там книга — где же планы убийств?!

Между тем книга, замысел которой тщательно обсуждали Медведев и Шакловитый, была не просто летописью. Она представляла собой внутривнутриполитический манифест, посвященный взаимоотношениям между народом и государственной властью, излагала задачи и функции власти в условиях новой России, обосновывала стратегию и тактику правительства регентства (делая это с редкой для исторической монографии откровенностью). Недаром в центре повествования оказался прямой конфликт между верховной властью и народом: Московское восстание 1682 года. В то же время

„Созерцание краткое” — это и философское произведение.

Медведев подчеркивает во введении, что человек должен осваивать действительность с помощью разума. Как разум невозможен без памяти, так и общество в целом не может быть разумным без исторических знаний, которые дает письменная история, ибо незаписанное забывается и искажается. Впрочем, полезна только правдивая история, равно описывающая добро и зло, благие дела и преступления. Конечно, такая история опасна для автора, ведь люди всегда стремились к восхвалениям и не желают, чтобы потомки узнавали об их злодеяниях и заблуждениях; она тем более опасна, если речь идет о влиятельнейших людях государства, как это было в России в 1682 году. Но долг историка выше грозящих ему опасностей, он ни в коем случае не может отказаться от правды. „И аще Господь восхотел писанию сему быти — и никто отвергнути оное смеет!” — писал Сильвестр.

Уже во введении писатель четко поставил вопрос о праведной и неправедной власти. Первую представляют люди любого чина и звания, но избранные самим богом, вручившим им дарования правителей, главным из которых является забота о благе подданных. Оставить свои заботы и благополучие, чтобы послужить общему благу государства, — святая обязанность достойных людей. Иначе власть достается недостойным, губящим всех. Основные черты неправедной власти — угнетение и порабощение подданных, свирепость и несправедливость, погубившие немало царств. Такая опасность существует и в России, где уже нет иной альтернативы праведному правлению, чем революция: владычество „сеймов многонародных”, гибель вельмож и начальников, перемена законов и обычаев, как это происходило в других странах Европы. Для Медведева революция — это гибель государства, ибо ни он, ни Шакловитый, ни иные „новые люди”

не видели разницы между Россией и российским абсолютизмом.

Абсолютизм требовал равенства всех перед верховной властью. Медведев углубил этот тезис, утверждая равное право всех на власть исключительно в зависимости от личных способностей: „Кто же достоин в жизни сей ради разума и доброго его нрава коего сана или чина — да будет достоин!” Эта мысль подтверждается в „Созерцании” на примере государственных и церковных реформ царя Федора Алексеевича и особенно проведенного В. В. Голицыным „собора государевых ратных и земских дел”, отменившего местничество. Автор вкладывает в уста царя Федора евангельское запрещение „возноситься и над малым человеком”. Государство — это единый организм, все члены которого должны выполнять свои функции. Боярину следует заботиться о государственных делах для мирного и прибыльного процветания России. Воевода обязан достойно управлять воинством и побеждать неприятелей, воин — честно нести службу. Наконец, „подданный, в земледельстве трудяся, должный оброк господину своему да воздаст”.

Нарушение функций любого члена государственного организма крайне опасно, особенно если речь идет о „верхах”. Посему власть дается (в правильно организованном государстве) „по разуму, и по заслугам во всяких государственных делах бывшим, и людям знающим и полезным”. Последнее особо важно, и Медведев упорно доказывает, что в земной жизни „кого господь Бог почитит, благословит и одарит разумом — того и люди должны почитать и Богу в том не прекословить”. А как же родовитая знать? — вправе был спросить читатель. Если благородный, отвечал Сильвестр от имени царя Федора, скудостью ума, неправдой, своеволием и легкомыслием в развлечениях губит свое благородие — такой да „почитается от всех в злородстве”!

Таков был взгляд на отмену местничества самого Медведева и Федора Шакловитого, который говорил

в кругу товарищей, что лучше бы вообще избавиться от бояр, разве сохранив до времени одного Василия Васильевича Голицына. Но Сильвестр не был бы историком, если бы помимо собственного взгляда не изложил точно и достоверно ход и решения „собора государевых ратных и земских дел”, на котором Голицын провел военную реформу, заставившую детей высоких чинов государева двора начинать службу в регулярных частях. Объективное изложение событий показывает, что отмена местничества была второстепенным событием (о ней не упоминал в то время ни один из известных нам летописцев) и служила совсем иной цели — не снятию чиновных перегородок, а укреплению иерархической лестницы родовитости, которой и занялась специальная Родословная комиссия. Трудно сказать, сознательно ли Сильвестр столкнул идеал с реальностью укрепления позиций аристократии, но его дальнейший рассказ бросал прямое и бескомпромиссное обвинение „верхам”.

Когда бог, пишет он, хочет наказать страну, „тогда पहले отъемлет мудрых правителей и сострадателей человеком благих”. Если высокие начальники больше заботятся о своей корысти, чем о добром состоянии государства, то ждать нужно не прибыли, а разорения всей страны. Когда придворные бранятся между собой о селах, о достоинствах и прибылях, государству грозит междоусобие и смута, за которой следует гибель: достаточно малой искры, чтобы вспыхнул „великий пламень”!

Борьба за власть в „верхах”, алчность ее участников привели к нарушению важнейшей функции государственного организма: по поддержанию справедливости. Невозможно, писал Сильвестр, держать в мире „многое множество людей, не возмимев в судах правосудства!”. Не только в России, но и в других странах отсутствие правого суда вело к социальным катаклизмам. Ведь идея правого, равного для всех суда была одной из

центральных в идеологии абсолютизма, оказывала сильнейшее воздействие на массы, смыкаясь с вековой мечтой о справедливости. Но „верхи” России пошли еще дальше. Не выполняя свои государственные функции, они пытались держать народ в повиновении страхом, забыв вековую мудрость: „Бойся того, кто тебя боится, ибо кого бояться, того сообща ненавидят, а кого ненавидят — тому готовят погибель и всячески о том помышляют!”

„Право силы” — по Медведеву — не право. Даже народное восстание справедливо, если „верхи” не выполняют своих обязанностей милостиво и справедливо управлять страной. Сам „праведный правды хранитель Христос Спаситель” народным восстанием по заслугам воздаст тем, кто желает подданных „страхом единым в покорении имети”. Именно так и произошло в России. „Созерцание краткое” описывает справедливое возмущение народа „неправдами и нестерпимыми обидами” от начальников. Медведев прослеживает, как стрельцы, солдаты, горожане убеждались в невозможности добиться „правды” мирным путем, видели, как правительство покрывает народных притеснителей и неправедных судей. Переворот 27 апреля 1682 года сделал невозможной апелляцию даже к царю, ибо на престол был посажен ребенок. Не по буйству характера и не по склонности к беспорядкам, но видя, что „бояре завладели всем государством”, и ожидая постоянно „неправедного наказания и ссылки”, поднялись стрельцы и солдаты на вооруженную борьбу.

Нет, Сильвестр ни в коей мере не одобряет народного восстания и казней временщиков. Это возмездие, но возмездие ужасное, это закономерное следствие безумия власти, но следствие разрушительное для государства. Спасение России, по его мнению, могло прийти только от праведного правителя — и такой явился. Это была царица Софья Алексеевна. Медведев подробно рассказывает, как она выступила на политическую аван-

сцену в критический для „верхов” момент и заполнила собой вакуум власти, взяв на себя „великий труд” борьбы с восстанием, когда для этого не было реальных сил. Обширное и детальное повествование „Созерцания краткого” — это фактологическое обоснование идеи „власти по достоинству” и конкретного внутриполитического курса правительства регентства.

В вынужденно компромиссной политике Софьи и ее сторонников Медведев увидел внутриполитический идеал мирного, милостивого, кроткого управления подданными, основанного не на силе, а на мудрости верховной власти. Все сочинение призвано было показать бесперспективность „жесткого” курса внутренней политики и спасительность „мягкого” курса. Как историк, Сильвестр не мог, конечно, не заметить и не отразить в своем произведении использовавшиеся правительством регентства аморальные методы: обман, подкуп, казнь невинных Хованских и т. п. Но и это не раскрыло ему глаза на истинный, тактический характер „мягкого курса”, дававшего „верхам” передышку для накопления сил и нового, еще более ужасного „закручивания гаек”. Весьма вероятно, что Медведев был серьезно убежден в незначительности этих отклонений от нравственного императива по сравнению с действительно значительным результатом — достижением мирными средствами общественного согласия после столь мощного социального взрыва. Недавно выяснилось, что и сам он, декларируя правдивость своей истории, пошел на тщательно продуманный обман, введший в заблуждение многие поколения исследователей.

Сотрудничество с Шакловитым позволило Медведеву построить „Созерцание” на очень солидной документальной основе. Всемогущий временщик попросту изъясил множество документов из архивов Разрядного и Стрелецкого приказов, так что даже копии их зачастую

не осталось. Поэтому среди приведенных в „Созерцании” документов очень трудно было обнаружить подложный, составленный по всем правилам делопроизводства, но не в 1682 году, которым он датирован, а не ранее 1686 года. Речь идет о „соборном акте” избрания Софьи правительницей при двух царях в мае 1682 года, в разгар Московского восстания. В действительности такого избрания не было, а отмеченные в акте привилегии и права царевна приобрела только в результате упорной борьбы несколько лет спустя.

Смысл подлога ясен: Шакловитый и солидарный с ним в этом вопросе Медведев хотели укрепить права Софьи на власть, показать, что она правит по желанию народа, так же как и цари. На первый взгляд это был опасный шаг: не заметить „избрания” Софьи люди не могли и поэтому сразу же должны были усомниться в правдивости рассказа. Но во второй половине мая 1682 года в Москве оставалось довольно мало дворян и приказных людей (как помним, большинство их разбежалось в страхе перед восстанием). Недаром Медведев в предисловии к „Созерцанию” не без иронии отметил, что пишет о событиях, о которых все говорят, но мало знают, поскольку слишком многие тогда „в малом времени отсутствовали”.

Замысел подделки акта несуществовавшего земского собора был плодом тонкого политического расчета. Ведь и акт „всенародного и единогласного” избрания на царство Петра был подложным, поскольку ни собора, ни избрания в действительности не было. Да и „избрание” на царство Ивана было небезупречным, поскольку, согласившись посадить его на трон „первым”, главным царем, Боярская дума затем „исправила” свое решение и в соотвествующем акте представила царей равными. Так что обеим группировкам, как сторонникам царевны, так и „петровцам”, было политически невыгодно дезавуировать равно недостоверные акты, „утверждающие” права их ставленников на власть.

Можно предположить, что Медведеву этот обман представлялся вполне невинным: автор просто „рационализировал” историю, задним числом воздавал царевне Софье за ее действительно титаническую государственную деятельность весной — летом 1682 года, писал так, как, по его мнению, должно было быть „по справедливости”. Назвать это преступлением не могли позже и следователи. Конечно, нетрудно предположить желание придворных расчитаться с автором смелой историко-политической книги, которая немедленно после ее создания стала распространяться по Москве в рукописях. Но документы свидетельствуют, что члены розысчной комиссии 1689 года, издававшие приказы о поимке Сильвестра, не были знакомы с „Созерцанием кратким” и позже, когда Медведев упоминал о книге на допросах, не выказали к ней интереса.

Реальные политические взгляды Медведева и его публицистическая деятельность в поддержку власти царевны Софьи Алексеевны не могли учитываться и, что еще важнее, не учитывались при объявлении его государственным преступником № 2. Выбор его как подставной фигуры в политическом процессе Шакловитого с товарищами (с целью усилить представление публики о „зловещем заговоре”) тоже не кажется удачным. Сильвестр был широко известен как ученый публицист, далекий от придворных интриг и честолюбия. Он ни в коей мере не был помехой для захвата власти „петровцами”. В чем же дело? Какие мотивы руководили организаторами переворота августа — сентября 1689 года, бросившими Сильвестру страшные обвинения без всяких видимых оснований? Что привело еще одного русского писателя к палачу?..

Беглец



емная монашеская коляска, мягко покачиваясь на ременной подвеске, свернула с большака в дубовую аллею, ведущую к воротам Бизюкова монастыря, что в Дорогобужском уезде. За ней следовали расписные возки сопровождающих. Только когда в вечерних сумерках показались белые каменные ворота, старец Сильвестр почувствовал, как ослабевает напряжение, сковывавшее его в последние дни. Этот далекий монастырь был безопасен. Здесь игуменом был Варфоломей, которого Сильвестр приютил некогда в Заиконоспасском монастыре, отогрел лаской, со временем помог получить и должность. Варфоломей верен своему покровителю. Он ежегодно присылал о себе весточки с подарками: монастырским медом, грибочками и другими лакомствами. Здесь Медведев решил укрыться и переждать московское смятение, пока великие мира сего не выяснят свои отношения.

Оберегая покой Варфоломея, Сильвестр не сказал, что бежит от беды. Сказал только, что опасается святейшего патриарха, да Варфоломей и сам знал эту историю, тянущуюся не один год. Радушно встреченный игуменом, Сильвестр прошествовал в отведенную ему с Арсением келью, оставив своих спутников ужинать в обществе охочих до новостей монахов. Не впервые Медведе-

ву приходилось спасаться бегством в дальний монастырь. Вынужденное затворничество не пугало, но тревога, скрытая в глубине сердца, не проходила.

Когда-нибудь будущим книжникам, склонившимся над моими трудами, думал Сильвестр, и жизнь моя покажется гладкой, как строка в книге. Может, им и удастся узнать что-то обо мне, но трудно спустя долгое время разобраться в чужих бедах, подъемах и падениях, мучительных сомнениях и колебаниях. А может, ни строки не оставит всепожирающий костер наших инквизиторов, исчезнут выстраданные книги и останутся потомкам лишь лживые хулы, извергнутые на растоптанную память обо мне врагами. Видит бог, не моими врагами, но врагами разума!

„В царствующем граде Москве был некто, в монашеском образе, именем Сильвестр, прозванием Медведев. Родом тот от города Курска и вначале был писец гражданских дел, то есть подьячий. Во вся своя дни творил распри и свары. Неуч — мнил себя мудрецом. Язык свой изострил, как змеиный. Во устах его был яд аспидов, полон горечи и отравы. Ибо злоковарен был от юного возраста, многоречив, остроглаолив и любоприв... уста имея бездверна и из гортани изрыгая душегубительный яд всякого лжесловия и коварств. Язык имел столь неумолчно блядуць, что казалось все его тело превратилось в язык, как повествуется о некоей многоблядивой жене... К тому же этот Сильвестр от некоего иезуитского ученика приучился читать латинские книги. И от такого чтения книг, ...отступив от святой восточной церкви и от святейшего Иоакима патриарха, старался, по Божиему попущению, действием же дьявольским, догматы и предания святых апостолов и святых отцов, имеющих по чину восточной святой церкви, развратить и в латинство народ православный превратить. Что и сделал бы, если бы всемогущая десница

Всевышнего не предварила, и злоумышление его не разорила, и самого его не сокрушила...”¹⁴

Так на столетия был заклеимен Сильвестр Медведев, и историк за историком продолжал писать о „латинствующем еретике”, выступившем против истинно русского благочестия, против патриотического „старомосковского”, „великорусского” духовенства. Медленно, по крупицам скапливались в научной литературе факты его жизни, опровергающие злобные домыслы фанатиков, извлекались из архивов сохранившиеся свидетельства и документы, обнаруживались замечательные сочинения писателя. Немалый путь пришлось пройти специалистам, чтобы раздвинуть завесу ненависти „мудрборцев”, преодолеть завалы лжи и клеветы, представить наконец жизненный искус Сильвестра.

Судьба его первоначально была похожа на многие в новой России, России переломного времени, требовавшего и возносившего незаурядных людей. Он родился днем, в среду, 27 января 1641 года, первенцем в семье курского торгового человека Агафонника Лукича Медведева¹⁵. Колокола звали к обедне, когда Стефанида Медведева разрешилась от бремени. Сын был крещен Семеном. Семья молодого купца была небогата, но жила счастливо и самостоятельно, имела свой доход, дом на собственной (купленной, а не принадлежавшей городу) земле. За Семеном родились Дарья, Мария, Карп, Евдокия и Борис. Старший сын, как принято, взялся помогать отцу содержать семью: ездил на отъезжие торга, писал желающим прошения и деловые бумаги на городской площади (в этом не было ничего удивительного, ведь купцы и монахи были тогда грамотны примерно одинаково, на 70%). Южный город Курск, как и другие провинциальные русские города, еще не превратился в захолустье. В нем кипела жизнь, в чести была деловая хватка и инициатива, на городской площади сходились многие пути-дороги, уважение завоевывалось не пюзом и чином, а умом и делом.

На толкового 16-летнего парня обратил внимание проезжавший через Курск думный дьяк Разрядного приказа Семен Иванович Заборовский. „Сам” не погнушался пригласить Семена Медведева в поездку в Белгород, где базировались ударные части русских войск — прославленный при освобождении Украины Белгородский полк (фактически армия). Думный использовал Семена „для письма государевых дел” (он „разбирал” служилых людей) и, верный принципу тогдашних руководителей не разбрасываться способными помощниками, увез юношу в Москву, подъячим в один из важнейших приказов — Разрядный, славившийся своим училищем. Там Медведев прошел необходимую специальную подготовку и в январе 1659 года поступил в приказ Тайных дел, занимавшийся личными делами царя Алексея Михайловича, перспективными разработками (например, налаживанием производства шелка, выращиванием под Москвой южных культур, созданием нового оружия) и, конечно, делами секретными, тайными¹⁶.

Тем, кто представляет службу в личном приказе государя синекурой, придется разочароваться. Внешне служащие приказа Тайных дел выглядели импозантно. Царь Алексей Михайлович, небезуспешно стремившийся затмить блеском своего двора дворы иных владык Европы и Азии, был внимателен к внешности приближенных. Тайные подъячие, не говоря уже о дьяках, одевались из казны в соболиные шапки, черные кафтаны и длинные темные ферязи со множеством серебряных пуговиц, ярко-желтые сапоги тончайшего сафьяна и т. п. Но жалованье они получали небольшое, а молодые не получали денег вовсе. Обычай не платить младшим подъячим, чтобы они „кормились от дел”, существовал во всех приказах Российского государства, но тайные подъячие были в худшем положении. Их приказ почти не вел судебных дел — главного источника „кормления”

(путем помощи истцу и ответчику в состязательных процессах). Более пяти лет Медведев жил выдаваемым из казны „кормом” (продуктами), поддерживая себя тем, что мог иногда брать вместо причитающихся ему вещей деньгами. Служба молодого подьячего была напряженной. Имя Семена Медведева то и дело мелькает в документах самых разных приказов, куда он обращался с поручениями, а судя по частоте выдачи ему казенных „телятинных сапог” — они просто горели у подьячего на ногах.

К тому времени, когда Семен Медведев вошел в число тайных подьячих с денежным окладом 20 рублей в год (в апреле 1664 года), он не мог не видеть, что его административная карьера начата неудачно и что склонности к приказной деятельности у него нет. В самом деле: он пять лет добивался оклада, который обычно получали сразу*. Медведева больше влекли к себе книги, чем деловые свитки, и уединению библиотеки он отдавал предпочтение перед приказной суетой. Возможно, Семен не хотел огорчать отца, мечтавшего видеть сына большим московским начальством, но после его смерти сделал шаг, круто повернувший его судьбу. В 1665 году Семен Агафонникович Медведев поступил в училище выдающегося просветителя, плодовитого писателя и стихотворца Симеона Полоцкого, учителя царских детей: царевича Федора Алексеевича (будущего царя), царевны Софьи и других¹⁷.

Училище в Заиконоспасском монастыре, построенное на средства приказа Тайных дел, не было тем крупным образовательным институтом, о котором мечтал Полоцкий. Мало оказалось и желающих поступить в студенты. Кроме Семена Медведева, ставшего старостой училища и любимым учеником Полоцкого, студен-

* Ф. Л. Шакловитый, например, сразу получил такой оклад, которого Медведев ждал 10 лет.

тов было еще трое: два сына подьячего приказа Тайных дел Федора Казанца (которому поручено было организовать училище) — подьячие Дворцового приказа Семен и Илья, а также певчий с Украины Василий Репский. Подьячие все время обучения получали жалованье в своих приказах, куда после окончания училища и вернулись. Все они не удостоились за свою ученость каких-либо привилегий, но, напротив, отстали от своих коллег по службе. Тогда, как и не раз впоследствии, потребность в высокообразованных администраторах не ощущалась властями.

Неизвестно, что почерпнули для себя в училище Полоцкого другие, но Медведеву оно дало очень много. Он освоил курсы латинского, греческого и польского языков, грамматики, поэтики и риторики, истории, философии и богословия. Неординарные способности ученика, упорство, с которым он осваивал науки, жадность Медведева к новым знаниям, его острый критический ум привлекли Симеона Полоцкого. Обычно холодный и ироничный, трудно сходящийся с людьми царский учитель стал не только профессором, но и другом молодого подьячего. С этой поры до самой кончины старшего просветителя их теплые отношения не прерывались. Полоцкий нашел себе единомышленника.

Занятия в училище окончились зимой 1668 года, и Медведев должен был вновь приступить к работе в приказе, который платил за его обучение. Вероятно, Тайный приказ хотел получить чиновника для тонких дипломатических мероприятий (независимо от Посольского приказа). В то время тайные подьячие часто направлялись в посольства и штабы полководцев, чтобы лично информировать царя о событиях, а кстати, и следить за вельможами... Но Медведев был направлен в посольство с могущественным боярином Афанасием Лаврентьевичем Ординым-Нащокиным „для научения” и близко сошелся с этим умным и дальновидным политическим деятелем. Из Курляндии (где планировалось

провести несостоявшиеся переговоры с послами Швеции) Нащокин взял Медведева в Андрусово на сложные переговоры с Речью Посполитой об установлении вечного мира между соседними славянскими государствами (вечный мир в 1686 году удалось заключить В. В. Голицыну). Выдвинувшийся на административном поприще, Нащокин выделялся среди коллег творческим, смелым и строго логичным мышлением, склонностью не столько следовать обстоятельствам или инструкциям, сколько подчинять свою деятельность теоретической концепции¹⁸. И он, как и Симеон Полоцкий, особо выделил в своем окружении Медведева. Именно ему он поручил доставить царю Алексею Михайловичу отчет о дипломатических переговорах. С этим посланием Медведев в декабре 1668 года прибыл в Москву, где над его новым покровителем и наставником уже сгустились тучи.

Пламя придворной борьбы не сразу опалило Медведева: оно еще разгоралось во дворце, подспудно сжигая карьеры и репутации крупных политических деятелей. Семен Агафонникович получил даже двухрублевую прибавку к окладу на 1669 год, отслужил в приказе в 1670 году, а затем... оказался вдруг в далеком монастыре на южном рубеже, где бушевала необъявленная и непрекращающаяся война со Степью. Бегство Медведева из Москвы совпало с отставкой и пострижением в монахи Ордина-Нащокина. В те времена падение патрона еще не производило тех опустошений, к которым Россия будет приучена впоследствии: смена правителей крайне редко касалась подьячих, да и дьяков. Нам остается подозревать особо доверительные отношения между государственным деятелем и молодым ученым подьячим, настолько близкие, что Медведеву пришлось спешно проститься с административной карьерой и сделать все, чтобы в Москве забыли о его существовании.

Забыли все, кроме Симеона Полоцкого, не только не отвернувшегося от своего ученика, но и поддерживавшего Семена книгами и советами.

Переписка с Полоцким на многие годы стала главной связью Медведева с столицей, с внешним миром. Его опубликованные письма, даже без ответов Полоцкого (не жалевшего на них времени), составляют целый том¹⁹. Медведев, между прочим, старался узнать монашеское имя и место пребывания Ордина-Нащокина, но установить с ним связь ему, по-видимому, не удалось. Беглец из столицы жил в Путивльской Молчинской пустыни, добывая себе пропитание трудом монастырского садовника и письмоводителя, но не принимая монашеского обета, к чему упорно и последовательно склонял ученика Полоцкий.

Расхваливая монашескую жизнь с разных сторон, Симеон, между прочим, настойчиво подчеркивал, что лишь монах может полностью и серьезно отдаться науке и литературе. Мирская суета и особенно семейная жизнь этим занятиям противопоказаны. „Не будет мощно с книгами сидети. Удалит от них жена, удалят и дети, — писал наставник Медведева. — Ей, неудобно книги довольно читати и хотения жены в доме исполняти”. Действительно, в то время монашеский клубок был почти непременным признаком профессионального литератора. Но Семен Агафонникович, как он не раз писал учителю, не чувствовал призвания к монашеству, не был готов к жертвам, связанным с принятием пострига (характерно, что он принципиально отвергал мысль о возможном нарушении обета, позволившем некоторым его коллегам-литераторам сочетать монастырь с собственным домом в городе, даже с незаконной женой и детьми). Переписка Медведева с Полоцким говорит о жестокой внутренней борьбе, о неспособности начинающего писателя принять решение половиной души, стать на определенный путь до тех пор, пока верность этого пути не полностью принята умом и сердцем.

Четыре года Семен Агафонникович Медведев жил в монастыре бельцом, далеко от друзей и библиотек, получая нужные ему книги с оказией. Только в конце 1674 — начале 1675 года он принял постриг под именем Сильвестра и смог перебраться в Курский Богородицкий монастырь — ближе к своим друзьям, ближе к книгам. Близилось и время окончания негласной ссылки Медведева.

Мы не знаем и, вероятно, никогда не узнаем, какие дела связывали Медведева с А. Л. Ординым-Нащокиным, но вернуться в Москву он смог только после падения правительства А. С. Матвеева. Нащокин, подавший взошедшему на престол царю Федору Алексеевичу две записки о своей государственной деятельности, был прощен. Некоторые вопросы царь захотел выяснить у Медведева, весной 1677 года приехавшего в столицу и временно остановившегося у Симеона Полоцкого в Заиконоспасском монастыре. Беседа царя с Сильвестром состоялась в келье Полоцкого 17 июля. В письме к другу Медведев отозвался о ней очень осторожно: царь, по его словам, „меня о моем пострижении, и чего ради не захотел на Москве жить, сам расспрашивал милостиво; и, выслушав мой ответ, благоволил не единократно приказать мне жить на Москве и перед иными милостью пожаловал — приказал дать мне лучшую после отца Симеона келью”. Затруднения Медведева были, таким образом, разрешены, и он смог свободно предаться любимым ученым трудам.

Работая в богатой библиотеке Симеона Полоцкого, Сильвестр много читал (оставляя на книгах пометы и замечания), перевел немало сочинений своего учителя с латинского и польского языков, готовил к печати его труды, вел обширную переписку. Книгоиздание было важным пунктом просветительской программы Полоцкого и Медведева. Именно печатная книга должна была,

Царский
учитель
Симеон Полоцкий



по их мнению, дополнить деятельность московского университета (который предполагалось организовать), создать необходимый научный и культурный фон, нести „свет науки совершенной” в массы. Государева Печатного двора, находившегося под неусыпным контролем патриарха Иоакима, было, по их мнению, недостаточно для обеспечения государства нужными книгами. К приезду Медведева в Москву Полоцкому удалось добиться согласия царя на создание особой, Верхней (то есть дворцовой) типографии, не подотчетной церковным властям²⁰.

Типография создавалась как крупное предприятие, оснащенное шестью станами высокой печати (на Печатном дворе их было 12), новейшим станом для выпуска офортов с медных матриц (отсутствовавшем на Печатном дворе до начала XVIII века), с большим штатом печатников, должностями редактора, администратора, с особым приказом Верхней типографии. Развернуть ее работу оказалось непросто. Мало было преодолеть бешеное сопротивление „мудроборцев” во главе с патриархом Иоакимом, который даже проклял оптом все выходящие „без благословения” книги. Мало было привлечь к сотрудничеству выдающихся художников, таких, как Симон Ушаков, гравированные картинки и заставки которых не только украшали книги, но и продавались отдельно, принося типографии хорошую прибыль. Сами издатели должны были приобрести профессиональную квалификацию, на практике овладеть секретами и тонкостями издательского дела.

За опытом Медведев обратился на государев Печатный двор, который, несмотря на ограничения, упорно трудился над просвещением России. В ноябре 1678 года, минуя должности книжного „чтеца” и „писца”, Сильвестр стал старшим редактором — справщиком Печатного двора (а еще через год — старшим справщиком с более высоким окладом). Десятилетие его работы в главном издательстве страны ознаменовалось выходом более чем 150 изданий. В их числе различные азбуки вышли тиражом более чем 34 тысячи экземпляров, учебные псалтыри — более 12 тысяч; издана была арифметика, ряд публицистических произведений и множество канонических книг. Освоив богатый опыт справщиков Печатного двора, Сильвестр внес в него собственный вклад, особенно в методику перевода и исторической критики текста. С его именем связывают также зарождение славяно-русской библиографии²¹.

„Невероятным событием”, „неслыханным новшеством” для России называют исследователи работу Верх-

ней типографии, в которой Медведев играл основную роль. *Бесцензурная* литература в XVII столетии: учебная, дидактическая, беллетристическая — отечественная и переводная, прозаическая и поэтическая — выходящая крупными тиражами и в блестящем оформлении (не уступающем голландскому). Думаю, сказанного достаточно, чтобы оценить подвиг Симеона и Сильвестра.

В это время ярко проявился поэтический талант Медведева. Развивая применительно к богатствам русского языка стихотворный метод Полоцкого, он создает обширные поэмы, придворные „приветства“, „плачи“ и эпитафии². Благодаря его усилиям стихотворные орации, предназначенные для публичного чтения на придворных праздниках и затем оформлявшиеся в виде книг, становятся важной формой публицистики. Вслед за учителем Сильвестр настойчиво пропагандирует в стихах убеждение, что государственная и общественная польза является главным критерием оценки достоинства политического деятеля. Просвещение страны, развитие национальной науки выдвигается в его стихах на первое место среди прочих добродетелей и заслуг самого царя. И это не случайно. В конце 1670-х годов просветители готовили решительный штурм „тьмы невежества“: в Москве должен был открыться университет, или, как тогда говорили, Академия²³.

Борьба за Московскую Академию развернулась давно. Еще на большом церковном соборе 1666—1667 годов в Москве Симеону Полоцкому удалось организовать ряд авторитетных выступлений в пользу „училищ“. Митрополит газский Паисий Лигарид, александрийский патриарх Паисий и антиохийский Макарий заявили царю и „всяких чинов людям“, что „нестроения“ в церкви проистекают именно от невежества, от отсутствия солидных учебных заведений и общедоступных библиотек. Для пользы церкви и самого государства ораторы

призвали открыть в России училища на славянском, греческом и латинском языках. Казалось, победа была близка. В 1668 году летом Симеон Полоцкий получил две грамоты — от восточных патриархов и от Иоасафа, патриарха московского и всея Руси, — благословляющие создание в стране высших училищ „свободных учений” на славянском, греческом и латинском языках. Страшные проклятия изрекали патриархи тем „учений ненавистникам, завистникам и пакостителям”, которые попытаются препятствовать этому святому делу.

Но позиции противников просвещения, метко окрещенных в XVII веке „мудроборцами”, были еще очень сильны. Не пугаясь проклятий высших православных иерархов, они не только воспрепятствовали основанию в России университета, но и добились закрытия даже маленького училища Симеона (в котором, как мы помним, учился тогда Сильвестр). Благородное дело вновь было похоронено на долгие годы.

Приход к власти ученика Симеона Полоцкого — царя Федора Алексеевича — и поддержка вернувшегося из негласной ссылки Медведева вдохнули в Полоцкого новые силы. Слух о том, что русское правительство намерено открыть в Москве свой университет, прошел в 1679 году и по окрестным странам. Видя осуществление планов просветителей, „мудроборцы” не могли больше отмалчиваться. Что могли они противопоставить проекту университета? Как обычно, обвинение в ереси.

Как по команде Москва стала наполняться пасквилями на латинский язык — международный язык науки того времени. Славяне не должны изучать латынь и читать латинские книги, утверждали противники просвещения, иначе народ неизбежно „напитается ядом ереси латинския”, погибнет исконное благочестие, рухнут устои. Иерусалимский патриарх Досифей в своих посланиях московскому патриарху Иоакиму разражался страшными угрозами читателям книг по-латыни, при-

зывая книги сжечь, а укрывателей их казнить. На словах признавая истину, что „ученье — свет, а неученье — тьма”, „мудроборцы” требовали ограничить науки изучением греческого языка и чтением книг по-гречески. Учиться у благочестивых греков, которые всегда были и должны оставаться образцом для Руси, невзирая на то что у самих „греков” (православного духовенства на Востоке) в это время не было своих университетов, а значительная часть „благочестивых” книг издавалась в католических и протестантских типографиях на Западе, — такова была позиция отечественных „грекофилов”.

Конечно, и это был шаг вперед со стороны консервативных сил. „Греческие” учителя, особенно окончившие западноевропейские университеты, могли помочь русским ученикам овладеть основами схоластических знаний, расширить их представления об античном ученом наследии. Но этот шаг был сделан в условиях набирающей силу научной революции XVII века, круто менявшей представления о мире, способах и возможностях его познания. Следовать пути, предложенному (причем вынужденно) „мудроборцами”, значило лишь закрепить отставание России в области наук на позициях, уже пройденных Западной Европой. Не напрасно, совсем не напрасно противники просвещения постоянно требовали „угасить малую искру латинского учения, не дать той раздмиться и воскуриться, да не пламень западного злоумысленного мудрования, растекшись, попалит и в ничто обратит православия восточного истину!” Каким образом приобщение России к достижениям научной революции могло „попасть” истину православия, „мудроборцы” не объясняли. Для них важно было одно — связать науку с ересью — и „не пушать!”

В это сложное время скончался Симеон Полоцкий, завещав „единомудрому себе в науках Сильвестру Медведеву, ученику своему” собрание рукописей, библиотеку и миссию борьбы за просвещение России. Медведев

с честью принял на себя обязанности Полоцкого как придворного поэта, настоятеля Заиконоспасского монастыря, передового бойца с „мраком невежества”. При поддержке царя Федора Алексеевича Сильвестр смог вновь открыть училище в Заиконоспасском монастыре, уже не для четырех, как при Симеоне, а для нескольких десятков учеников — исходную базу для будущего университета. Просвещенный монарх настолько близко сошелся с ректором славяно-латинского училища, что даже писал ему собственноручные записки (дело по тем временам невиданное). Зимой 1682 года царь Федор сделал еще более решительный шаг, утвердив своей подписью подготовленный Сильвестром Медведевым документ об основных принципах организации и деятельности первого московского университета.

Привилей (документ о принципах организации) Московской Академии до настоящего времени является замечательным памятником борцам за просвещение России в XVII столетии. Ряд заложенных в нем идей и сейчас сохраняет актуальность. Первое высшее учебное заведение России должно было быть максимально автономным, независимым ни от каких соображений и требований, кроме научных и просветительных. Помимо дотаций из казны Академия имела собственные источники доходов (земли, монастыри, пожертвования). Она управлялась выборным ученым советом, избиравшим из своей среды ректора и самостоятельно определявшим учебную программу. Совет без участия церковных властей решал, является ли какое-то положение или направление еретическим, а если является — в какой форме ему противостоять. Не менее серьезно наука защищалась и от светских властей. Студента нельзя было не то что забрать в армию (или еще куда-либо), но даже судить: суд осуществлял академический совет. В случае тягчайшего уголовного обвинения лишь совет мог раз-

решить арест студента. Студента из податных сословий (крестьянина или горожанина) нельзя было преследовать за долги или недоимки, так как это могло помешать учению! Содержались студенты на средства Академии.

Целью Академии были подготовка просвещенных деятелей русского государства и церкви и развитие национальной науки. Врата Академии распахивались перед представителями всех сословий и национальностей Российского государства без ограничений. Правда, прием на службу иностранных преподавателей ограничивался вероисповедными соображениями. Всем им становились доступны любые факультеты и царская библиотека. Особое внимание Медведев уделил правам выпускников Академии, закрепляя за ней важное место в государственной системе.

Согласно утвержденному царем Федором Привилею, все выпускники Академии, избравшие светскую карьеру, независимо от их происхождения, будут „милостиво пожалованы в приличные чины их разуму”. Диплом выпускника Академии должен был стать пропуском к высокому государственному положению. Более того, царь обещал не жаловать придворных чинов (стольников, стряпчих и т. п.) никому, кроме юношей знатнейших фамилий, выпускников Академии и лиц, совершивших выдающиеся военные подвиги. Независимость Академии от патриаршего престола влекла за собой некоторую сомнительность будущего положения выпускников, стремящихся проявить себя на духовном поприще, тем более что позиция Медведева в вопросах просвещения резко расходилась с позицией главного „мудроборца” патриарха Иоакима Савелова, печально прославившегося кострами для „еретиков”, преследованием передовой мысли и неумным властолюбием.

„Мудроборцы” утверждали, что „вся славянна по природе народа своего омерзается от учения и худо-

жества немецкого” (то есть иностранного). Медведев видел в этом клевету на славянские народы. Он отнюдь не приветствовал бездумное заимствование чужой моды, нравов, обычаев, ведущее к расточительству и даже разорению государств. Сильвестр признавал необходимость защиты православия от „повреждений” со стороны католической и протестантской пропаганды, сам выступал против назначения в университет преподавателей, чья вера была сомнительной. Но против идеи культурного и научного изоляционизма просветитель боролся бескомпромиссно.

Согласно Привилею, в учебную программу университета обязательно включались славянский, латинский и греческий языки, все основные гражданские и духовные науки, начиная от грамматики, поэтики, риторики, математики, астрономии, геометрии, диалектики, логики — до метафизики, этики и богословия. По примеру других университетов Европы в Москве должны были изучаться светская и церковная юриспруденция, медицина „и прочие все свободные науки, ими же целость Академии... составляется”.

„Не подобает верным прельщаться через философию”, — утверждали „мудроборцы”. Русским, по их мнению, вполне достаточно начальной школы на греческом языке и с греческими учителями, чтобы правильно понимать и переводить православную церковную литературу с Востока, а не „забавляться около физики и философии”. Нет, отвечал Медведев, россияне во всем могут и должны иметь свое разумение. Именно национальная наука и высшее образование для всех, желающих приобщиться к „свободным мудростям”, есть источник силы и славы государства. Только собственными учеными людьми, только знанием „все царства благочинное расположение, и твердое защищение, и великое распространение приобретают!”

Автор Привилея, готовившийся стать ректором первого московского университета, но вынужденный оказаться вновь жалким беглецом, скрывающимся от врагов в далеком Бизюкове монастыре, понимал, что не политические его взгляды, а именно конфликт с „мудроборцами” стал причиной жестоких преследований. Еще не зная, сколь страшные обвинения будут ему предъявлены, еще до того, как следственная комиссия в Троице начала стряпать „заговор Шакловитого и Медведева”, Сильвестр понял, что судьба его решена. Патриарх Иоаким, посланный Софьей в Троице-Сергиев монастырь для мирных переговоров с ее братом Петром, явственно выступил на стороне „петровцев”, оказался среди победителей. Его вклад в ниспровержение правительства регентства был столь велик, что ему не составляло никакого труда испросить у царя головы своих противников. Медведеву оставалось только бегство.

Достаточно хорошо представляя методы „мудроборцев”, Сильвестр, по его собственным словам, из Москвы „побежал августа против 31 числа от страха: опасался того, что святейший патриарх так же бы великому государю на него каких слов не принес”. Этот мотив — страх перед патриархом — подтверждают и другие участники событий. Действительно, клеветнические обвинения против Медведева были добыты розыскной комиссией в Троице только 30—31 августа, и знать об их содержании глава Заиконоспасского монастыря не мог. Ловить его начали только через день после бегства, 1 сентября.

Заблаговременное бегство обвиняемого его противники, разумеется, максимально использовали. Розыскная комиссия постаралась представить это как признание им своей вины, то есть что „он, Сенька, ведая свое воровство, с Москвы побежал”. „Мудроборцы”, по обыкновению, пошли еще дальше, яркими красками живописуя в своих сочинениях картины злодейских за-

мыслов: „Злоковарники, — по их словам, — мыслящие кровь невинную пролить, видя свою злобу и лезть от Бога обличенную и явленную, врозь предались бегству. Тогда Медведев с некими единомышленниками своими, солгав церквы православной в вере, царскому же пресветлому величеству изменив, как прежний лжемонах расстрига Гришка Отрепьев, побегал в Польское государство, желая ничего иного, только смущение воздвигнуть, и на православную нашу веру восточного благочестия брань возставить от римского костела, и всему благочестивейшему Российскому царству некое зло сотворить”. „Бежал в Польское государство ради измены и смущения между государствами” — коротко суммировано в другом мудроборческом трактате²⁴.

Обвинения эти характеризуют более противников Медведева, чем его самого. Первоначально Сильвестр с сопровождающими его стрельцами Гладким и Стрижовым, певчим Лаврентием Бурмистровым и его братом Андреем, Михаилом Гульским и двумя работниками поехал в принадлежавшее Новодевичьему монастырю село Микулино. Там, в семи верстах от Москвы, он хотел дождаться окончания схватки „в верхах” и явиться после того, как утихнут политические страсти. Но 2 сентября из Заиконоспасского монастыря приехал Сильвестров келейник Арсений с тревожными вестями. Обыск в монастыре, явный гнев патриарха, слух о том, что Медведева разыскивают по обвинению в „заговоре” вместе с Шакловитым, — все это заставило ученого старца искать более надежное убежище.

Маневры Сильвестра восстановить трудно, но первоначально он, видимо, примкнул к свите донского архимандрита. Затем, запутывая след, в объезд Можайска, где могла быть засада, поехал на Верею. Маскируясь, путники „Вязьму проехали ввечеру и едучи ни с кем никаких слов не говаривали”. Интересно, что сыщики так и не обнаружили следов этой поездки Медведева. Он сам и все его спутники считали Бизюков монастырь

конечной целью бегства и отнюдь не помышляли об уходе за рубеж. Западная граница тщательно охранялась, особенно по Можайскому тракту. Кстати, она была довольно далеко: до нее пришлось бы пересечь часть Дорогобужского и весь обширный Смоленский уезд. Но для „мудроборцев”, плывших к Сильвестру Медведеву лютой ненавистью, таких „деталей” не существовало.

К чести „старца великого ума и остроты ученой” (как называли Медведева почитатели) надо сказать, что он в полной мере заслужил эту ненависть. Мирный и добродушный человек, не переходивший на личности даже в самом ожесточенном споре, оказался камнем преткновения для авторитарной власти патриарха. Настолько твердо, последовательно, талантливо защищал он свои позиции, что ни авторитет патриарха, ни анафемствование и клевета, ни ушаты грязи, выливаемые на просветителя, не спасали „мудроборцев”, терпевших в глазах „всенародства” поражение за поражением.

За право рассуждать



нициаторами полемики о церковном ритуале, нанесшей мощный удар по позициям „мудроборцев”, выступили сами „мудроборцы”, забывшие мудрый совет не рыть яму другому, чтобы самому в нее не попасть. Самое любопытное, что и они не собирались затевать споров: рассуждения не были их методом полемики. „Мудроборцы” затевали всего лишь провокацию для искоренения гидры рационализма и учености, угнездившейся в российском духовенстве. Не их вина, что времена изменились, изменились люди, и в ходе сражения нападающие оказались не столько сражающимися, сколько сражаемыми. Впрочем, и провокация имела, если так можно выразиться, вынужденный характер.

Ничего подобного не требовалось, пока противоборствовать просветителям можно было обычным силовым путем. Смерть царя Федора и начавшееся в Москве народное восстание задержали осуществление проекта создания Академии, устав которой царь утвердить не успел. А по окончании бурных событий в столице царевна Софья, в соответствии с советом Медведева выступившая в ходе восстания на стороне патриарха Иоакима против староверов, вынуждена была поддерживать важные для политического равновесия мирные

отношения с патриархом. Укрепляя свою власть, идти против воли Иоакима правительство регентства не желало. В результате Верхняя типография была разгромлена, большая часть ее оборудования перешла на Печатный двор. О проекте Академии правительство надолго забыло. „Мудроборцы” торжествовали.

Однако в начале 1685 года, когда положение царевны Софьи у власти значительно укрепилось, Сильвестр Медведев перешел в новое наступление. 25 января он подал правительнице отредактированный и усиленный Привилей со стихотворным Вручением (о панегирической части которого уже говорилось). В стихах Медведев со всей определенностью сказал царевне, что пришло время довершить начатое братом дело, несмотря на все препятствия. Россия более не может хранить „темноту невежества”, как человек не может быть без пищи, вода течь без уклона, тело жить без души. Как без глаз видеть ясный день — так человеку разумному нельзя быть без учения, государству — без наук.

Тьма, мрак без солнца —	без мудрости тоже,
Тобою (Софьей) ону	утверди в нас, Боже,
Дабы в России	мудрости сияти,
Имя ти всюду	в мире прославляти.
И понос от нас	хощеши отъяти,
Яко Россия	не весть наук знати.
Егда же от тя	току просветится —
Вся вселенная	о том удивится!

Не имея решающего влияния на политическую власть, „мудроборцы” пришли в великое беспокойство: а ну как царевна не откажет своему соученику и давнему доброжелателю, вдруг она действительно решится стяжать лавры новой княгини Ольги?! Следовало спешить, и приехавшие весной того же года в Москву братья Иоанникий и Софроний Лихуды (греческие монахи, учившиеся в Венеции и Риме)²⁵ были немедленно пущены в дело как выдающиеся авторитеты в области православного ритуала. 15 марта 1685 года Ли-

худы выступили с мнением о евхаристии (пресуществлении святых даров), идущим вразрез с традицией русской православной церкви. Сильвестр немедленно откликнулся трактатом, в котором разъяснял широкому читателю спорный вопрос. Промолчать он не мог — Лихуды были вызваны патриархом в Москву, чтобы возглавить греко-славянские школы, которые по замыслу „мудрборцев” должны были подменить собой Академию. Как выяснилось позже, „подбил” Лихудов на это выступление Евфимий Чудовский — особо приближенный к патриарху „грекофил”, — точно рассчитавший реакцию своего идейного противника. Правда, как это часто бывает с „мудрборцами” разных времен и народов, в выборе предмета спора Евфимий сильно ошибся. Впрочем, он и не собирался спорить — он хотел обличать и искоренять противников.

Читателю необходимо хотя бы в общем виде ознакомиться с предметом спора, чтобы лучше оценить ситуацию. Речь шла всего лишь об одной детали ритуала, связанной с таинством пресуществления хлеба и вина в тело и кровь Христову, а именно: в какой точно момент литургического действия это сокровенное превращение совершается? Ранние христиане, увлеченные центральными идеями вероучения, да и современный широко мыслящий верующий не придали бы значения такому вопросу: в конце концов, речь идет о таинстве, не поддающемся разделению. Но в определенные столетия (особенно в период научной революции, охватывавший часть XVI и XVII век) схоластическое богословие и массы верующих воспринимали мельчайшие детали ритуала как предмет, требующий огромного внимания, анализа и кодификации. Эти детали, их понимание были предметами ожесточеннейшей борьбы во всех христианских странах, не исключая и Российского государства.

Во время таинства евхаристии в ходе литургии верующие должны, как известно, осенять себя крестным знамением и совершать поклоны. В России момент пресуществления подчеркивался благовестом: колокола позволяли приобщиться к таинству и людям, находящимся вне храма. Таким образом, момент пресуществления оказался достаточно заметной деталью ритуала, заинтересовавшей с началом споров широкие круги верующих. Надо сказать, что до начала полемики вопрос о времени пресуществления был довольно ясен: считалось, что оно происходило при чтении слов Христа, обращенных к апостолам во время Тайной вечери: „Приимите, ядите... пейте от нея” и проч. Это было зафиксировано в решениях Флорентийского (1439 года) и Тридентского (XVI век) соборов и указывалось в чинопоследованиях католической мессы. Греческие и русские служебники, как правило, не делали таких указаний в православной литургии, но в некоторых рукописях XV и XVI веков поклоны после слов Христа уже отмечались.

С началом богословского изучения славянского чина литургического действия в первые годы XVII века на Украине появляется множество печатных трудов, содержащих соответствующие указания. В Великой России поклоны „на слова Христовы” предписываются в „соборно” утвержденных служебниках московского Печатного двора 1651, 1652 и 1655 годов, в служебнике патриархов Иоасафа московского, Паисия александрийского и Макария антиохийского и в изданной от их имени книге Симеона Полоцкого „Жезл правления” (1666 год), в архиерейском чиновнике патриарха Иоакима (1677 год) и изданном под его благословением „Типиконе, или Уставе церковном” (1682 год). Соответствующий ясный ответ получили французские иерархи (запрашивавшие мнение русской церкви в связи с полемикой между католиками и гугенотами) во время официальных консультаций 1666—1669 годов

в Москве и Париже. Такого мнения держались видные деятели старообрядчества Никита Пустосвят и дьякон Федор. Наконец, во время коронации Ивана и Петра (1682 год) цари били поклоны после слов: „Примимте, ядите...”

Казалось, вопрос не мог вызывать сомнений. Однако существовала и другая точка зрения. Еще в XIV веке константинопольский патриарх Филофей пытался ввести в литургию Иоанна Златоуста молитву священника о ниспослании святого духа на святые дары. Позже появились сторонники мнения, что таинство евхаристии совершается только после последних ее слов: „Преложив Духом твоим святым...” Именно эту версию привезли с собой Лихуды. Правда, соответствующей молитвы не было не только в большинстве русских рукописных служебников, но и в древнейших списках литургии Златоуста (VIII века), а сами „совершенные слова” новой евхаристии отсутствовали в литургии Василия Великого, служебниках Антония Римлянина, Варлаама Хутынского, митрополита Киприана и более поздних (XIV—XV века): они появились только во второй половине XVII века.

Это-то и было на руку „мудроборцам”. Все образованные служители русской православной церкви, имевшие неосторожность уповать на собственное рассуждение, не могли не указать на ошибочность мнения Лихудов и... выступить против авторитета стоящего за их спиной патриарха. Рационалисты от богословия оказывались словом свьше еретиками, впавшими в „хлебопоклонную ересь” — то есть поклоняющимися хлебу и вину, которые якобы еще не превратились в тело и кровь Христову. Нелепость? Не спешите улыбаться, уважаемый читатель, вспомните распространение фантастических идей Лысенко и жесточайшее уничтожение тех, кто придерживался значительно более рациональных взглядов в генетике, кибернетике, педагогике, языкознании и т. д. Не забывайте и более поздние торжества

псевдоразумных концепций нашего просвещенного века. Провокация „мудроборцев” должна была дискредитировать саму идею рационализма, показать, что даже в высшей науке того времени — в богословии — указание „греческих учителей” важнее всех мнений и доводов отечественных ученых мужей. Это был скорее зловещий, чем смешной замысел. И разыгрывался он как по нотам.

Вопрос о времени пресущствления святых даров был поднят Лихудами во время их диспута с Яном Белободским в присутствии придворных. Изложенная с большим апломбом позиция греков вызвала немало толков и заставила Медведева написать „Хлеб животный” — книжечку вопросов и ответов, в которой он мягко, „христианский ради общеверительных пользы душе” разъяснил смысл таинства евхаристии²⁶.

„Мудроборцы” распространили книжку Евфимия Чудовского с характерным названием: „Показание на подверг латинскаго мудрования, подвергаемый под святую восточную православную церковь”. Автор книги обрушил на Медведева поток отборной брани и обвинил его в еретичестве. Замысел „мудроборцев” основывался на том факте, что по вопросу о пресущствлении позиции русской православной церкви не расходились с католическими. Раз Сильвестр защищает традиционное мнение русского духовенства, значит, он за католиков! Евфимий использовал это нехитрое полемическое построение, чтобы вызвать недоверие к оппоненту читателей, воспитанных на образе врага-католика.

Мнение Медведева — „яд ереси латинския”, а сам он — „иезуит или униат”, писал Евфимий. Чтобы оригинальность такого отзыва о главе московского православного монастыря не слишком бросалась в глаза, Евфимий категорически заверил читателей, что мыслей, подобных высказанным Сильвестром, „никогда цер-

ковь святая восточная не имела и не имеет”. Бессовестность автора, рассчитанная на совершенно некомпетентного читателя, поразительна: ведь сам Евфимий утверждал опровергаемое им мнение в „Воумлении священныхкам”, вышедшем сравнительно недавно по благословению патриарха Иоакима!²⁷ Не лучше выглядела и положительная аргументация грекофильствующего „мудроборца”. Евфимий ограничился утверждением, будто его правота подтверждается „инде написанными свидетельствами самих святых отцов, восточных учителей”. Каких отцов и учителей — не указывалось. Стоит ли напрягаться в споре с еретиком и иезуитом?! Тем более что брошенные в адрес Сильвестра обвинения и так оказали свое действие: его обращение к правительству по поводу Академии осталось без ответа.

Ободренный удачей (и, вероятно, обеспокоенный успехами царевны Софьи, к которой „мудроборцы” питали стойкое недоверие), Евфимий осенью 1687 года продолжил обличения. Вопрос о таинстве евхаристии он считал уже решенным в своем „Показании” — теперь предстояло исследовать „корни и нити”. Откуда пошла ересь? — задавал себе вопрос Евфимий и, в неувыдаемом жанре доноса, объявил еретическими все украинские богословские сочинения со времен Петра Могилы (1645 года). Утвердившаяся на века концепция Евфимия убеждала, что „латинское” мнение о пресуществлении „вошло во многих” москвичей только после воссоединения Украины с Россией, а до того „всего Востока все народы православно-христианские” его не ведали. Отметим, что автору пасквиля ничего не стоило исключить украинцев из числа „народов православно-христианских”, а православно-духовенство Украины, столь упорно боровшееся с католической экспансией и идейно поддерживавшее участников освободительной войны, объявить агентами иезуитов! Впрочем, агентами иезуитов стали в книге Евфимия и московские сторонники просвещения, на-

чиная с Полоцкого и Медведева. Обвинение было создано.

Памятуя, с какой легкостью навешиваются на Руси идеологические ярлыки и сколь трудно от них избавиться, читатель не удивится результативности столь голословных обвинений. К концу 1687 года „мудроборцы” смогли ликвидировать славяно-латинское училище Медведева, а на его месте в Заиконоспасском монастыре, там, где планировалось открытие Московской Академии, устроить „греческие”, или „елленославянские, школы” братьев Лихудов. И по программе, и по статусу „школы” напоминали проект Академии не более, чем бурса — университет. Несмотря на то что в парадном зале новоявленного учебного заведения был выставлен портрет царя Федора Алексеевича, а пожертвование на школу удалось получить даже от князя Василия Голицына, „мудроборцам” удалось обмануть лишь позднейших историков, но не современников. Не только посторонние, но и столь близкие к патриарху люди, как чудовские монахи-летописцы и его личный секретарь Карион Истомина, отказывались принимать школу за Академию²⁸.

Особые меры предпринимались церковными властями по отношению к „еретику” Медведеву. Некие „знаменитые от духовных лиц” поносили его позицию „при честных людях”. Ему запрещалось, и неоднократно, излагать свое мнение публично; „от начальных духовных” раздавались угрозы; в правительство поступали доносы — и все для того, писал Сильвестр, „чтобы меня тем смиря, от того со Христом о пресуществлении держания страхом отвратити”. Не только от начальства, но и от „человекоугодников” Медведев вынужден был „велию нужду терпети”. Но страх и притеснения не сломили просветителя и не заставили его пользоваться тем же оружием, что и его враги. На клевету писатель ответил капитальной монографией, ясно и четко толкующей спорный вопрос.

„Книга о манне хлеба животного”, насчитывающая в рукописи 718 больших страниц, была написана на одном дыхании, с ноября по декабрь 1687 года. Она столь основательно разоблачала признанное патриархом мнение о пресуществлении, что даже в конце XIX века издание полного текста книги оказалось затруднительным. Медведев тщательно рассмотрел сотни источников, давая ссылки на цитированные книги отцов церкви и богословов Востока и Запада.

Книга Медведева разительно отличалась от „тетрадей” Евфимия. Тот (с помощью братьев Лихудов) пытался придать сочинению лишь видимость учености, рассчитывая, по словам современника, на то, что „народ здесь неученый, а неученые люди и неистину почтут за истину, если ее украсить цветами красноречия и доводами философии”. Сильвестр же писал: „Забываясь об одной истине, а не премудрыми словесами украшаясь”. Книга Медведева была „ради удобнейшего всем людям понятия или уразумения просто написана”.

Словесные красоты могли лишь затуманить предмет спора, ибо речь в книге Медведева шла о достаточно сложном предмете: о методе выяснения истины. Сильвестр старался показать пример точности и последовательности в использовании древних текстов, пройти весь путь рассуждений вместе с читателем, чтобы тот мог лично убедиться в правильности всех заключений, а при сомнении — проверить автора, обратившись к точно указанным первоисточникам.

Евфимий и изустно поддерживавшие его церковные иерархи старались не вдаваться в аргументацию Медведева — он же, напротив, разбирает каждое их положение. Перед читателем открывалась печальная картина: ложные ссылки на авторитеты, неверные переводы и грамматические искажения цитат, „выдергивание” из источников подходящих кусков то из начала, то из конца, а то и из середины фразы. Многие из этих методов, применявшихся „мудроборцами”, знакомы совре-

менному читателю и по литературе нашего времени: их живучесть поразительна. Тем более важно отметить, что борьба за правильное использование источников, за толкование мнений разных авторов „праведно, как они в своих книгах писали”, велась в России уже в XVII столетии.

Особое внимание Сильвестр Медведев уделил такому известному по сей день приему сокрытия истины, как выведение спора из рациональных рамок в сферу идеологической конфронтации. Просветитель обращал внимание читателя на то, сколь активно „мудроборцы” убеждают, будто основное противоречие сводится к борьбе греческого и латинского богословия и что „все латинское суемудрие, несогласное святой восточной православной церкви, не есть древнепреданное и истинное, но новосочиненное и лживое”. Но кто и как определяет, что „несогласно святой восточной православной церкви”? Вот корень проблемы, от которой уводит людей тщательно культивируемый, как бы сейчас сказали, „образ врага”, главная функция которого — заставить людей „не рассуждать”, ибо это на руку противнику.

„Не рассуждать!” — вот поистине крылатое выражение, столетия парящее над просторами России. Различные восходящие потоки поддерживали его в воздухе; для русской православной церкви XVII века одним из таких мощных потоков была грекофилия. В самом деле, если православные греки являются для Руси „источником благочестия” и „учителями веры”, то могут ли россияне высказывать свое мнение по вопросам собственной религии?! Смеют ли они, как выразился Медведев, „мыслить себе” или должны без всякого разума слушать заезжих учителей?

Сильвестр выступал прямым продолжателем дела Арсения Суханова — выдающегося путешественника и собирателя древних книг, который еще накануне николаевских реформ доказывал, что „знают у нас (в России. — А. Б.) древнее писание святых апостол и святых

отец и без четырех патриархов”. Суханов считал, что с падением Византии и возвышением Московского царства центр мирового православия переместился в Россию. Основным критерием для спасения подлинного благочестия церкви является, по его мнению, наличие суверенного православного государства. Это публицистическое преувеличение оправдывалось в XVII веке необходимостью защиты российских христиан от грекофилии, использовавшейся как средство затыкания ртов. „Греки”, по мнению Арсения, не могли быть „учителями” россиян, поскольку их святыни и древние книги давно проданы в Москву, поскольку они не имеют ни училищ, ни типографий, поскольку они зависят от прихоти мусульманских правителей и „подарков” из России. Знаменитые сухановские „Прения с греками о вере” были во второй половине XVII века одним из популярнейших публицистических сочинений, причем отнюдь не только в старообрядческой среде²⁹. Медведеву не нужно было убеждать образованных москвичей в правоте Суханова — он мог в своей книге ограничиться аргументами по теме евхаристии и иронией в адрес „мудроборцев”.

Эта ирония прорывается в книге Медведева вместе с горькими строками о преследованиях, которым автор подвергается за то только, что не может отказаться от познанной им истины. „По премногу от противных бедствием отяготился”, — признается Сильвестр, знаю о „весьма свирепом восстании” на меня врагов и чудом спасаюсь до сего дня „от свирепыя беды” благодаря многим православным, приходящим ко мне и поддерживающим в трудный час. А в спорах — „Богу благодарение, всегда победителя мя творящему!” Над Лихудами Медведев способен шутить, переводя их фамилию „русским языком” — „волчата”. Но низкопоклонство отечественных иерархов перед приезжими греками, унижение и оскорбление россиян — не смешно.

„Кто, — пишет Медведев, — не только от христиан, но и от бусурман не посмеется, что уже 700 лет, как

благоволил Бог просветить Россию святым крещением, однако и ныне некие глаголют, будто еще православной христианской веры истинно и доселе как бы не знаем, но во мраке неразумия пребываем”. И потому, продолжает Сильвестр, как только приезжают с Востока духовные лица, наши русские иерархи немедленно перенимают все новшества, „как младенцы и как обезьяны у человека”, не интересуясь соответствием этих обычаев древней греческой и славянской церковной литературе и не смущаясь тем, что новые греческие книги „печатаются у немец в разных местах и со старыми греческими книгами несогласны”. Сами греки этого не замечают — а россиянам не позволено сравнивать старые обычаи и книги с новыми и устанавливать истину!

„О, правоверный народ, — иронически передает Медведев позицию отечественных „грекофилов”, — зри сих славных греческих учителей, как они творят и как веруют! Ибо они люди ученые, а мы неученые, и потому нам, неученым, подобает Бога за то благодарить, что благоволил оных, как какой-то свет, на просвещение нашего неразумия прислать, и этих ученых людей весьма почитать, и во всем... слушать, и им нимало ни в чем не противиться (как будто до их прибытия здесь, страшно сказать, и великие государи наши, и святейшие патриархи, и все духовные и мирские пребывали во тьме неразумия!)”. Казалось бы, давно пора понять, что вера каким-либо посторонним „учителям” не заменит изучения источников, не заменит разума.

„А ныне, — констатирует Сильвестр, — увы! Нашему такому неразумию вся вселенная смеется!.. И сами эти нововыезжие греки смеются и глаголют: Русь глупая, ничего не сведущая. И не только так говорят, но и свиньями нас называют, вещая так: мы куда хотим, туда духовных этих и обратим, ибо видим их самих ничего не знающих...” Книга Медведева показывала, что отнюдь не все в Москве являются или притворяются безграмотными и послушными овцами зарубежных пасты-

рей. Она оказалась искрой, попавшей в пороховую бочку. Все те, кто видел сомнительность нововводимого чина евхаристии, но чувствовал неуверенность перед авторитетом церковных властей и самого патриарха, обрели с книгой Медведева волю и голос.

Одновременное появление в столице новой книги братьев Лихудов не улучшило положения патриарха Иоакима и его приближенных. Сильвестр Медведев, хотя и не видел при написании своей монографии книги „Акос”, блестяще предварил ее аргументацию и выиграл спор уже до его начала. После рассуждений законоспасского строителя (главы монастыря. — А. Б.) богословские аргументы Лихудов выглядели бледно, а их попытка вновь поднять на щит никонианские идеи независимости „благодетия” от „царства” и превосходства „греческой” науки над всеми остальными (в частности, славянской и латинской) была заведомо обречена на провал в глазах общественности. Ведь еще Суханов показал, что собственно греки составляют весьма малую часть восточной церкви, включающей многие народы, — а Лихуды с почти трогательной наивностью брались вещать от имени четырех восточных патриархов, стараясь убедить россиян, будто „всегда свет были греки и будут даже до скончания века”.

И по содержанию, и по слогу сочинение Лихудов не выдерживало никакого сравнения с книгой Медведева. Пышное красноречие „Акоса” метко оценил известный писатель Иннокентий Монастырский в письме к украинскому гетману И. С. Мазепе: „Оных греков Лихудов письмо ни правды, ни мудрости в себе не имеет. Не себе, но своему безумию неугодного соседа имея, сами себя хвалят, и хвалят аж без стыда, называясь словеснейшими и мудрейшими богословами. Всякий разумный, искусный в философии и богословии, должен признать, что оных греков аргументы не богословские, но буетловские (ругательные. — А. Б.)”.

Гетман
Иван Степанович
Мазепа



Убедительность книг с разными точками зрения на время пресуществления была важна, но не менее важным было то, как они воздействуют на общественное мнение. „Мудроборцы” как раз и исходили из того, что немногие могут заинтересоваться сложными рассуждениями и спор не выйдет за пределы ограниченного круга „посвященных”. В соответствии с этим они и начали „помалу разнообразными способами свое неправо мудрование в народе утверждать, говоря, что всякое новое вначале в народе не без ропота бывает, а когда понемногу приобвыкнут, и потом в обычай войдет, —

и то за самую истину станут держать”. Для Медведева же единственной надеждой была апелляция к широким кругам верующих, к их разуму и воле.

Сама по себе книга Сильвестра не могла распространяться в большом числе списков: издание ее на Печатном дворе было исключено, а переписка затруднялась объемом. Но в конце XVII века и московские „простолюдины” имели навыки пропаганды. Еще в 1681—1682 годах был издан указ, запрещающий распространение рассуждений на религиозные темы, которые „на Москве всяких чинов люди пишут в тетрадах, и на листах, и в столбцах*... и продают у Спасских ворот** и в иных местах, и в тех письмах на преданные святой церкви книги является многая ложь”. В 1682 году восставшие распространяли свои оценки событий почти столь же эффективно, как правительство, а полемические выступления старообрядцев собирали на Красной площади и „торжищах” огромные толпы. Распространение неофициальных сочинений облегчалось сравнительно высокой грамотностью населения, его развитой письменной культурой. В Москве середины XVII века белое духовенство было грамотно на 100%, черное — более чем на 70% (как и купечество), дворянство — на 50%, посадские люди — на 20%, а крестьяне, появившиеся в столице — не менее чем на 15%. При этом уровень грамотности рос в соответствии с темпами экономического развития страны и преобразований. Известно, например, что с 70-х по 90-е годы грамотность податных жителей московской Мещанской слободы повысилась с 36 до 52%, что уже в 1677 году среди 636 домовладельцев в слободе было восемь профессиональных книжни-

* Столбцы — разрезанные посередине в длину и склеенные в ленту листы бумаги, использовавшиеся в делопроизводстве; на столбцах могли писаться и другие (например, литературные) тексты.

** На мосту перед Спасской башней был один из центров частной книжной торговли.

ков (переписывавших рукописи на продажу) и даже печатник „листов” (офортов, в том числе злободневного содержания, на которые был большой спрос)³⁰. Понятно, что, призывая бороться с „мраком невежества”, просветители имели в виду отсутствие в Москве учреждений, которые давали бы высшее образование, а не повсеместно распространенные начальные школы, учившие только писать, читать и петь по нотам. Стремление москвичей к знаниям и их желание обо всем „свое суждение иметь” были достаточно сильны, чтобы искра, зажженная Сильвестром, не пропала.

Вместо обширной книги Медведева в столице пошло по рукам множество экземпляров краткого „Обличения на новопотаенных волков”. Книгу Медведева могли прочитать десятки человек, „Обличение” — сотни и тысячи. Автор его, иеродиакон Афанасий Иоаннов, служивший в „церкви Преображения Господня, что у великих государей во дворце”, избрал доступную острополемическую форму, совместив опровержение „Акоса” и довольно глубокие доводы в пользу своей позиции с виртуозной руганью в адрес „мудроборцев”, которые препятствуют развитию русской науки и в то же время величают москвичей „зверями, свиньями и всякими ругательными словами поносят за то, что Бог наш в Московском нашем государстве не благоволил быть школьному учению”.

Реакция на „Манну” и особенно на „Обличение” оказалась неожиданно бурной даже для авторов. Правда Медведева настолько не вызывала сомнений, что многие удивлялись и не верили, что приезжие ученые греки могли занимать столь очевидно неразумную позицию, столь заноситься в гордыне. Полемические приемы Лихудов, ничтоже сумняшеся писавших, что „всяк не еллин — варвар”, поносивших русских православных людей как „еретиков” и ни во что не ставивших традиции

российской церкви, ряду читателей казались просто невозможными. Сторонникам Медведева и Афанасия пришлось, поскольку переписывать „Акос” брались немногие, „популяризировать” и его, пустив в обращение „тетрадки” с наиболее разительными „перлами” „мудроборцев”, которые говорили сами за себя, не нуждаясь в комментариях.

Патриарх Иоаким и его приближенные, надеявшиеся провести свою операцию по искоренению просветителей без шума, в рамках чиновного духовенства, чтобы дело не было „в народный и общий слух износно”, „да тайна пребывает тайна, внешним не явленна (в народный бо слух износима — не весьма тайна!)”, просчитались, и просчитались крупно. Массы верующих отнюдь не считали себя посторонними в собственной церкви и, не удовлетворяясь ссылками на авторитет патриарха, настойчиво требовали объяснений, почему они не должны кланяться святым дарам как обычно, после слов: „Примите, ядите...”, и почему благовест перенесен на молитву к святому духу? Книга Медведева и памфлеты его сторонников убеждали народ в своей правоте.

Прискорбную для „мудроборцев” ситуацию в столице лучше всего охарактеризовал сам патриарх Иоаким (вернее, писавший для него речь Карион Истомина), отметивший с унынием, что люди вконец освоевоились, „начали дерзать о таинстве таинств святейшей евхаристии разглагольствовать и испытывать, и о том везде беседовать, и вещать, и друг с другом любопреться... И не только мужчины, но и жены и дети испытнословят”, которым вообще ни с кем, кроме мужей и отцов у себя дома, говорить не следует, да и то не „разглагольствовать”, а лишь „внимать”. Оставим эти уже во многом отжившие в то время домостроевские взгляды на совесть автора и еще раз взглянем на Москву глазами „мудроборцев”.

„В плача достойное время сие, — продолжал патриарх, — попущением Божиим, поущением же душегубца

врага Дьявола, везде друг с другом, в схождениях, в собеседованиях, на пиршествах, на торжищах, и где встретится кто друг с другом, в каком-либо месте, временно и безвременно, у мужей и жен то и слово о таинствах, и о действе, и о совершении их, особенно же о таинстве таинств (где и ангелы проникать трепещут) пресвятейшей евхаристии: как пресуществляется хлеб и вино в тело и кровь Христову, и в какое время, и какими словами (что и священники сами, на сие уставленные... им же подобает все известно ведать, не все тонкочастно ведают: однако благодать Божия и через неведающих действует). И от такого нелепого и не подобающего совершения и испытнословия и любопрения произросли свары и распри, вражды и ересь хлебопоклонная...

Того ради, неутешно рыдая, — продолжал патриарх, — слезы проливаю, и душой постоянно сокрушаюсь, и сердцем болею, слыша и видя святые таинства от невежд испытанием и любопрением досаждаемы и раздраемы, словами износимы в слух народа... Увы, невежд дерзости и наглости, престающих пределы, установленные святыми апостолами и святыми отцами, и чинов своих и достоинства не желающих, и во иные, не врученные им, перескакивающих, забывая сказанное: во что кто призван, в том да пребывает”³¹.

Как видим, патриарх во главе „мудрборцев” столкнулся с сопротивлением, какого никак не ждал. Вместо того чтобы уничтожить Медведева, обвинение в „ереси” бумерангом ударило по церковной иерархии, терявшей свой авторитет. Немало придворных, приказных деятелей, промышленников и купцов собиралось у Медведева в Заиконоспасском монастыре побеседовать о евхаристии. К нему обращались за аргументами народные полемисты. Известно, что выписки из сочинений Сильвестра делал стрелецкий пятидесятник Никита

Гладкий, радостно заявивший после этого визита товарищам: „Есть-де у меня, Микитки, чем уличать!"; городской поп Савва Долгий проповедовал на основе „Манн" и „разносил тайно к неким священным и прочим" „Обличение" Афанасия Иоаннова; другой единомышленник Медведева „всеноществовал по вся дни, ходя по домам малых и великих, монахов и мирян, поучая их". Это лишь отдельные эпизоды развернувшейся борьбы, случайно отразившиеся в документах...

Удовлетворяя требованиям читателей, Сильвестр в мае 1688 года составил на основании своего перевода из Григория Кассандра „Книгу, глаголемую церковно-составник или церковный изъяснитель", призванную просветить всех желающих в вопросах церковного ритуала. К сентябрю 1688 года он выпустил еще одно сочинение — „Известие истинное православным и показание светлое о новом правлении в Московском царствии книг древних": публицистическую монографию, опровергающую аргументы „Акоса" и рассматривающую методы „ученой" деятельности „грекофилов" в целом.

Поскольку „мудроборцы" обосновывали справедливость своего мнения о пресуществлении с помощью ряда греческих книг, использовавшихся справщиками Печатного двора, Медведев начал полемику с очерка редакционной деятельности („книжной справы") на Руси, в котором обосновал необходимость исторической критики источников. До сих пор, поскольку оппоненты опирались на авторитеты, Сильвестр одерживал победы в значительной степени за счет обширнейшей эрудиции и более точного толкования текстов. Даже известный текстолог Димитрий Ростовский оспаривал Лихудов на основании решений московского собора, принятых при участии трех патриархов. „Или патриархи эти неправо нас научили, — писал святой подвижник православной церкви, — или иеромонахи сии (Лихуды. — А. Б.) неправо творят и учат. Архиереи же российские, вселенских трех патриархов свидетельствованное писание

(служебник 1667 года. — А. Б.) отвергнувшие, в след же двух иеромонахов идущие, не только вселенским патриархам, но и самим себе сделались противны (то есть противоречат. — А. Б.)”.

В „Известии истинном” Медведев акцентировал внимание на исторической изменчивости текстов церковных книг. Он показал, что формула книжной справки о сверке текстов славянских „правых харатейных (пергаменных. — А. Б.) древних книг, которые с древними харатейными греческими книгами сходны”, освященная авторитетом Печатного двора и патриарха, выдерживалась далеко не всегда. Тщательное сравнение различных изданий одной книги выявляет разночтения, вызванные зачастую произволом редакторов, усилившимся при Иоакиме и справщике Евфимии Чудовском, когда „дошли до такого безумия”, что „все наши древние книги славянские харатейные” стали называть „неправыми”, „потому что обличают их неправое мудрование”.

Чтобы сам принцип исторической изменчивости текстов был понятен, Сильвестр рассказал читателю о редакционной „кухне”, о том, как развивалась идея „исправления” книг при подготовке их к изданию. „Известие истинное” и сейчас служит великолепным очерком истории государева Печатного двора в XVII веке, причем истории, освещенной „изнутри”. Но как же можно вносить изменения в древний святоотеческий текст? — мог бы спросить читатель „Известия истинного”. Увы, пишет Медведев, различные перемены происходят в церкви постоянно и малозаметно для широкой публики, даже если касаются крупных вопросов. Чтобы читателю было понятнее, он приводит пример не из истории книжных текстов: как пишется титул патриарха?

В соборно утвержденном служебнике „напечатано и клятвами страшными утверждено, как святейшему патриарху всюду именоваться”, а именно: „Великий господин святейший кир Иоаким, милостию божиею

патриарх московский и всея России”. Но патриарх начал именовать сам себя по-иному, „яко же сам восхотел”: „Иоаким, милостию божиею патриарх царствующего великого града Москвы и всея России”. Этот титул, более похожий на титул самодержца, использовался довольно долго, а затем, „возвышая свою честь, патриарх начал писаться так: великий господин святейший кир Иоаким московский и всея России и всех северных стран патриарх”. Аналогичные изменения, основанные на чистом произволе, делались и делаются в церковной литературе. Иногда они менее заметны, иногда влекут за собой крупные ошибки и самые печальные последствия, тем более что церковные власти требуют не рассуждая почитать каждый новый текст как истину в последней инстанции. Медведев тщательно разбирает такие ошибки, особенно подробно останавливаясь на деятельности братьев Лихудов, раскрывая читателю их неблагоприятные манипуляции с источниками и показывая, что в конечном счете все, на что хотели опереться противники, служит аргументом не в их, а в его пользу.

Ошибки при редакции и искажения текстов — большое зло, но Медведев не был бы рационалистом, если бы не был уверен в возможности их в конечном счете исправить, заменив волевые приемы тщательным и объективным исследованием. Но в том-то и дело, указывал Сильвестр, что церковные иерархи вместо анализа рукописной традиции „только честью своей величаются и не хотят неведения своего людям ради себе стыда объявить, но только повелевают всем себя без всякого разсуждения... слушать!”. Вот истинный камень преткновения для благочестия, вот что на деле вызывает смуты и „нестроение” в церкви. Что же благочестивее: отказаться от исследования и без раздумий повиноваться авторитетам — или продолжать поиски истины вопреки церковной власти?

Для Медведева ответ ясен и не подлежит сомнению. Восстание против несправедливой власти — будь то светской (как он писал в „Созерцании”) или духовной (как написано в „Известии”) — справедливо, подчинение ей — грешно. Мудрость дана человеку, чтобы видеть истину и не ступать на стезю лжи ни добровольно, ни по принуждению. Познание истины — непростой, зачастую тяжкий путь; оно требует знаний и приходит лишь к человеку просвещенному. Общество лишь тогда будет благочестиво и благоустроено „во гражданстве”, когда падут препятствия на пути каждого его члена к „свободным мудростям” и люди, освещенные светом наук, смогут свободно испытывать истину, смогут „черно-бело знать”.

Ныне в России не так. Ныне духовные власти „всегда, от всякой правды, против которой противиться не могут, защищаются Христовыми словами: „Слушающий вас, Меня слушает, и отвергающий вас — меня отвергается”. А в чем подобает их людям слушать — того они не изъявляют и теми словами Христовыми неискренних человек в рассуждении несправедливо устрашают. Подобает их людям слушать, — говорит Медведев, — в тех словах, которые согласны суть учению Христову и древних святых отцов писаниям. А новациям их, Христову учению и древних святых отцов писаниям и законоположению противным, весьма слушаться не подобает!”

Когда заходит речь о подавлении свободной воли, о навязывании народу „истин” силой и устрашением, медведевская ученая книга взрывается яростным протестом. Обстоятельные рассуждения сменяются беспощадным обличением власть имущих, которые и являются подлинными виновниками „смуты”.

„Людам закон прописуют, — говорит Сильвестр о церковных властях, — и не творящих того связывают страшными проклятиями, а сами того творить не хотят. Что повелевают делать людам — то сами открыто и без

всякого страха преступают. Увы такому от них соблазняющему народ преступлению! Но наибольший от них для народа соблазн, когда они сами себе и народу устанавливают нечто как древнее, а не новое, заповедывают это без всякого изменения во веки хранить — а потом сами же творить того не хотят и людям то делать запрещают, и что прежде утверждали себе и людям во спасение — потом сами же себе и людям объявляют в вечную душевную погибель.

А кто им говорит правду об этом непостоянстве, что они тем народ возмущают, — таких без всякого разсуждения проклиняют, утверждаясь этими Христовыми словами: „Слушающий вас Меня слушает, и отвергающий вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня” (Лк. 10:16)*. И этими: „Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе” (Мф. 18:18; см. также: Мф. 16:19; Ин. 20:23)*.

А как те Христовы слова древние святые отцы толковали — того они не читают и читать не хотят; ибо не о чтении упражняются, но о приобретении временных честей и богатств; и желание их не о том, чтобы много уметь, но о том стараются очень крепко, чтобы много иметь! И если кто из них и читает — тот или не знает, или, даже зная, соответственно делать не хочет, только власть свою на устрашение несмысленным людям как великую проповедуют, якобы они и самого Христа законодавца власти больше в этом имеют. И он якобы уже не есть ныне самовластен, но всю свою власть им отдал, и кого они свяжут или разрешат, если и по своим человеческим прихотям или страстям и неправомерно, — а Бог праведный якобы той их клятве и разрешению всегда послушен и так по их хотению неправедному и творит!”

* Чит. и ссылки по русской Библии издания Московской патриархии; у Медведева ссылки на рукописную церковнославянскую Библию.

Такое архиерейское самомнение не только неверно по существу, но, по словам Медведева, разрушительно для веры как нравственной основы общества. „Если бы так было — то, подумай всякий православный, — зачем подобало бы людям Бога бояться и не грешить, если бы тот всю свою власть вязания и разрешения дал архиереям и они по своему желанию кого хотят, хоть и грешника, своим разрешением в небо пускали, а кого хотят, пусть и праведника, своим связанием в ад водворяли? По такому неправильному толкованию без всякого божьего страха можно было бы людям грехи творить и весьма на одно архиерейское разрешение надеяться... И если бы столь несправедное и весьма безсловесное заблуждение людям принять, то им, архиереям, подобало бы честь и страх паче Божия воздавать, потому что они своей властью кого хотят — вечно спасают, а кого хотят — губят навечно. Если бы такая власть была им дана, то все архиереи своих мирских родственников, друзей и знакомых обогатили и своим разрешением в небо вселили. И потому бы только одни в мучениях оказались — которые бы родства с архиереями и милости от них, хоть и за истину, не имели. И еще: если бы им так Христос попустил, то всякий архиерей был бы законодатель и кто как хочет — тот так по своей воле и постановлял бы. Сколько было бы архиереев — столько было бы законоположников, следовательно, и вер! А потому вообще полное беззаконие без страха Божия в мире творилось бы”.

Разумеется, Сильвестр не ограничивается подобным общедоступным обличением и с трудами отцов церкви в руках подробно изъясняет, как следует понимать тексты Священного писания, используемые церковными иерархами для устрашения верующих и укрепления своей авторитарной власти над их душами. Но раздражение ученого воздвигнутыми на него гонениями, а еще более — усердно разжигаемыми „мудроборцами” распрями в российском народе, начавшимся „раздором

и мятежом”, временами прорывается на страницы „Известия истинного”. Так, справедливо указывая, что братья Лихуды по приезде в Москву не смóгли представить правительству и патриарху всех необходимых письменных подтверждений своих слов (то есть постарались попросту преувеличить значение своих персон на Востоке), Медведев скатывается до приемов „мудроборческой” полемики. „Поэтому православным, — пишет он, — следует особо от них (Лихудов. — А. Б.) опасным быть и чинить крепкое и прилежное рассмотрение: первое, чтобы они не были от турок ради наблюдения и извещения подосланы; второе — чтобы они не были присланы от папы на смущение нашей православной веры”. К счастью, Сильвестр не настаивает на своих подозрениях.

Отметив допущенную Медведевым слабость, то, что он в духе своего времени не удержался от поношения противников — Лихудов, нужно сказать и о сильной стороне „мудроборцев”, которые сразу же и правильно уловили опасность апелляции Сильвестра к человеческому разуму. Что будет, задали они себе вопрос, если каждый человек действительно станет самостоятельно рассуждать? Ответ напрашивался сам собой. „Онъй боритель церкви Христовы, — доносил Евфимий Чудовский в новом пасквиле, — как владыка пишет, хотя таким образом наступить и попать всю власть, царскую и церковную; поэтому и к людям пишет!” Для сохранения существующего порядка любой подчиненный, по мнению Евфимия, противопоставивший свое мнение соизволению начальства, подлежит анафеме и тюремному заключению. Медведева и всех сторонников его позиции, как „чуждая мыслящих”, следует немедленно уничтожить. Особо опасным „мудроборцы” считали распространение подобных взглядов в народе.

Любопытно, что и Ф. Л. Шакловитый, стоявший в споре о евхаристии на стороне Медведева, был убежден, что эту полемику нужно держать в секрете от непосвященных. „За великую тайну” послал он гетману И. С. Мазепе полемические книги о пресуществлении, чтобы негласно получить на них отзывы специалистов-богословов. Также секретно послал на Украину те же книги и патриарх Иоаким, подчеркивая в сопроводительном письме, что споры не должны дойти „до мирского уха”, ибо это дело „тайнников самых... только нам ведательно и явительно между собой”. И та и другая попытки засекретить полемику не удалась. Я держу книги в секрете, отвечал в Москву Мазепа, но вижу, что „уже давно по всему Киеву их знают, также и в Чернигове”. Новость была неприятна и для Шакловитого, и для патриарха, но „мудрборцам” пришлось огорчиться еще больше: украинские иерархи единодушно стали на сторону Медведева, заявив, что „не только подписаться за то, что Медведев правду пишет, а они (Лихуды) ложь, но и умирать готовы”.

„Вера, труды, разум” Сильвестра получили высочайшую оценку просвещенных выпускников и преподавателей Киево-Могилянской коллегии, возглавлявших украинскую церковь. Богословские знания Лихудов оказались в сравнении столь прискорбными, что их „дерзновение” соревноваться с Медведевым вызывало удивление: „С мотыгой они на Солнце мечутся!” Ссылаясь на огромный опыт полемики с высокообразованными и изворотливыми иезуитами, украинское духовенство выражало недоумение, что московские власти ставят под сомнение его способности защищать и оберегать благочестие православной церкви, а вместо этого предлагают черпать благочестие в книжке, авторы которой „не только много баснословия положили, но богословского термина ни единого, как еще в школе учат, не положили”.

Московские „мудроборцы” действительно не стеснялись в отношениях с украинцами. Обращаясь к киевскому митрополиту, к черниговскому и новгород-северскому архиепископу и к печерскому архимандриту, патриарх подчеркивал, что „желают от них не такого разумения, как они по-граждански понимают оный церковный догмат: желают, чтобы они разумели заодно с греками теми двумя и дабы такое свое разумение на письме прислали”. Указание было четким, за его невыполнение последовала кара. Уже в феврале 1688 года патриарх запретил работу Киево-Печерской типографии Варлаама Ясинского, а в марте у Димитрия Ростовского отняли рукописи, необходимые в его подвижнической работе по изучению и изданию житий святых. Когда же типография, ссылаясь на жалованную грамоту царя и обратившись к светским властям, нарушила указ патриарха, тот объявил ее книги, в том числе сочинения Димитрия, еретическими, поскольку они не прошли цензуры в Москве³³.

Вымогательство нужного „мнения”, невзирая на истину, вполне характеризует полемические методы „мудроборцев”. В сентябре 1688 года украинские иерархи получили прямой приказ Иоакима обличить Медведева и поддержать мнение, признанное патриархатом. Иоаким ставил непокорных перед „выбором”: либо присоединиться к „святой восточной церкви” (в его лице), либо остаться при мнении, изложенном „иезуитами” в книге Феодосия Сафоновича „Выклад” (выдержавшей уже четыре издания). Похоже, что украинское духовенство онемело от столь неприкрытого оскорбления. Лишь новая грамота из Москвы (от 5 марта 1689 года) вынудила митрополита Гедеона Четвертинского, архиепископа Лазаря Барановича, Варлаама Ясинского и Димитрия Ростовского написать ответы, обстоятельно подтверждавшие правоту Медведева и защищавшие Сафоновича от нелепого обвинения. Лазарь Баранович, состарившийся в борьбе против иезуитов и униатов,

Варлаам Ясинский,
митрополит
киевский



Скопченъ Крстъ Варлаамъ митрополитъ Кіевскій
Въспомогательный Крестъ Варлаамъ митрополитъ
Кіевскій. Въспомогательный Крестъ Варлаамъ митрополитъ
Кіевскій. Въспомогательный Крестъ Варлаамъ митрополитъ
Кіевскій. Въспомогательный Крестъ Варлаамъ митрополитъ

десятилетия служивший делу просвещения Украины, добавил в письме к патриарху, что обещает Иоакиму „послушание”, но — „не противное древним догматам церкви”.

Рассуждения украинских иерархов усугубили раздражение патриарха, писавшего в очередной грамоте, что те „силлогизмами и аргументами токмо упражняются”. „Един ответ токмо хотим от вас иметь, — прямо писал Иоаким, — а именно: последуете ли всеконечно



Димитрий
Ростовский,
митрополит
ростовский
и ярославский

восточной Христовой церкви о пресуществлении?” Мысль патриарха, что „церковь — это я”, звучала в этой грамоте особенно откровенно, а поиски истины прямо рассматривались как ересь, за которую „отступников” следовало отлучить и проклясть. Понимая, видимо, что угрозами украинских иерархов сломить затруднительно, Иоаким одновременно предпринял обходной маневр через константинопольского патриарха (которому до недавнего времени номинально подчинялась Киевская митрополия).

Он решил использовать обратившегося к нему за помощью константинопольского экс-патриарха Диони-

сия. В оплату за услуги патриарх московский потребовал от того „писать и запрещать малороссам тяжко... чтобы не имели в презрении духовную власть”. Дионисий получил из Москвы текст своих будущих грамот к царям, патриарху Иоакиму и украинским архиереям вместе с инструкцией, „как подобает действовать”. Согласно инструкции, грамоты из Константинополя должны быть составлены „якобы на соборе”, „писать же подобает, якобы от самого себя пишете, услышав о таком новом учении... а не яко я (Иоаким. — А. Б.) писал вам и возвестил сие”. В случае правильного выполнения инструкции греческий „авторитет” получал от московского патриарха 50 золотых; „если же не отпишете со всяким прилежанием, как подобает, — воспримете... от страшного Судии”.

Переписка с Константинополем наглядно раскрывает истинное отношение „мудроборцев” к грекам (у которых только в 1685 году была куплена Софьей и Голыциным Киевская митрополия). Легенда о „греческих учителях православия” служила оправданием духовной диктатуры патриарха московского и его приближенных. Свой „символ веры” Иоаким, кстати, откровенно изложил еще в 1664 году, когда его „допрашивали о вере” перед поставлением в архимандриты московского Чудовского монастыря. „Я, государь, — сказал будущий патриарх царю, — не знаю ни старой веры, ни новой, но что велят начальники, то и готов творить и слушать их во всем!”³⁴

Последующая деятельность Иоакима подтвердила его верность изложенному кредо. Ученик Никона стал жестоким его преследователем и в то же время — верным последователем. Он настоял на зверских казнях „соловецких сидельцев” после подавления восстания в монастыре. Указные статьи Иоакима 1685 года узаконили по всей стране массовые пытки и сожжения „инакомыслящих” христиан. Он же проявил немалую изобретательность в попытках „оградить” духовных лиц от

светской юрисдикции. Патриарх пытался уничтожить введенное указом царя Федора Алексеевича служилое платье западного типа, запретить европейскую живопись и медицину. Личные качества Иоакима, безусловно, способствовали обострению кризисных явлений в русской православной церкви, „верхи” которой все более теряли авторитет по мере противодействия прогрессивным тенденциям в развитии Российского государства³⁵.

Однако Медведев не склонен был объяснять сложившуюся ситуацию личными качествами патриарха. Не Иоаким, а сама идея авторитарной духовной власти выступает в сочинениях просветителя как препятствие к познанию истины. Еще в „Созерцании”, описывая недоверие, с которым относились к патриарху восставшие, Сильвестр старательно избегал обличений политического противника царевны Софьи. Во время спора о пресуществлении, отмечая волонтаризм патриарха, Медведев подходит к его личной оценке еще мягче. „Напрасно-де смутили душу святейшего патриарха греки, — „многожды” говаривал он в частных беседах, — а он, святейший, человек добрый и бодрый, а учился мало и речей богословских не знает”; это справщик Евфимий и ризничий Иоакинф „святую душу святейшего патриарха возмущают”. Любопытно, что и другой свидетель (позднейший участник спора о евхаристии), Гавриил Домецкий, писал сходно: „Немалое диво в том, что Евфимий, такой простяк, привлек на свою сторону учителей Софрония и Иоанникия; не рады, впрочем, были и они, что в такое дело впутались...”³⁶

Не только Лихуды, но и патриарх Иоаким, по словам очевидца, „не рад был, впутавшись в такое дело, и много раз со слезами жаловался на монаха Евфимия, который подбил его на это”. В ходе полемики авторитет Иоакима стремительно падал. Если в 1687 году канцлер В. В. Голицын писал: „О патриаршей дурости

подивляюся”, то к 1689 году он Иоакима и его компанию уже „выразумел”. Другой видный политический деятель, Л. Р. Неплюев, сказал человеку, который посоветовал ему обратиться к патриарху: „От сего нашего патриарха ни благословения, ни клятвы не ищем; ..плюнь на него”.

Не лучше обстояло дело с авторитетом патриарха в церковных кругах. „Патриарх мало и грамоте умеет... ничего не знает, непостоянен, трус, прикажет благовестить то так, то иначе, а поучение станет читать — только гноит, и слушать нечего”, — говорил архиепископ Иосиф коломенский. Но он же, будучи нетрезв, признавал, что патриарх был лишь наиболее видной, но не самой действенной частью механизма церковной власти: „На соборе только и говорят нижегородский митрополит (Филарет. — А. Б.) да я, а патриарх только бороду уставив сидит”. Известно, что в 80-е годы грамоты и проповеди за Иоакима писал известный литератор Карин Истомин, памфлеты — крупные публицисты и книжники Афанасий Холмогорский и Игнатий Римский-Корсаков (будущий митрополит сибирский и тобольский). Многие, в том числе преемник Иоакима Адриан, видели неправоту „мудроборцев”, но не показывали виду. Медведев слишком хорошо знал этот безликий механизм, чтобы обличать отдельные личности: его удар был направлен на всю систему авторитарной власти, которая, по его мнению, была губительна для веры и церкви. Время показало, насколько просветитель оказался прав.

На позиции Медведева сказалось не только понятное нежелание наносить ущерб церкви, открыто критикуя ее главу, но и ясное понимание противоположности силовых приемов поиску истины. Принципиальный отказ от „неразумных”, антигуманных методов был характерен для Сильвестра и во внутривластной

борьбе. В 1689 году приближенные Шакловитого сообщили Медведеву, что тот планирует покушение на Л. К. Нарышкина, Б. А. Голицына и других лидеров „петровской” оппозиции, без которых „бы у царевны Софии с царем Петром было советно (то есть не было бы конфликта. — А. Б.)”. Сильвестр настойчиво рекомендовал Шакловитому отказаться от использования террора в придворной борьбе, а его агентов предостерег, что такие методы непременно обернутся против них самих. Он же указал на неосуществимость замысла коронации царевны, не видя другого пути, кроме примирения ее с Петром. Позже, на следствии, выяснилось, что просветитель отчетливо понимал, что „оприч худа” сторонникам Софии, если она потеряет власть, „ждать нечего”. Но прямо или косвенно (путем совета) став на путь насилия, Медведев изменил бы себе, предал бы идеалы разума и „гражданской свободы”, защита и распространение которых стали целью его жизни.

Столь же бескомпромиссно отстаивали свои идеалы „мудроборцы”, с точки зрения которых верующие должны были лишь исполнять указания „свыше” и не рассуждать. Они довольно быстро обнаружили, сколь опасно пользоваться чужим оружием, и сожалели отнюдь не о своем отступлении от истины, а лишь о том, что ввязались в полемику, не сумев сразу уничтожить противника. Правда, в этом им мешали неуступчивые светские власти. Царевна Софья сочла необходимым дать Медведеву высказаться в свое оправдание (по обвинению в „еретичестве”) и даже позволила посвятить себе книгу „Манна”. В. В. Голицын лично переслал Сильвестру полученную от Мазепы книгу Иннокентия Монастырского против новоявленных „грекофилов”. Ф. Л. Шакловитый прямо высказывался в защиту Медведева и не препятствовал подведомственным ему как главе Стрелецкого приказа военным служащим собираться в Заиконоспасском монастыре для охраны просветителя от тайного покушения.

В открытом споре принципиальные противники „разсуждения” были обречены на поражение. Если Евфимий Чудовский и его коллеги первоначально и имели иллюзии насчет действенности своих пасквилей, то они очень быстро разочаровались. Массы верующих не склонны были без сопротивления отказываться от права „разсудати себе”, и по мере прояснения смысла полемики число покорных исполнителей воли патриарха стремительно сокращалось. Даже позже, после расправы над Медведевым, „мудроборцы” во главе с патриархом воспринимали свою победу как чудо. „Если бы всемогущая десница Высочайшего несказанным своим промыслом не воспрепятствовала его (Сильвестра) умыслу и злочестивому совету, — говорил Иоаким, — редкие бы остались твердо стоящими в восточном отцепленном благочестии, большинство же, если не почти все, уклонились бы в слух погибельный папешского злочестия”. „Если бы не прекратил Господь его, Медведеву, ересь, и злословие, и лезть, и мятеж — не спаслась бы всякая православная плоть!”

Оставив в стороне обычное для „мудроборцев” злословие и склонность отождествлять свое мнение с „восточным отцепленным благочестием”, нужно признать, что они расписались в своем полном поражении. Народ пошел за Медведевым. Следовало что-то срочно предпринимать, и меры воспоследовали. В марте 1689 года волей патриарха Иоакима Сильвестр был отрешен от должности справщика государева Печатного двора и „великих государей жалованье 60 рублей ему, монаху Сильвестру, не дано”. Далее, патриарх лично отправился в царский дворец и обвинил Медведева в том, что ученый старец писал письмо на Дон с целью поднять восстание казаков! „Воля-де святейшего патриарха, — отвечал вызванный на допрос Сильвестр, — а писем я никаких не писал”. Царевна Софья оставила донос без последствий.

То, что патриарх лично унизился до бессовестнейшей клеветы, показывало „старцу великого ума и остроты ученой”, что „мудроборцы” готовы на все. Они распускали слухи, будто Медведев связан... со старообрядцами; что он хочет убить Иоакима и других церковных иерархов! Сторонникам Медведева среди архиереев, таким, как украинские иерархи, митрополит псковский и изборский Маркел и другие, угрожало отлучение от церкви. Ученейший Иннокентий Монастырский, игумен кирилловский, выписанный Иоакимом в Москву как представитель украинского богословия якобы „для изъяснения правды о пресуществлении”, получил свою долю клеветы после того, как осмелился спорить с патриархом и его окружением, приводя ненавистные „мудроборцам” „силлогизмы и аргументы”.

Он, писалось об Иннокентии в пасквиле, „родом еврей и верою явно жид или, если и христианин, то притворный, надо думать католического толка”. „Знаем, что он еврейского рода, — улюлюкал другой мерзавец, — а где он стал христианином и где монашеский образ и священство принял, никто до сих пор не ведает”. Любопытно, что еврейское происхождение Иннокентия (видного и весьма уважаемого на Украине священнослужителя) оказалось единственным „аргументом” против его ученых рассуждений. Раз еврей — значит иудей „и, естественно, духоборец”, на разные голоса вопили „мудроборцы”, нечувствительно закладывая корни будущего „Союза Михаила Архангела”, травли „космополитов” и других позорных для России явлений. Но и Иннокентия запугать не удавалось³⁷.

„Приими оружие и щит, восстань на помощь, исторгни меч, поборствуй по матери твоей (церкви), — истощно зывал к народу в своих проповедях Евфимий Чудовский, — зашей и заключи неправедно глаголющих, да немы будут уста лъстивые и лживые, прободай противящихся... и падут под ноги православных, и да исчезнут и погибнут!” Никто, однако, не спешил спасать

церковь путем погрома в Заиконоспасском монастыре. Напротив, видя крайнее озлобление церковных властей против Медведева, к его келье постоянно, днем и ночью сходились люди (в том числе десятки и сотни стрельцов и солдат разных полков), решившие „его... не отдавать”. Еще весной 1689 года появилась эта народная охрана „Солнца нашего Сильвестра”, и суета тайных агентов патриарха, имевших указание схватить Медведева, оставалась безуспешной.

К чести ученого старца нужно отметить, что такое обострение обстановки, очевидное унижение его сановных врагов в глазах народа не доставляли ему удовольствия. Наилучшим выходом он считал свое временное удаление из столицы, пока страсти, поднятые авантюрой „мудроборцев”, не поутихнут. Жизнь в дальнем монастыре и работа над книгами устраивали Сильвестра значительно больше, чем возможность досаждать патриарху. Верховные власти думали иначе. Царевна Софья, к которой Медведев вынужден был обратиться с просьбой о выезде из Москвы, повелела ему остаться. „До тех пор, пока в правительстве будет князь Голицын, со службы тебя не отпущу”, — заявила царевна, втайне радовавшаяся всему, что огорчало Иоакима. Это был приказ, которого Сильвестр не мог послушаться, хотя и понимал, что царевна не только не защитит его в трудную минуту, но и спокойно принесет в жертву, если это окажется для нее выгодно (например, если патриарх в обмен на голову ученого согласится ее короновать).

У патриарха оставалось последнее средство: он самолично выступил против Медведева, клеймя и понося его в своих проповедях. Поединок пошел в открытую, поскольку Медведев поднял перчатку и на каждую очередную инвективу отвечал в своих сочинениях и выступлениях перед народом. „И еще более народ смущал и прельщал”, — признавали свое поражение „мудроборцы”. „Святейший же патриарх, видя его, Сильвестра, что не покоряется... и народ еще более смущает, предал

его за такой мятеж анафеме вместе с писаниями его”. Гром грянул, однако случилось то, что должны были бы предвидеть архиереи российской церкви. Авторитет патриархата пал настолько низко, что провозглашенное им отлучение Медведева от церкви не заставило верующих отшатнуться от просветителя, но лишь подчеркнуло в их глазах неправоту духовных властей. Не Сильвестр оказывался вне церкви, а „мудроборцы” во главе с патриархом отлучали себя от сообщества истинно верующих россиян. „Он же, Сильвестр... в ничто бывшую на него анафему вмени”³⁸.

В столице Российского государства сложилась невиданная еще ситуация: разум не только теоретически доказывал свои права, но и практически противостоял духовной власти. Большинство с радостью, меньшинство с ужасом убеждалось, что свободная человеческая мысль может быть сильнее приказов и авторитетов. „Мудроборцы” верно подметили особенность „смятения народного” по вопросу пресуществления: возбужденные сознанием, что воспринятые ими доказательства сильнее всяческих приказаний, массы людей повсеместно *рассуждали* и *испытывали*, то есть исследовали вопрос. Недаром мужчины, женщины и даже дети повсеместно и в любое время заводили разговор о евхаристии. Люди наслаждались тем, что не только получили право, но и действительно могут мыслить, здраво разбираться в наименее, казалось бы, доступной смертному области богословия, могут не присоединяться к какой-либо группе или мнению, но самолично участвовать в процессе отыскания истины. Стремясь укрепить веру, очистив ее от волюнтаристских искажений, Сильвестр Медведев помогал россиянам обрести веру в себя, в человеческий разум и достоинство. В этом смысле — надо опять отдать должное проницательности „мудроборцев” — его литературная деятельность

Лазарь Баранович,
архиепископ
черниговский
и новгород-
северский



действительно создавала угрозу основам существующей светской и духовной власти. Опасный философ должен был быть уничтожен соединенными силами властей.

Судьба просветителя и многих его сторонников была решена в тот момент, когда „петровцы” и „мудроборцы” в трогательном единении обрушились на правительство царевны Софьи. Первыми дрогнули перед лицом грядущих репрессий митрополит Гедеон и архимандрит Варлаам, известившие, что последуют патриарху „без всякого прекословия и прения”. Несгибаемый

Иннокентий Монастырский „как гнилой член проклят был” и „тайно вскоре с Москвы промыслом Евфимиевым сослан”. Архиепископ Лазарь Баранович держался до ноября 1689 года. Иоаким вырвал у него отречение от истины под угрозой вселенского осуждения и лишь после того, как лишил Лазаря права участвовать в богослужении. Афанасий Иоаннов еще ранее был сослан в Тобольск, митрополит Маркелл позже осужден и лишен сана. Впрочем, подобные усложненные полемические приемы (типа заказа в Константинополе поддельных соборных посланий, личных угроз и всяческих притеснений) использовались только против заметных лиц. Для простого народа, с горечью писал современник, „немые учителя у дыб стоят в Константиновской башне: вместо Евангелия огнем просвещают, вместо Апостола кнутом учат...”³⁹.

Расправа



едведев не сомневался, что его ждет особая жестокая расправа. Спасение было только в бегстве. Действительно, патриарх Иоаким включил имя Сильвестра вторым в список „злодеев”, которых он (как отметил в своем дневнике генерал Патрик Гордон) настойчиво уговаривал Петра казнить. Обвинение против Медведева было включено в изветы, которыми розыскная комиссия начала „дело Шакловитого”, состоящее, как известно, в „умышлении” убить царя Петра, его семью и сторонников, Иоакима и других высших иерархов. Достоверность обвинений комиссию не волновала. О „злодейском умысле” жертв политического переворота широко объявлялось еще до расследования. Приговор был вынесен заранее по соглашению победителей, оставалось лишь предпослать ему краткую комедию розыска и затем привести его в исполнение. Что касается Медведева, то по воле патриарха он еще до 12 сентября был заочно лишен монашеского звания и заочно же передан в руки светских властей⁴⁰. У кого, у кого, а у Иоакима его вина не вызывала никаких сомнений!

Между тем, пока по России шли розыски, скакали капитаны с воинскими отрядами, воздвигались на дорогах заставы, а городовые воеводы объявляли награды

за поимку „изменников”, Медведев мирно жил у верного игумена Варфоломея в Бизюкове монастыре. Трудно сказать, на что он надеялся, зная упорство и безжалостность своих врагов. По некоторым его высказываниям, слышанным окружающими, можно думать, что ничего хорошего для себя Сильвестр не ждал. Но отказаться от борьбы и покорно сдать в руки врагов он не мог. Это слишком напоминало самоубийство.

В мучительных размышлениях находился и верный Варфоломей. Он сочинял донос, одновременно пытаясь сохранить себя порядочным человеком. Вот плод его усердных размышлений, посланный воеводе:

„Да вестно велможности твоей творю, што Силвестер Медведев, з Москвы едучы, начавал у мене в монастыре ночь адну. А куды поехав — я пра то не ведаю. А хотел, и назад едучы, захватить у монастырь. Зачым я велможности твоей доношу — чтоб мне в трудности якой за тое не быть”⁴¹.

Похоже, что первоначально Варфоломей имел в виду спровадить Медведева и его спутников поскорее, чтобы сыщики нагрянули на пустое место. Это уже было предательство, наводящее воинские команды на свежий след. Но предательство, мало помогающее доносчику. При всей своей простоте Варфоломей сумел понять, что, не схватив Медведева и не узнав точно, куда он направился из Бизюкова монастыря, сыщики постараются представить его, игумена, сообщником преступников. Поэтому он никоим образом не показал Медведеву своего неудовольствия и оставил его в монастыре, отправив донос. Сильвестр прожил на свободе еще четыре дня, радуясь мысли, что на свете существуют такие самоотверженные друзья, как Варфоломей.

Сомнения игумена кончились 13 сентября, когда присланный из Дорогобужа отряд окружил Бизюков монастырь и схватил Медведева с его спутниками. Сильвестр, точнее уже Семен Медведев, был закован в тяжкие кандалы, но меры по его охране все время казались

недостаточными. Дорогобужский воевода выделил для доставки арестантов 10 стрельцов, не считая штатских лиц; смоленский воевода прислал со своей стороны капитана Василия Андрианова со смоленскими стрельцами и солдатами (числом 40 человек), опасаясь, чтобы преступники „дорогою не ушли и дурна бы над собой какого не учинили”. Из Москвы, в свою очередь, скакал в помощь охране капитан Григорий Есипов со стрельцами. За ним, все из тех же опасений, устремились капитаны Яков Бестужев и Яков Богданов. Всего за участие во „взятии” и доставке государственного преступника было награждено деньгами более ста человек рядовых, восемьдесятников, три пятидесятника и четыре капитана.

„А старцу, который с сими вестями приехал, — писал боярину Тихону Стрешневу ответственный за сыск боярин князь Иван Троекуров о монахе, привезшем донос Варфоломея, — велел я побыть на Москве для того, чтоб того игумена за сие дело обрадовать государскою милостию”. Действительно, на радостях власти не только „обрадовали” 30 сребрениками игумена Варфоломея, но за „многое вспоможение” при поимке Медведева наградили пятью рублями его гонца иеродиакона Леонтия. Жалеть было бы накладно — и численность команд, и суммы вознаграждений демонстрировали народу, сколь опасного преступника волокут стрельцы на суд и расправу в Троице-Сергиев монастырь⁴².

Сама доставка Медведева на розыск была, по-видимому, обставлена как торжественное шествие. Конные стрельцы четырех полков (их различали по цвету кафтанов и патронташей-бандалеров) скакали впереди и позади обоза из нескольких телег, возле которых шагали проводники, пешие солдаты и стрельцы с дымящими фитилями мушкетов на плечах. Не только Медведев, но и все его спутники были „украшены” тяжелыми цепями, являя собой свидетельство многочисленности злокозненных „изменников”, покусившихся на царство.

24 сентября 1689 года в Троице-Сергиеве монастыре начался розыск и суд над Сильвестром Медведевым, „вина” которого была уже всенародно объявлена. Оставалась мелочь — испытанными способами получить „признание” обвиняемого и письменно оформить ему приговор. При этом, однако, возникли некоторые трудности. Прежде всего, основное обвинение, будто Медведев хотел убить патриарха Иоакима, повисло в воздухе. Оно было выдвинуто 30 августа одним из наемных доносчиков — капитаном Филиппом Сапоговым — и обращено прежде всего на Ф. Л. Шакловитого. Другой доносчик, Иван Муромцев, в связи с „заговором” на жизнь патриарха имени Сильвестра вообще не упоминал. На допросе и очных ставках Шакловитый категорически отрицал вину Медведева. Не удалось вырвать показаний на Сильвестра и зверскими пытками Шакловитого с товарищами.

Это незначительное упущение следователи исправили очень быстро. Они вставили недоказанное, более того, полностью отрицаемое подследственными обвинение против Сильвестра в „статейный список” (свод обвинительных заключений) Шакловитого с товарищами. Следователи и судьи просто сделали вид, что это обвинение не вызывает никаких сомнений. Только после того, как Шакловитый был казнен, они спохватились, что, слишком тесно связывая Медведева с Иоакимом, оказывают патриарху медвежью услугу: ведь приговоры писались для широкого объявления, а народу было хорошо известно, что именно патриарх охотился на Сильвестра! Источник обвинения был слишком явен. Следственной комиссии пришлось опять напрячься, чтобы обвинить Медведева как-то получше.

Кровавой фантазии следователям было не занимать, поэтому они не затруднились начать дело против Медведева с обвинения в покушении на „здоровье” царя Петра и членов царской семьи. Шакловитый под пыткой „признался” во всех этих замыслах, хотя непохоже, что

рухнувший с высот власти временщик был совершенно сломлен: он не подтверждал вины тех своих товарищей, которые не „признавали” свою вину сами. Сравнительная легкость „признания” Шакловитого вытекала из его психологии государственного деятеля, игравшего по тем же правилам, что и его противники. Федор Леонтьевич потерпел поражение и пощады не ждал. Зачем ему было принимать лишние муки? Если бы победил он и его неприятели из непонятого упорства не „признавались” бы в заговоре (скажем, на жизнь царя Ивана и царевны Софьи), неужели он не сочинил бы за них достаточно выразительных „признаний”? Хорошо еще, что Шакловитый не потянул с собой в могилу других людей и не пытался отдалить смерть, оговаривая невинных.

С Сильвестром, который по непонятным следователям причинам считал правду важнее власти и даже жизни (причем, надо особо подчеркнуть, собственной, а не чужой жизни), бороться было гораздо сложнее. Если бы Медведев, прибегая к уверткам, старался хитроумно обелить себя, его можно было бы запутать во множестве разных показаний, используя известный издревле арсенал методов допроса. Однако он, как назло, упорно говорил правду, а это не соответствовало целям следствия.

На обвинение в „заговоре” против царя и его семьи Медведев сказал попросту, что „на государское здоровье и о возмущении святой церкви Федька-де Шакловитый (уменьшительные написания имен — на совести составителей протоколов) о государском здоровье и о убийстве никаких слов ему не говорил”. Был лишь один случай, когда группа приближенных Шакловитого пришла к Сильвестру за советом: люди были испуганы приказом временщика „тайно в ночи убить” Л. К. Нарышкина, Б. А. Голицына и других „петровцев”. Сильвестр ответил им ясно: „Если вы так сделаете — пропадете вместе с Федором и здесь, и в вечные времена

душами”. Если вы, подчеркнул Медведев, хотите передать мои слова Шакловитому — говорите, я готов повторить их ему в лицо. Поскольку приближенные Шакловитого боялись возвращаться с таким ответом к хозяину, „потому что за то непослушание бояться они смерти”, Сильвестр посоветовал им сказать временщику, что одним им такого большого дела не осилить, а говорить иным они о том не смеют: „Говорил бы он им сам”.

„А если то дело им и учинить — и им всем пропасть, — заметил Медведев и пояснил: — Он, Федька, в то время отопрется и их всех напрасно погубит!” Что ж, психология власть имущих была Сильвестру достаточно известна. Сам Шакловитый наверняка схватил бы убийц и казнил, да еще прославился бы своей справедливостью, убрав одновременно политических соперников. Как бы то ни было, Медведев сорвал этот кровавый замысел. Дважды он беседовал с кандидатами в тайные убийцы и заставил их отказать Шакловитому.

Шакловитый, по словам Сильвестра, действительно часто жаловался на царицу Наталию Кирилловну Нарышкину и ее советника боярина Льва Кирилловича Нарышкина, считая, что без них бы у Софьи с царем Петром все „было советно”, но замыслов на жизнь матери царя никогда с Медведевым не обсуждал. Между прочим, просветитель указывал Шакловитому, что „кто кому чего желает — тот сам от Бога то же примет”. Из показаний Медведева совершенно ясно вытекало, что он в принципе не мог быть участником „заговора”, будучи противником насильственных средств в политике вообще. Видимо, это поняли даже следователи, которые не слишком настойчиво расспрашивали других „заговорщиков” об участии Медведева в каких-то тайных планах. Ни на допросах, ни на пытках никаких „улик” против Сильвестра в этом отношении так и не обнаружилось.

Следом за дутым обвинением в „заговоре” на допросе Медведева 24 сентября „выявился” пласт обвине-

ний, не фигурировавших в изветах и показаниях других лиц. Нетрудно убедиться, что обвинения эти были услужливо предложены следственной комиссии обеспокоенным за скорейшее осуждение „злодея” патриархатом. Сильвестру пришлось отвечать, что „церкви святой никаким смущением он не смущал”. „Доказательством” его вины служил памфлет Афанасия Иоаннова. Медведев сказал, что знаком с этими „тетрадками”, заказал писцам две копии с них лично для себя и хранит в своей келье. Ничего против патриарха в этом сочинении нет — оно написано против приезжих греков.

Следственная комиссия требовала от Медведева признания, что он участвовал в „умысле” на патриарха, „чтоб его убить или переменить”. Здесь тоже фигурировало „доказательство” его „злодейских замыслов” — „Книга о манне хлеба животного”. Но эта книга отнюдь не тайная и не злоумышленная, отвечал Сильвестр, о ней не докладывалось патриарху, поскольку сочинение написано по указу царевны Софьи, которой и поднесено за подписью автора⁴³. Следователи и здесь не смогли найти криминала. Пришлось возвращаться к извету Филиппа Сапогова, ничем, как мы помним, не подкрепленному. Медведев опроверг измышление платного доносчика на допросе, не помогла розыскной комиссии и очная ставка: ведь Филипп утверждал, что Сильвестр сам ни с того ни с сего рассказал ему, „что он, Селиверстко, с Федькою Шакловитым святейшего патриарха убить умышляли”! Вино у меня Филипп пил, сказал Сильвестр, но о таком фантастическом замысле я ни с кем не говорил — тем более зачем бы стал говорить подобное изветчику?!

Извет Сапогова особенно нравился следственной комиссии тем, что позволял представить Заиконоспасский монастырь, где во время полемики о пресуществлении собиралось много людей, как некое „гнездилище заговорщиков”. Захаживали туда и многие из обвиняемых. К великому огорчению следователей, Медведев

спокойно и непротиворечиво объяснил, с кем и на какой почве он был знаком, о чем у них шли речи (в том числе рассказывал о работе с Шакловитым над рацеями). Обвиняемый дал понять, что никоим образом не виноват в том, что люди не хотели позволить патриарху его тайно сослать; сам он, как известно, давно отпрашивался из Москвы в Соловецкий или Пустозерский монастырь. Со многими из приходивших „опасать его от святейшего патриарха” Сильвестр никогда даже не говорил.

Обвинения рассыпались одно за другим, но розыскная комиссия не сдавалась. В дело могла пригодиться любая мелочь, любое слово, „вычесанное” из груды показаний. Например, комиссию интересовало, говорил ли Сильвестр стрельцу Демке Лаврентьеву во время августовского 1689 года „смятения”: „Молитесь Богу, чтоб Бог дал утишение”? Да, говорил, отвечал Медведев, удивляясь, что в этих словах могло заинтересовать следствие, где тут крамола? Крамолу, разумеется, можно было найти во всем.

Так, однажды явился в Кремль некий юродивый Ивашка, который „бывал в исступлении ума почасту”, и начал вопить странные слова, весьма близкие, впрочем, к политическим реалиям: „Хотя де... Петра Алексеевича... сторона и повезет, и того много будет если на десять дней, а потом опять будет сильна рука... Софии Алексеевны”. Юродивого, разумеется, взяли в приказ, ибо „видения”, на которые он ссылался, сильно напоминали волхование, а колдовства (да еще в связи с царской фамилией) многие опасались. Заинтересовалась им и царевна Софья, которая выслушала эту часть „предсказания” не без удовольствия. Шакловитый даже возомнил, будто юродивого „прислали с теми словами Нил и Нектарий чудотворцы”. Перед тем как вести умалишенного к царевне, Шакловитый показал его

Медведеву „для свидетельства юродства”. На том дело и кончилось — юродивого отослали под охраной стрельцов обратно в Нилову пустынь, чтоб народ не смущал. Об этой истории Медведев тогда рассказал как о занятном эпизоде своему знакомому, а тот при удобном случае поведал о нем следственной комиссии. Сильвестр разъяснил обстоятельства дела, но то, что он передавал слова Ивашки своему знакомому, было расценено как преступная пропаганда против Петра!

Мало того, розыскная комиссия решила докопаться до „корней и нитей” и завела особое дело на юродивого Ивашку, длившееся с 15 октября по 10 декабря 1689 года. Ивашку доставили из Ниловой пустыни в столицу, расспросам подвергся игумен Ниловой пустыни и ее братия, по делу была составлена докладная выписка, а приговор утвержден царями. Ивашка был „за его воровство, что он... будучи на Москве, говорил непристойные слова”, нещадно бит батогами и отослан обратно в Нилову пустынь в заточение. Эта жестокость по отношению к охраняемому народным поверьем сумасшедшему объяснялась, среди прочего, тем, что сыщики докопались до его связи... со двором патриарха Иоакима! Ивашка сразу признался, что научил его говорить все эти слова человек у Чудова монастыря (резиденции патриарха)*. При этом слова о Петре и Софье оказались второстепенными, а главное, он должен был поведать царевне, „что в полках большой изменит и от того-де будет худо, не попустит-де его Бог, что он за святую церковь не станет”. „Большой” — это генералиссимус князь Василий Голицын, которого патриарх Иоаким люто ненавидел и всячески поносил в проповедях⁴⁴.

Таково оказалось единственное из обвинений против Медведева, которое розыскная комиссия дала себе труд проверить. Вообще при чтении следственного дела

* Дело было ночью, когда Кремль был заперт и бродить близ монастыря чужаки (кроме юродивых) не могли.

Медведева складывается впечатление, что оно стряпалось не политическими деятелями, а канцеляристами-крючкотворами, подбиравшими отдельные словечки, но плохо разбиравшимися в государственной кухне. Это вполне возможно, поскольку расправившись с Ша́кловитым и Голицыными, участники переворота должны были переключить свое внимание на дележку власти, а подарить обещанную патриарху голову Медведева могли поручить мелкой сошке, не всегда знавшей, что делать со „спущенными” указаниями.

Например, Медведева долго расспрашивали о его отношениях с пограничным воеводой и государственным деятелем боярином Леонтием Романовичем Неплюевым. Сильвестр ответил, что они давние знакомые, но встречались нечасто, и объяснил, что речь шла о письмах от православного духовенства в Польше. Розыскная комиссия узнала, что Медведев был против вечного мира с Речью Посполитой и начала большой войны с Крымом, потому что он, как и его корреспонденты, считал скорую победу над Крымом невозможной, думал, что война ослабит Россию и тем будет выгодна полякам. Неплюев спорил с Сильвестром, говорил, что „Крым возьмем вскоре”, а Голицын, которому Леонтий Романович передал мнение „ученого старца”, гневался на Медведева. Слова свои подследственный мог подтвердить перепиской, но комиссия этим не заинтересовалась: во-первых, мнение Медведева совпадало с мнением многих сторонников Петра (например, Б. А. Голицына), во-вторых, непонятно было вообще, что делать с этими показаниями. Неплюев был сослан вслед за Голицыными, вот только за что? Когда обеспокоенные скоропостижными наказаниями высокопоставленных лиц бояре обратились за разъяснениями к самому тестю царя Петра боярину П. А. Лопухину, тот пополнил закрома российского черного юмора таким перлом: „Явной его, Леонтия, вины вы не ведаете, а тайной вины и мы не ведаем!”

Как бы то ни было, при всем старании розыскной комиссии быстро состряпать дело о злокозненных, преступных замыслах и деяниях Медведева не удалось. Писатель умело и твердо отверг все обвинения и обошел десятки приготовленных для него капканов. Это никак не могло удовлетворить патриарха. Ознакомившись с протоколом допроса, Иоаким немедленно послал своему казначею Паисию Сийскому указ разобрать ранее опечатанные бумаги Медведева на разных языках — и буде их немного, прислать все в Троицу, а „буде тех писем многое число, и ты бы с книгопечатного двора игуменом Сергием и монахом Иовом, который учится в греческой школе, все, что есть, пересмотрели — и которые письма явятся приличные к обличению воровства и злоначинательства строителя Селивестра Медведева... и такие письма отобрать особо и... прислать к святейшему патриарху в поход... тотчас!”⁴⁵. Такой приказ проще было отдать, чем исполнить, — ведь у Медведева в келье даже на глаз было более тысячи книг и огромное количество рукописей, в том числе писем на разных языках⁴⁶. Иоаким получил желаемое только к 30-му числу. Работа была выполнена спустя рукава: уж на что подозрительно выглядела заграничная переписка, о которой упоминал сам Сильвестр, и ту патриаршие грамотеи не выделили! Похоже, они вообще не утруждали себя чтением и взяли только то, что бросалось в глаза: печатные картинки, немецкое письмо с голландской подписью и русское письмо со списком каких-то стрельцов. Патриарх в свою очередь поверил своим людям и представил все эти вещи как явное доказательство изменных замыслов Медведева.

30 сентября по присланным материалам Медведеву был устроен допрос — и вновь заплочных дел мастерам не удалось обнаружить в действиях Сильвестра криминала. Медведев подробно рассказал об истории создания политических гравюр в России и за границей „к похвале великой государыне” царевне Софье. Проверять

его слова, розыскная комиссия провела множество допросов причастных к этому делу людей, выяснила все в подробностях. Но результат свидетельствовал против обвинения — он подтверждал, что Медведев совещался с Шакловитым действительно „о рацеях” (подписях к гравюрам, в которых не было ничего предосудительного), а не о политических убийствах, как хотелось доказать следствию. „Не сработали” и письма. Медведев сказал, что „не ведает”, как они у него объявились. Список стрельцов не включал фамилий лиц, привлеченных к розыску, а письмо голландского купца розыскная комиссия оказалась не в силах перевести.

Ретивость в изобретении обвинений против ученого старца проявлял не только патриарх. Пришедшие к власти политиканы отработывали долг перед Иоакимом добросовестно и со своей стороны подготовили к 30-му числу подробнейшие „вопросные статьи”, буквально высасывая из изветов и допросов все, что мало-мальски годилось для обвинения в „измене”. Например, из истории с юродивым Ивашкой, присланным Шакловитым для освидетельствования к Медведеву, розыскная комиссия вынесла такой вопрос: „И тот юродивый не раскольник ли, и не для какого ли воровства, умысла и раскола его Федька присылал?” На допросе Сильвестр рассказывал о „смятении” в Москве (подстроеном „петровцами”, о чем обвиняемый не знал), в том числе о событиях, о которых только слышал. А почему Медведеву рассказывали об этом „и ему... до того какое дело?” — интересовалась комиссия. Медведев упоминал о совершенно нелепом доносе патриарха царевне Софье, когда хотел объяснить, почему уже давно собирався удалиться в дальний монастырь. Комиссия из этих слов сделала вопрос: „На Дон Селиверстко к казакам писем о возмущении каких не посылал ли?”

Не брезговали следователи и передергиванием, прямым искажением смысла слов свидетелей. Келейник Медведева старец Арсений говорил, что у Сильвестра

„умысла... никакого на государское здоровье не слышал”, „а о церкви божией он, Сильвестр, говорил многократно: напрасно-де смутили душу святейшего патриарха приезжие греки; а он, святейший, человек бодрый и добрый, а учился мало и речей богословских не знает” (иными словами, не виноват в ошибке с евхаристией). Арсений особо подчеркнул, что „на святейшего патриарха умысла никакого не бывало и не слышал”. А вот как звучал составленный розыскной комиссией вопрос Медведеву:

— Про него, Сильвестра, старец Арсений сказал, что он, Сильвестр, говорил про святейшего патриарха, что он учился мало и речей богословских не знает. И он, Сильвестр, для чего такие непристойные слова про него, святейшего патриарха, говорил?

Далее из слов Арсения комиссия сделала вывод, „что у Сильвестра противность церкви и святейшему патриарху. А какая противность, про то ведает он, Сильвестр?”

Все вопросные статьи были состряпаны грубо, примитивно. Содержащиеся в них обвинения столь тонкий полемист, как Медведев, вполне мог опровергнуть. Но розыскная комиссия упирала не на логику, а на хорошо проверенное и знакомое ей средство — на пытку.

Пытка в Российском государстве конца XVII века внешне уступала чудовищным изобретениям церковных и светских властей Западной Европы. Отечественный застенок был лишен большей части технических приспособлений, удовлетворявших садистским склонностям инквизиторов и их протестантских коллег. В хорошо звукоизолированном каменном помещении-подклетке к потолку был подвешен блок с веревками, которыми обвязывали закрученные назад руки пытаемого. За кисти рук несчастного поднимали к потолку — вешали на дыбу. Между связанных ног ему продевали

бревно, на которое палач прыгал, чтобы руки пытаемого вышли из плечевых суставов и он оказался растянут между полом и потолком. Затем, по указаниям ведущего допрос, специальный мастер заплочных дел брал в руки плетеный кнут из полос жесткой кожи, иногда для большей эффективности усаженный металлическими остриями. Удар наносился так, чтобы кнут-длинник обвился вокруг тела и содрал широкую полосу кожи до мяса и костей. Кроме того, пытаемого можно было жечь огнем или прикладывать к его телу кусок раскаленного на углях металла, но эти дополнительные средства обычно оказывались излишними. Подозреваемые часто „признавались” уже при виде кнута и дыбы (это называлось „расспросом у пытки”). Мало кто из сильных и привычных к опасностям людей, имевших раны в боях с турками и татарами (а такие были среди подвергнутых розыску 1689 года), продолжал отрицать возводимые на них обвинения после пяти или десяти ударов длинником.

Во время пытки на дыбе 30 сентября Медведеву было дано 15 ударов. Согласно церковному источнику, его также жгли огнем. В отличие от своих собратий по несчастью истерзанный и залитый кровью Сильвестр не только не „повинился”, но и опроверг все возведенные на него обвинения. Разъяренные следователи, ужесточая пытку, придумали по ходу дела еще одно обвинение — будто бы у ученого старца хранилась книга „от тайных дел” (вероятно, из приказа Тайных дел, где он когда-то служил). „Такой книги у меня не бывало”, — стоял на своем Сильвестр. Ничего не добившись, палачи бросили Медведева в камеру, но в тот же день снова поволокли его к пытке. На этот раз на дыбе висел старый знакомый Медведева, стрелецкий пятидесятник Никита Гладкий, и после 10 ударов кнута „винулся”. На Сильвестра он показал, что тот давал ему и нескольким другим стрельцам деньги. Мастера заплочных дел хотели сделать на этом новое обвинение против Медведева, надеясь, что воля ученого ослабла.

Однако и на этот раз добиться „признания” не удалось. Сильвестр на очной ставке в застенке заявил, что деньги несколькими „погоревшим” в московском пожаре стрельцам попросил его дать Шакловитый, срочного уезжавший тогда на Украину. Переговоры Шакловитого с гетманом Мазепой состоялись в 1688 году, то есть задолго до „смуты” в Москве. Видя, что очная ставка не удалась, следователи продолжили допрос Медведева, обвиняя его в покушении на патриарха. Сильвестр и здесь заставил розыскную комиссию расписаться в протоколе пыточных речей в поражении: он не только не приходил к патриарху, но и не участвовал в крестных ходах, где присутствовал Иоаким, ибо кому же не известно, что Медведев должен был опасаться патриарха?!

По-видимому, к концу „трудового дня” 30 сентября у заплочных дел мастеров нервы стали сдавать, потому что они задали Медведеву весьма опасный вопрос, ответ на который записан так: „А как он в Верху (во дворце. — А. Б.) бывал, и в то время при великой государыне царевне бывали князь Василий и князь Алексей Голицыны”. Вопрос явно наводил на мысль о каких-то особых личных отношениях монаха с царевной, болтовня о личной жизни которой не только в это время, но и позже каралась урезанием языка, кнутом и ссылкой⁴⁷. У следователей хватило ума не записать формулировку своего вопроса, но это было слабое утешение. Пытка Медведева ничего не дала. Не сумев сломить ученого старца, „петровцы” вынуждены были вынести ему смертный приговор без вины.

Приговор Сильвестру (теперь уже Семену) Медведеву сохранился в отечественной истории как приговор его убийцам, занимавшим государственные посты. Разум вновь показал свое превосходство над властью, озабоченной лишь уничтожением инакомыслящего, ко-

торый и перед лицом смерти руками самих убийц заявил потомкам о своей правоте. Медведев был приговорен к смертной казни путем отсечения головы „за воровство, и за измену, и за возмущение к бунту”. В чем же состояли его уголовные деяния?

Прежде всего, с почти наивным бесстыдством гласил приговор, в том, что Ф. Л. Шакловитый много раз приезжал к Сильвестру и разговаривал с ним; при этом он, Шакловитый, умышлял убить царицу Наталию Кирилловну и короновать Софью царским венцом. Но при чем здесь Медведев, если даже в приговоре бояре не набрались наглости сказать, что он имел к этим замыслам какое-либо отношение? Медведев и Шакловитый разговаривали между собой тайно — это все, что приговор вменяет Сильвестру в вину.

Затем, к Медведеву приходили разные лица из стрельцов и рассказывали „о злых своих умыслах, и о возмущении ночного бунта, и о побиении бояр и ближних людей” — а он на них не донес! Недонесение о совершенном преступлении или подготовке к нему законно каралось по Уложению 1649 года, но из материалов дела неопровержимо вытекает, что в данном случае статья Уложения неприменима. Донести Медведев в принципе не мог не только из этических соображений. В деле четко записано, что он не донес „из страха”, других версий нет, да и не могло быть, потому что доносить пришлось бы на действующее правительство. Но даже если мы игнорируем эту „тонкость”, как пройти мимо того, что сам Медведев и другие свидетели утверждают: Сильвестр предупредил преступление, пресек его замысел в самом зародыше? Как ни старалась розыскная комиссия, получалось, что за этот эпизод Медведев достоин награды, а не наказания. Разумеется, если оставаться в рамках законности, что для правителей России почти всегда было необязательно.

Далее, Медведеву были приписаны слова юродивого Ивашки (передававшего сказанное человеком патриар-

ха). Так же голословно приговор утверждал, что Сильвестр говорил на патриарха „непристойные слова”, что он сам велел быть в Заиконоспасском монастыре „караулу от святейшего патриарха”, „чтоб его святейшему патриарху не отдать”, хотя в деле ясно записано, что непристойных слов на патриарха обвиняемый не произносил, а народ собирался у его кельи и охранял от клеветов Иоакима по своей воле: Медведев никого для этого не приглашал.

Мотивировочная часть приговора столь заметно хромала, что даже не верящим в суд потомков политикам захотелось ее расширить. Сильвестр был обвинен в том, что, „ведая свое воровство (какое? — А. Б.), с Москвы побежал” и взял с собой других людей, „воров же и изменников”. Все равно получалось неубедительно. Тогда добавили, что „вор” поддерживал злоумышленную связь с Шакловитым, причем бес попутал обвинителей указать, в чем она заключалась: Медведев передал Шакловитому, „что великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца рука высока и надобно перетерпеть”. То есть Сильвестр „воровски” увещевал сторонника царевны Софьи смириться и не выступать против Петра. Сильное обвинение!

И этого показалось мало. Уже совершенно ни к селу ни к городу в конце приговора появилась фраза: „И деньги стрельцам по приказу его, Федькину, как он, Федька, ездил к гетману, давал”. Что предосудительно было в этом старом событии, вполне объясненном в розыском деле, непонятно, но фраза, завершающая приговор, хорошо подчеркивает его пустоту. Вероятно, именно таким и должен быть приговор просветителю, которого убивают, чтобы века спустя историки могли важно изречь: „Он опередил свое время” (или другую подобную банальность).

Приговор прозвучал 5 октября 1689 года, но Медведеву, в отличие от его товарищей, пришлось долго ждать смерти. Объявленный приговор не приводился в исполнение. Более того, правительство приняло экстраординарные меры к охране смертника. 10 октября царским указом для караула при заключенном в темнице Троице-Сергиева монастыря Медведеве были истребованы подполковник, два капитана и 35 стрельцов. Правительство следило, чтобы охрана постоянно менялась. 13 октября подполковник Мартемьян Сухарев (в честь которого была названа Сухарева башня в Москве, ныне снесенная) принял Медведева и еще троих колодников у подполковника Федора Айгустова, чтобы, взяв дополнительно к отряду московских стрельцов стрельцов Троицкого монастыря, „держать тех колодников в том же монастыре в тех же кельях за крепкой стражей... и смотреть за ними накрепко, чтоб они куда не ушли и дурна над собой какого не учинили”. О принятии колодников в целостности и сохранности следовало незамедлительно отписать царям и доложить боярину Т. Н. Стрешневу.

5 ноября 1689 года на охрану колодников в том же порядке заступил отряд подполковника Ивана Климонтова. 2 декабря ему на смену отправился стольник и полковник Василий Ельчанинов, „усиленный” капитаном Нелидовым. 2 января 1690 года в охрану был назначен капитан Галактион Охотницкий, но его чин оказался недостаточен для столь ответственного поручения, и 13 января капитану велено было сдать пост подполковнику Алексею Чичагову. 17 февраля тюремщиком стал подполковник Иван Башмаков, 20 марта — подполковник Гаврила Башев, 5 мая — подполковник Богдан Юдин, 20 июня — капитан Владимир Жаворонков, 5 августа — капитан Иван Бордадатов, 8 сентября — капитан Никифор Бородин, 13 октября — капитан Иван Пятин, 19 ноября — капитан Иван Пасынков, наконец, 29 декабря 1690 года на пост при Медведеве заступил

капитан Григорий Есипов. Хотя, как мы видим, подполковники во главе охраны постепенно сменились капитанами, тюремное содержание столь опасного преступника было довольно дорогим удовольствием для правительства. Разумеется, оно шло на такие жертвы не из милосердия.

„Мудроборцы”, столь упорно добивавшиеся смерти своего врага, успели-таки сообразить, что идеи Медведева опаснее его самого и что, истребив Медведева, они не погасят полыхающий в России „огнь зломысленного мудрования”. Напротив, пример ученого старца, смело пошедшего на смерть, но не склонившегося перед церковной властью, мог воодушевить тех, кто вслед за ним требовал для себя „права рассуждать”. Медведева надо было заставить отречься. И патриаршие умельцы принялись за дело там, где отступились светские мастера заплочных дел.

* * *

Прежде чем рассказывать о последних днях Медведева, хочу обратить внимание читателя на то, что мы более не услышим ни одного достоверно принадлежащего Сильвестру слова, не сможем использовать даже такой источник, как протоколы его допросов. В нашем распоряжении имеются исключительно сочинения врагов Медведева, пропитанные ненавистью и насквозь лживые⁴⁸. Думаю, нам будет особо интересно и поучительно проследить, как в столь сложных (но, к сожалению, не уникальных) условиях правда продолжает жить и все потуги „мудроборцев” затруднить потомкам путь к исторической истине оказываются тщетными. Как голодные пауки в банке, лживые измышления пожирают друг друга, а их останки, в противность воле клеветников, позволяют по крупницам восстановить действительную картину событий.

„В то время как Сенька Медведев в темнице пребывал и день ото дня смертного конца — главоотсечения

ожидал, святейший и блаженнейший архипастырь Христовой словесной паствы кир Иоаким... патриарх, подобясь архипастырей архипастырю самому незлобивому Христу Богу, низшедшему взыскать погибшую овцу двора своего, не помянув его, Сеньки Медведева, всякие злобы, и злодеяния, и злословий, и досад, и укоризн, и непокорства, более того — противности к себе и к святой церкви, не желая ему погибнуть в отступничестве от святой восточной церкви и в ереси латинского новозломудрования, послал к нему в узилище мужей неких священных и философов, восточного благочестия учителей православных, на обличение ереси его, которую он вводил и ввел в большинство православно-российского народа". Так, не мудрствуя, прямо со лжи начинает рассказ об „отречении" Медведева автор одного из мудрорборческих сочинений, приближенный патриарха Иоакима.

Сравнение патриарха, приложившего все силы к тому, чтобы Медведев со дня на день ожидал смертной казни, с „незлобивым Христом", заставляет усомниться в вере автора-„мудрорборца". Попытка убедить нас, что Иоаким действовал исключительно из гуманных соображений, выглядит просто наивно на фоне массы создававшихся в 1690—1693 годах полемических сочинений против „ереси" Медведева. В лучшем для автора цитированных строк случае мы можем сказать, что комиссия „священных и философов" была послана в темницу к Медведеву, чтобы попытаться с его же помощью „истребить" вышедшие из его „бездверных уст" идеи, которые „мудрорборцам" и после осуждения Сильвестра не удавалось побороть.

Это „в лучшем случае", поскольку согласно другому мудрорборческому сочинению никакой комиссии не посылалось и „раскаяние" Медведева произошло отнюдь не через „несколько дней" после вынесения ему приговора (как отмечает далее первый автор), а гораздо позже: „И больше годичного времени в Троицком

Сергиеве монастыре был заключен. И там будучи, придя в себя, о развращении церковном покаялся и дал о том свое покаянное рукописание... словесное и письменное”. Третью, столь же произвольную дату дает само „отречение” Медведева, датированное декабрем 1689 года (указание числа во всех его списках почему-то отсутствует).

Правда, „отречение”, или, как называли это сочинение в окружении Иоакима, „покаянное исповедание”, Медведева признает существование комиссии, якобы убедившей еретика в ошибочности его мнения о пресуществлении святых даров. Оно даже перечисляет состав комиссии, куда вошли новоспасский архимандрит Игнатий Римский-Корсаков (действительно знающий, многогранно талантливый человек и личный друг патриарха), бывший игумен Воздвиженского монастыря Ефрем, Софроний Лихуд „и иные”. Но в предисловии к „покаянному исповеданию”, написанном от лица Иоакима, ни о какой комиссии речи нет. Напротив, оно уверяет, что Медведев написал „писание оно самовольно”. Автор предисловия обращает особое внимание на то, что „еретик” отрекся от своих убеждений „не от нужды и не от страха”, что его никто не заставлял и ничем не соблазнял каяться. Отечественному читателю, привычному к чтению между строк, ослиные уши здесь достаточно заметны.

Сохранение Медведеву жизни не имело для „мудроборцев” смысла, если бы они не хотели использовать его в своих целях. Медлить в условиях продолжающегося брожения умов не следовало. Поэтому можно поверить, что патриарх отправил своих людей для получения „отречения” Медведева вскоре после вынесения ему смертного приговора. Перечисленные в „покаянном исповедании” люди действительно были в это время при патриархе и могли составить комиссию, хотя достоверно мы не можем этого утверждать. Важно, что им (или иным посланным в Троицу) сразу заставить

Медведева „раскаяться” не удалось: иначе зачем было бы датировать „покаянное исповедание” декабрем?

О том, что эта дата не случайна, мы можем судить по ее связи с другой датой. Патриаршее предисловие к „покаянному исповеданию” уверяет, что последнее было зачтено на освященном соборе „по неких днях” (а не неделях и не месяцах) после его присылки в Москву, а вслед за ним читалось „Слово поучительное” самого Иоакима. Слово это в одной из рукописей датировано январем 1690 года. Таким образом, можно поверить, что патриаршая комиссия добивалась от Медведева „отречения” около двух месяцев или более — значительную часть октября, ноябрь и часть декабря 1689 года. Методы такого рода деяний известны, о достоверности вырванных с их помощью „покаяний” современный читатель имеет представление. Свообразие нашей истории состоит только в том, что Медведев не отрекся от своих убеждений и не раскался в своих поступках. Обреченный на смерть, закованный в ручные и ножные кандалы, упрятанный в каменный мешок, писатель нашел в себе силы не только не написать, но и не подписывать изготовленное для него „покаянное исповедание”. Вероятно, ему объяснили, что это бесполезно, что покаяние „сойдет” за истинное и без его подписи, что о его бессмысленном упорстве никто никогда не узнает, а сам он безвестно сгинет, как изверившийся в своих заблуждениях еретик. Медведев оказался из тех редчайших людей, которые ни под каким видом не способны отречься от истины, которые и жизнью, и смертью своей утверждают веру в человека.

Чтобы нагляднее представить себе события, связанные с „отречением” Медведева, раскроем сборник церковно-исторических актов второй половины XVII века, хранящийся в Синодальном (бывшем патриаршем) собрании рукописей Государственного исторического му-

зая под номером 991. Здесь на листах 322—340 находятся подлинники „покаянных исповеданий” Семена Медведева и его единомышленника в споре о пресуществлении, бывшего попа, а ныне монаха Симеона (Саввы) Долгого. Оба документа написаны на отличной голландской бумаге четким профессиональным почерком, но лишь один из них подписан, как полагалось, по листам: „К сему моему истинному покаянию и православному исповеданию аз недостойный и многогрешный Симеон во извещение правды руку приложил”.

Для объяснения отсутствия аналогичной подписи Медведева составители документов использовали простой прием, обманувший, однако, многих исследователей. Прямо в тексте первого „исповедания” указано, что его писал „я, многогрешный Сенька, своею рукою”. Чтобы убедиться в ложности этого указания, довольно было взглянуть на рукопись, почерк которой не имеет ничего общего с почерком Медведева. На это еще в конце XIX века указал историк церкви А. А. Прозоровский. Кроме того, Медведев всегда специально подписывал автографы своих сочинений. Наконец, составители „исповеданий” совершили грубую ошибку, которую мог заметить и человек, незнакомый с рукописями Медведева. Получалось, что заключенный и закованный в кандалы „еретик” каким-то образом своей рукой написал и „исповедание” своего находящегося на свободе бывшего товарища — ведь оба документа писаны одним почерком!

Не вполне осмотрительно было сфабриковано и содержание „покаянных исповеданий” Медведева и Долгого. Например, составители поленились выдумывать два разных текста и в значительной мере списали второе „исповедание” с первого, сокращая и частично варьируя его. Они явно переусердствовали с милыми сердцу „мудроборцев” ругательствами (типа „яда душегубительного исполненной отравы”, „многого блядословия”, „развращенного писания”, „зломудрствова-

ния” и т. п.), которыми преизобильно осыпает себя „автор”, низкопоклонно извиняющийся перед теми, кого он якобы несправедливо оскорблял. Для Медведева, как мы помним, главное в полемике составляли идеи, для его противников — личности. И при составлении „покаянного исповедания” Медведева „мудроборцев” неумолимо влекло по накатанному пути: их „лирический герой” прежде всего кается в нанесенных конкретным лицам обидах.

Оказывается, что Медведев греческих патриархов „хульно называл именами непристойными”. На следствии он почему-то заперся, а в „исповедании” наконец признался, будто на патриарха Иоакима „клеветал и называл его досадными и укорными именами перед многими людьми”. В „исповедании” впервые является, что Медведев „наветовал” и „говорил слова, всякого безчестия и злословия наполненные” на игумена Печатного двора Сергия и бывшего уставщика Чудова монастыря Моисея, в то время как на братьев Лихудов (действительно сильно задетых в сочинениях Сильвестра) он всего лишь „клеветал и говорил слова хульна и бредна”: зато теперь он их книгу „Акос” „приемлет и лобызает”. Следы авторства „мудроборцев” вырастают из „исповедания” до невероятных размеров в извинениях перед их негласным лидером Евфимием Чудовским: этому „самому православному мужу, и правды ревнителю, и церкви поборнику, и веры защитнику” сочинение уделяет внимания больше, чем российскому патриарху!

По сравнению с этим кажется уже мелочью, что, горячо проклиная от имени Медведева его сочинения, автор „покаянного исповедания” знает их настолько плохо, что не упоминает одно из крупнейших — „Известие истинное”. Он, видимо, знал за собой эту слабость и применил оптовую формулу: „Я, окаянный”, все написанное в книге „Манна” „и иные неправые писания какие-либо, и противные святой восточной церкви мудро-

вания, от меня через слово или через письмо в мир рассеявшиеся вредословия” (на разных лиц, которые перечисляются) — „все то отметаю, и отрицаю, оплевываю, под ноги пометаю, и попираю, и огнем сжигаю, и анафеме (!) предаю”, — говорится от имени Медведева.

В „покаянном исповедании” Медведев предстает как человек, исключительно мало знающий, который мигом узрел истину, когда ему предложили взглянуть на ряд весьма известных книг, привезенных в Троицу из библиотеки патриарха. Простота его якобы такова, что он „не ведал, что они, римляне, суть духоборцы, того ради и... на пресноках действуют” во время литургии. Более чем странное признание для человека, точно освещавшего в своих сочинениях католический чин литургического действа! Но это отнюдь не странно для „мудроборцев”, стремившихся свести деятельность Медведева к подготовке объединения православной церкви с католической.

С большим рвением автор (или авторы) „покаянного исповедания” выискивали в трудах Медведева „римскому отпадшему от благочестия костелу многие похвальные слова”. Приятно отметить, что, даже извращенно истолкованные, вырванные из контекста, медведевские цитаты в „исповедании” свидетельствуют о его правоте как ученого и гуманиста. Католическое не значит несправедное, убеждал русский просветитель, показывая, что православная и католическая церковь во многом согласны между собой. „И то винно ли римляне творят, что со Христом о пресуществлении его словами веруют?” „Безумие говорить, что если кто верует в пресуществление Христовыми словами, как и римляне, тот римской церкви последователь и соглашатель с нею, что нам якобы не подобает так держать уже потому, что римляне так держат, дабы нам в том с римлянами не быть согласным”.

Тот факт, что Медведев активно выступал в защиту православия, в том числе и против католического влияния, не волновал „мудроборцев”. Им надо было обязательно извратить его позицию, представить просветителя агентом иезуитов и их „слуг” — православного духовенства Украины.

Эта версия оказалась очень устойчивой в исторической литературе, в частности, потому, что запечатлелась во многих письменных источниках конца XVII века. „Мудроборцы” столь усиленно обвиняли в латинстве украинцев, Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева, что не только в России, но и за рубежом стали распространяться самые странные слухи. Так, во французском сочинении этого времени сообщалось, будто царевна Софья и князь Голицын хотели „устроить избрание в патриархи отца Сильвестра, инока греческой религии, но по рождению поляка (!), человека очень умного, который тотчас же предложит посольство в Рим для соединения церквей, что доставит им (Софье и Голицыну. — А. Б.) большой почет”. Аналогичную версию сообщал и побывавший в России иезуит Иржи Давид⁴⁹. Как видим, целя в Медведева, патриарх Иоаким и его сторонники одновременно дискредитировали в глазах православных и основных политических врагов „петровской” группировки. Слившиеся во время августовского переворота 1689 года светские и духовные преследования и в дальнейшем протекали в едином русле.

Если мы (спустя 300 лет) легко замечаем подложность „покаянного исповедания”, приписанного Медведеву, тем легче это было сделать современникам событий. На что же надеялась патриаршая комиссия, в которую, как мы помним, весьма вероятно входил по крайней мере один высокообразованный деятель русской православной церкви — Игнатий Римский-Корсаков? Посланцы патриарха, обрабатывавшие Медведева в темнице Троице-Сергиева монастыря, в конце концов поняли, что узник не станет писать „отречение”. Что ж,

это нетрудно было выполнить за него (а заодно и за его бывшего сторонника — Долгого). Но они не могли поверить, что не смогут заставить ученого литератора, со дня на день ждущего казни, хотя бы подтвердить написанное за него — и сохранить жизнь, более того, выбраться из ужасной темницы в обычную монастырскую келью. Комиссия много обещала, требуя немногого, разумеется по своему счету.

Заготовленные рукописи „покаянных исповеданий” Семена Медведева и Симеона Долгого оканчивались одинаково. От лица „кающихся” в них говорилось, что „это мое покаянное рукописание... прочтя всенародно, полагаю в руки... Иоакима... патриарха при всем священном соборе в храме пресвятыя Богородицы всероссийского и славнаго ея Успения, престольном всероссийския патриархии”. Действительно, в тексте „исповеданий” содержатся многочисленные прямые обращения к священному собору русской православной церкви (в „исповедании” Медведева таких обращений восемь). Замысел „мудроборцев” вырисовывается перед нами достаточно ясно.

Разгром „хлебопоклонной ереси”, а вместе с ней и ростков рационалистической мысли был задуман с большим размахом. Власть патриарха должна была восторжествовать над разумом верующих публично, на священном соборе, решения которого укрепили бы влияние „мудроборцев”, увековечили их победу. Множество частных мероприятий: террор против украинского духовенства, подкуп константинопольского експатриарха, переговоры с иерусалимским патриархом Досифеем, следствие над митрополитом Маркеллом (которое вел тот же Игнатий Римский-Корсаков), распространение полемических сочинений и слухов, пугающих обывателя наступлением иезуитов, — все это служило одной цели — подготовке священного собора.

Особо пришлось потрудиться над исполнителем центральной роли — Семеном Медведевым. Цель оправ-

дывала использованные средства — наиболее опасный смутьян должен был сам опровергнуть свои бредни, проклясть все, что он отстаивал, объявить свое стремление к самостоятельному поиску истины преданностью к латинской церкви, наклеить идеологический ярлык на дело своей жизни — в назидание и поучение непокорной пастве.

На вторую роль (выпустить одного исполнителя было недостаточно) прекрасно подходил Иннокентий Монастырский: пускай и малороссы проклянут свою ученость, убедятся, чего она стоит по сравнению с волей патриарха! Но Иннокентий уперся — и из представителя православия Украины сразу стал проклятым евреем... С ним можно было расправиться попросту, на вторую роль кандидатур хватало. Хорош был бы Афанасий Иоаннов (да сослан далеко, в Тобольск)⁵⁰ — но мог вполне сойти и Савва Долгий, в монашестве Симеон: трудно ли прочитать с выражением заготовленный для него текст?! А вот без Медведева было не обойтись. Без его покаяния все мероприятие теряло вес. Здесь стоило поработать. И, как мы видели, патриарх со своими друзьями-„петровцами” поработал.

Непредвиденный, невозможный отказ Медведева от „отречения” нанес по замыслу „мудрборцев” мощный удар. Не сумев всеми имеющимися силами и средствами сломить одного отданного в их руки человека, „мудрборцы” заметались. Первоначально они сошлись на том, чтобы объявить, будто Медведев сам написал и прочел свое „покаянное исповедание” прямо в Троице перед архимандритом Викентием, казначеем нижегородского Благовещенского монастыря Иосифом „и иными”. Так объявлялось в слове от лица патриарха Иоакима „О покаянном писании Сильвестра Медведева”, помещенном в книге Евфимия Чудовского „Остен” как документ священного собора. Иоаким якобы гово-

рил, что по просьбе Медведева его „покаянное исповедание” было прочтено в патриаршей Крестовой палате перед „преосвященными архиереями и всего царствующего града Москвы всем священным чином: архимандритами, игуменами, протопресвитерами, иереями и дьяконами от всех церквей”. Затем Симеон Долгий сам прочел свое „исповедание”. После этого патриарх велел прочесть свое „поучительное слово”. В заключение от лица патриарха говорится, что он распорядился широко распространить „покаянные эти писания Сеньки Медведева и монаха Симеона Долгого и свое архипастырское поучение... пока все, сделанное по этому делу, не будет собрано и печатным тиснением издано”.

Как видим, сценарий священного собора изменился. В связи с отсутствием главного „раскаявшегося еретика” церемония должна была быть менее представительной и проводиться не в Успенском соборе, а в Крестовой палате. Помимо московского духовенства на соборе должны были присутствовать только оказавшиеся в столице иерархи. Какие именно — указывает архиепископ Афанасий Холмогорский в пространной редакции своей книги „Щит веры” (отредактированной в 1693 году): Адриан, митрополит казанский и свияжский; Евфимий, митрополит сарский и подонский; Павел, митрополит нижегородский и алатырский; наконец, сам автор. Одна из рукописей прибавляет к этому списку митрополита рязанского Авраамия, архиепископа вологодского Гавриила и епископа тамбовского Питирима⁵¹. Список не слишком представительный, так что Афанасию пришлось оговаривать, будто немногие присутствующие иерархи „имели волю и согласие и неприсутствующих архиереев, сущих в Великой и Малой и Белой России”.

Однако и по такому усеченному сценарию священный собор не удалось провести. Современник событий, иеродиакон Дамаскин, с возмущением писал, что для

обсуждения столь важного вопроса, как время пресуществления святых даров, „мудроборцы” собрали одних лишь „приходских священников, какие тогда находились на Москве”. „О таком деле, — писал Дамаскин, — надлежало бы созвать собор в мирное время, по совету царскому, пригласить всех архиереев и архимандритов, изложив подробности дела, собрав нужные для этого книги, катехизисы и другие древние учительные писания, испытать и разсудить явно перед всеми и, уверившись, подтвердить всем собором и подписать собственноручно, а не тайно, по закоулкам и под страхом смерти”⁵².

Впрочем, сам Дамаскин не был участником и такого собрания „по закоулкам”, долженствующего избрать священный собор, — поскольку оно никогда не проводилось. Помимо отказа Медведева от „отречения”, сломавшего четкий план „мудроборцев”, им мешало еще одно серьезное обстоятельство: тяжелая болезнь главы этой группировки — патриарха Иоакима. Недаром в сценарии „собора”, описанном в „Остене” Евфимия Чудовского, патриарх вопреки традиции и личным привычкам передает собственное „Поучительное слово” для прочтения другому лицу (протопресвитеру Успенского собора Иоанну). Уже зимой 1690 года Иоаким не был способен выступать сам. Строго говоря, нельзя утверждать, что он был знаком с написанным для него (как обычно) текстом „Поучительного слова”. 17 марта 1690 года патриарх скончался, завещав похоронить себя в московском Новоспасском монастыре у своего друга архимандрита Игнатия Римского-Корсакова (а не вместе с другими патриархами)⁵³.

Публично раздавить „ересь” Медведева авторитетом священного собора русской православной церкви „мудроборцы” не успели. В „Остене” Евфимия не оказалось самого главного документа, с которым подготовленные материалы можно было „печатным тиснением издать”, — не оказалось соборного постановления! Без

него, несмотря на все старания по распространению „Остена”, действительность этой полемической книги была ничтожна; сама она справедливо подвергалась критике в церковных кругах. А в „Щите веры” Афанасия Холмогорского, присланном в столицу из его отдаленной епархии весной — летом 1690 года, вообще не было никаких упоминаний о священном соборе, которые могли бы подкрепить содержащиеся в книге злобные поношения и клевету на Медведева.

Да и откуда было взяться таким упоминаниям, если „о исповеданиях рукописных, поданных от новых схизматиков” (Медведева и Долгого) Афанасию сообщал его приятель и единомышленник Игнатий Римский-Корсаков в том же письме, где он радуется своего корреспондента хорошим приемом „Щита веры” в Москве?! В этом письме Игнатий подробно рассказывает о кончине Иоакима и борьбе „в верхах” церкви при избрании патриарха Адриана. „Новости” Римского-Корсакова охватывают большой промежуток времени после того, как осенью 1689 года Афанасий встретился с ним в Москве (в частности, взял для переписки несколько книг из его библиотеки). С тех пор архиепископ прислал архимандриту уже два письма, и Игнатий должен был извиниться, что „по настоящее сие время не получил времени такого, дабы к преосвященству Вашему воздравствовать и писание восписати”. Иными словами, датировать „покаянные исповедания” Медведева и Долгого мы по этому письму не можем — они могли быть написаны (и, скорее всего, были написаны) раньше лета 1690 года. Но совершенно очевидно, что ни Афанасий, ни причастный к составлению „исповеданий” Игнатий вплоть до поставления на патриарший престол Адриана не только не участвовали в священном соборе, обсуждавшем „отречение” Медведева, но и не знали о нем.

Это не помешало Афанасию Холмогорскому в 1693 году вставить в новую, расширенную редакцию своего

„Щита веры” постановление священного собора об „отречении” Медведева — собора, проходившего под председательством патриарха Иоакима и при участии... самого Афанасия! Поистине „старомосковской партии” духовенства оставалось уповать на большую ложь — вероятно наглую, выходящую далеко за рамки представлений современников о том, как можно солгать, и потому выглядящую достоверно. Даже, искушенные тяжким историческим опытом, позднейшие исследователи, замечавшие противоречия в показаниях источников, с немалым трудом приходили к мысли о фиктивности священного собора против „хлебопоклонной ереси”. Шутка ли — выдумать целый собор! Для человека верующего это пострашнее, чем выдумывать земские соборы, „всенародно и единогласно” избиравшие якобы царей и Софью-правительницу, как это делали беспретные в вопросах морали придворные дельцы. Медведев был прав, предсказывая, что, ослепленные своими личными целями, духовные лица будут становиться все более опасными для основ православной церкви, безжалостно дискредитируя саму веру в глазах паствы. Где пастыри, могли бы вслед за просветителем посетовать многие, которые „истинно постятся: мяс не ядуще, плоти ближнего не едят — вина не пьюще, крови братской не пьют, которые злостными лживыми словами и пагубным обманом, как зубами, не грызут брата своего”?! Автор подложного „Соборного постановления” нам неизвестен, и, пожалуй, мы не будем здесь бросать ни на кого тень предположениями. Лучше постараемся извлечь из подделки еще одну каплю правды о Медведеве.

„Соборное постановление” не имеет даты (по ней подделку было бы легче уличить). В обвинениях Медведева оно вполне совпадает (и даже текстуально) с „покаянным исповеданием”, к которому постоянно отсылает читателя. Смысл документа ясен — он должен был доказать необыкновенное милосердие церковных влас-

тей, „как блудного сына” принимающих раскаявшегося еретика в лоно православной церкви после его полного отречения от заблуждений. Сочинения Медведева от лица священного собора предаются проклятию. Вместе с книгой Иннокентия Монастырского (относительно которого „мудроборцы” вновь дают волю своей юдофобии) „и иными подобными писаниями” они приносятся к всенародному сожжению.

„Отречение” Медведева — центральный и, по существу, единственный аргумент против его взглядов. Чтобы придать „отречению” достоверность, „Соборное постановление” тщательно оговаривает якобы присужденную Медведеву епитимию-наказание, отбыв которое он сможет полностью возвратиться в лоно церкви. Несколько лет „оглашенный” должен стоять вне церкви „и свои хулы обличать всякому входящему и исходящему”; „по сем с верными стоять в церкви, общения же не принимать лет (сколько, не указано), чтобы не только словами, но и делами истинное покаяние показал”. Затем он будет освобожден от отлучения, допущен к причастию и восстановлен в монашеском звании.

С точки зрения видимой достоверности „Соборного постановления” хорошо выглядит требование, чтобы раскаявшийся начал проповедовать против своих заблуждений „и прельщенных от него письменно и словесно обращать и учить их... догматы православно держат”. Но стоило „мудроборцам” на миг представить себе новое сочинение Медведева, как нахлынувшая волна дикой злобы разрушила столь гармоничную фальсификацию. Разбивая предыдущие уверения, страх выбросил на страницы „Соборного постановления” истинное отношение его создателей к непобежденному писателю:

— Жить ему... под крепким началом у самого искуснейшего и твердейшего мужа... в молитвах и постах, в смирении и трудах, в каких только можно пребывать; с иными же людьми видеться наедине и раз-

говаривать никак не велеть, бумаги и чернил отнюдь не давать!

Трудно было ожидать от „мудроборцев” более ясного признания, что Медведев не смирился, что его „отречение” — фикция, что церковная власть трепещет перед словом ученого. Столь отчетливо выраженный страх говорит нам о том, что „Соборное постановление” фабриковалось при жизни узника Троице-Сергиева монастыря. Но в нем уже прослеживается план умерщвления опасного вольнодумца. Недаром чуть ли не половину „постановления” занимают „большие опасения”, что „Сенька Медведев приносит ныне покаяние не вседушно”; в этом случае он заранее многоречиво проклинается. К концу текста составитель выражается яснее. „Если же вновь по покаянии в отступничестве обличится — он, Сенька, или сомудрствующие ему, — таковых надлежит телесной казни предавать”, как древних новгородских еретиков или раскольников. „Итак, от царей благочестивых гражданский суд да подымут таковые”.

Чтобы подложность „покаянного исповедания” Медведева не выплыла наружу, чтобы окончательно заставить писателя замолчать, его надо было, выждав некоторое время, убрать. Способ был намечен — приговор светского суда. Оставалось только воспользоваться им, чтобы завершить биографию Медведева в клеветническом пасквиле: „Обличился он, бывший монах Сильвестр, в измене и навете на благочестивое Московское царство со своими клеветами и волхвами, гадавшими ему нечто непристойное; вновь был пытан огнем и иными истязаниями по светским судам и законам, повинился во всем и за то казнен смертной казнию — голова ему отрублена”. Или, по другому пасквилю: „Сенька вновь по светскому закону огнем, и бичами, и прочими пытками истязан, и оказался зломыслив... подобно прежнему ростриге Гришке Отрепьеву... за многие злодейские свои умышления главоотсечен был

в лето 1691 февраля в 11-й день, не получив вновь монашеского святого образа и имени, как недостойный его”⁵⁴.

Светские власти, проводившие следствие с целью убийства Медведева, похоже, позаимствовали безумную фантазию у своих духовных коллег. Дело, которое на этот раз вел Стрелецкий приказ, не сохранилось, но его содержание дважды одинаково передано в документах (памяти и докладной выписке)⁵⁵. Формально оно началось с поимки долго скрывавшегося обвиняемого по „делу Шакловитого” Алексея Стрижева 29 января 1691 года. Тот сразу же признался, что, укрываясь под Новодевичьим монастырем в доме бывшего попа Григория Павлова, слышал страшные речи некоего Васьки-иконника.

— Я богоотступник и самим Сатаной владею! — говорил якобы Васька. — Если царевна Софья даст мне пять тысяч рублей — все в государстве сделаю по-прежнему. А не даст — все равно сделаю для Сеньки Медведева, как у нас договорено: чтоб Сеньке на Московском государстве быть царем, а царевне за ним замужем неволею, а государи оба в одну неделю умрут порчей. У Сеньки Медведева уже жил вызванный из Польши волхв.

Как ни странно, следствие не заинтересовалось Васькой-иконником. Допрошен был только распоп Григорий Павлов, почему-то о Ваське не упомянувший вовсе, но подробно передавший следствию слова... самого Семена Медведева! Тот якобы подробно рассказывал безвестному попу-расстриге, что у него жил поляк и нагадал по солнцу следующее: Московскому государству грозит великая смута, цари умрут, бояр, думных людей и даже подьячих перебьют „и выберут себе царя из народа” — Сеньку Медведева! Лживость этих показаний не нуждается в комментариях. Интерес представляет

лишь тот факт, что в документах нет никаких упоминаний о привлечении Павлова к ответственности за недонесение о столь страшном волховании.

Затем якобы „Сенька Медведев сказал, что у него иноземец-поляк из-за польского рубежа был, звать Митька Силин, и такие слова ему говорил: государыня-царевна после великих государей будет владетельница, и чернеческое платье с него снимет, и пойдет за него, Сеньку”. Это показание, неизвестно, данное Медведевым или придуманное, очевидно противоречит тому, как передавал слова поляка (да еще якобы в пересказе самого Медведева) Павлов.

Более того, „показание” Медведева полностью расходится с тем, что сказал на допросе в Стрелецком приказе якобы выкраденный из-за польского рубежа Митька Силин! По его словам, он был вызван в Москву и три года (!) жил в Заиконоспасском монастыре у Медведева, промышляя в этом центре русской учености лечением болезней заговорами и другими колдовскими приемами, в том числе гадал по солнцу. Силин сказал, что Медведев раскрыл перед ним заговор: учинить бунт, убить царя Петра, царицу Наталию Кирилловну „и весь род их изгубить”; князю Василию Голицыну жениться на царевне Софье и стать царем; Федору Шакловитому „быть под царем первым князем; а патриархом бы быть ему, Сеньке; а патриарха б Иоакима сослать в ссылку”. Продолжая эти бредовые показания, Силин утверждал, что Медведев гадал по звездам и вычислил, будто все бояре стоят за Голицына, а стрельцы — за царей (?!).

Далее Силин описал свое нелепое с точки зрения астрологической прогностики XVII века „гадание” по солнцу с колокольни Ивана Великого, совершенно не соответствовавшее тем знаниям, которыми обладал в это время московский двор, не говоря уже о столь образованных людях, как Медведев⁵⁶. Однако, по его словам, Сильвестр воспринял гадание с полным доверием.

Этого Силину (а точнее, новой следственной комиссии) было мало, и он описал, как прятался у Сильвестра в келье „между чулана и печи”, подслушивая секретные совещания князя Голицына, Шакловитого и Медведева: говорили, разумеется, о царском убийстве. Следствию было известно, что Голицын в действительности никогда не приезжал к Сильвестру, а разговоры Медведева с Шакловитым не мог подслушать даже племянник Сильвестра Иван Истомин. Но показания Силина были так полезны, что он продолжал с еще большим воодушевлением: Медведев-де дважды посылал его гадать и „смотреть в животе болезни” к самому канцлеру Голицыну. Один из образованнейших дипломатов Европы, говоривший с иноземными послами на их языках и напоминавший им просвещенного итальянского князя, якобы не только допустил до себя волхва (которых, кстати, страшно боялся), но откровенничал с ним о заговоре и своей личной жизни!

Воодушевленный вниманием следственной комиссии, Силин добавил, что после того Медведев заставлял его гадать (вновь по солнцу) об исходе первого Крымского похода 1687 года. Комиссия столь увлеклась, что записала это показание, хотя оно сводило на нет всю историю с „заговором”: ведь получалось, что он совершенно сформировался за годы до того, как борьба при дворе достаточно обострилась. Но эти „мелочи” (например, противоречие с картиной „заговора”, нарисованной розыском 1689 года) не имели значения, коли власть была в руках тех, кто направлял следствие. А с их точки зрения, работа была проведена вполне целесообразно.

Прежде всего надо было юридически оформить убийство Медведева. Его начали допрашивать — точнее, истязать — 14 января 1691 года, причем, согласно сохранившимся разрешениям на допрос, новое дело на

него уже было заведено. По-видимому, палачи вновь ничего не могли добиться, а потому известное нам дело „началось” более чем через две недели, когда, спасая свою жизнь, начал давать показания только что схваченный Стрижев (все равно затем уничтоженный). Проведено оно было молниеносно: Стрижев был взят 29 января, а в последний раз Медведева допрашивали, по словам генерала Гордона, 4 февраля. Через неделю Медведев был казнен, но дело не закрыли, а переориентировали.

Теперь в центре внимания был князь Голицын, который еще мог надеяться на возвращение из ссылки: ведь серьезных обвинений ему в спешке не было предъявлено. Поэтому в показаниях Силина было записано прямо противоположное первоначально задуманному (и исползованному уже для убийства Медведева). В новом виде дело было готово к 7 марта, а вскоре князья Василий и Алексей Голицыны допрашивались по нему в Яренске. Им было объявлено, что „великим государям о всех их винах известно, и за те вины довелся он, князь Василий, смертной казни, а сын его князь Алексей наказанья... И если они великим государям вину свою принесут — и великие государи его, князь Василья, смертью казнить и сыну его наказанья чинить не велят”. Приговор был заранее вынесен — ссылка в Пустозерск с женами и детьми, без имущества и почти без слуг.

Но как для Медведева любовь к истине, так для Голицына чувство чести исключало ложное признание даже ради спасения жизни. „Как я целовал крест отцу их, великих государей, царю Алексею Михайловичу, и брату их царю Федору Алексеевичу, и им, великим государям — так им и служил верно, — отвечал Голицын. — А вины своей перед великими государями не ведаю”. С достоинством опальный канцлер отвел все обвинения:

— Алешкино имя Стрижева я слышал, а в лицо не знаю. Про Ваську-иконника не слышал. Медведева знал

по Симеоне Полоцком и в доме его бывал всего однажды или дважды, тому лет с семь или восемь. А был ли у них умысел на государское здоровье — про то не знаю и никогда не думая. Поляка Митьку Силина не знаю и не слышал. Что они там в допросах говорили о умысле на государей, о московском разорении, о возмущении народа и гадательстве — про то не ведаю, не слышал и на разум не всхаживало. И в монастыре в келье у Медведева не бывал. Кроме профессиональных докторов Симона и Лаврентия, ни у кого не лечился — на что явное свидетельство их врачебные рецепты. А жизнь моя и смерть в их царской воле.

Несогласие с фантастическими обвинениями не помогло князю Василию Васильевичу Голицыну. Лишенный чинов, чести и имущества, он так и скончался в далекой ссылке. Со временем и про него историки скажут: „Он опередил свое время”. Но погубило его не время, а люди: те же, кто пытал, а затем убил Медведева.

* * *

11 февраля 1689 года толпы москвичей и приезжих собирались на Красной площади. На Лобном месте, там, где менее двух десятилетий назад кончил жизнь Степан Тимофеевич Разин, должны были казнить просветителя. Страшен был облик человека, учившего, что все люди имеют право мыслить, что наука есть источник силы и славы государства, что только справедливость может быть основой власти. Кутаясь в шубы, люди смотрели, как втаскивают на эшафот истерзанного бичами, обожженного огнем, съеденного полутора годами заточения в каменном мешке старца 50 лет и 16 дней от роду.

Медведев не знал, останется ли что-нибудь из совершенного им в человеческой памяти, уцелеет ли хоть строка из его сожженных книг. Его бесцензурная типография была разгромлена, училище разогнано — и кому ведомо, сколько столетий будет ждать Россия свобод-

ного, доступного для всех университета, где бы „трудолобивые студенты радовались свободе изысканий”, независимых от идеологических разногласий! Кому известно, сколько столетий понадобится, чтобы борьба Сильвестра за свободный разум потеряла свою актуальность? Медведев уходил из жизни с клеймом государственного преступника и еретика-западника, будто бы прокляв и оплевав распространенные им „заблуждения”. Видел ли он в последние свои мгновения хоть один сочувственный взгляд, таящий будущие всходы его идей? Даже если и не оказалось человеческого лица среди тупых рыл охранников, лавочников, придворных дельцов, Медведев не мог раскаяться в деле, которому отдал жизнь, не мог бы жить иначе. Когда-то Иннокентий Монастырский с грустным юмором писал Сильвестру: „Солнцу подобает светить, если и знает, что смрадное место по просвещению такое же пребывает смрадное, как и прежде просвещения”.

Топор упал. Тело казненного было брошено в общую могилу нищих при убогом доме близ Покровского монастыря. „Мудроборцы” расписались в своем поражении. Еще одна страница истории русской общественной мысли была перевернута.

Как бы ни были ограничены люди, стоящие у власти в церкви и государстве, как бы ни ненавидели они проявление свободной воли, как бы ни боялись за свои привилегии, они не могли сопротивляться требованиям времени. Огрызаясь и убивая, „мудроборцы” всех мастей отступали. „Дело” Медведева со всей очевидностью показало, что церковная организация не способна более эффективно удерживать верующих в повиновении, что ее позиция весьма чувствительно приходит в противоречие с интересами россиян, способствует углублению кризиса религиозного мировоззрения. Попытка канонизировать патриарха Иоакима позорно провалилась:

„верхи” церкви все отчетливее понимали связь его политики с падением престижа православной иерархии среди народа и правящих сословий. В течение нескольких лет практически все участники травли и убийства Медведева потеряли свои должности и влияние.

Первым был изгнан с Печатного двора Евфимий Чудовский, ибо „от приписных его, Евфимьевых, нововодных странных речений, которые... напечатаны, многие люди сомневаются, и в церквах божиих чинятся мятежи, и великих государей денежной казне от переделок (книг. — А. Б.) убытки многие”⁵⁷. Обличительные материалы фиктивного священного собора и памфлеты против Медведева издать так и не удалось, несмотря на то что Афанасий Холмогорский получил было предисловие к ним от патриарха Адриана. Напротив, стали появляться книги, направленные в защиту казненного литератора.

Горькая судьба ожидала просвещенных людей, по тем или иным соображениям находившихся во время борьбы с Медведевым в стане „мудроборцев”. Братья Лихуды — действительно образованные и любящие свое дело учителя — после того как послужили орудием против Сильвестра, попытались расширить программу своих „еллино-греческих схол”, начали преподавать латинский язык, логику, метафизику, философию... По доносу патриарха Досифея, пославшего их в Москву, учителя были обвинены в превышении полномочий и сосланы. В ссылке оказался крупный русский поэт Карион Истомин, бывший в описанное время секретарем патриарха Иоакима, а затем возглавивший государев Печатный двор⁵⁸. Сознательно борющийся с „ересью” Медведева ученый, литератор и композитор Игнатий Римский-Корсаков уже в сане митрополита сибирского и тобольского выступил в защиту внешнеполитического курса, который горячо отстаивал всю жизнь — и наткнулся на такую же стену церковной иерархии, как и Сильвестр. Схваченный в палатах патриарха, он был объявлен сумасшедшим и уморен в монастырской темнице⁵⁹.



Адриан,
патриарх
Московский
и всея Руси

Это событие, прошедшее почти незамеченным в бурных политических катаклизмах, произошло близко по времени к кончине патриарха Адриана. Реформирующееся феодальное государство не могло более терпеть ослабления своей духовной опоры. Потеряв ряд прежних функций, российская православная церковь надолго превратилась в духовный департамент империи. Петр I и его сторонники, неутомимо трудясь над укреплением крепостнического военно-полицейского государства, использовали в своих целях многие идеи, которые проповедовал казенный монах Сильвестр.

Секуляризации научной мысли сопутствовал и был тесно связан с нею достаточно долгий и драматический процесс полного подчинения Русской православной церкви самодержавному государству. При этом отнюдь не просветители и рационалисты из православного духовенства выступали в роли „сдающихся” на милость полицейской империи. Именно те, кто привлекал вооруженные силы для борьбы со староверами и убедился в невозможности сопротивляться вождям староверов без действительного вмешательства светской власти летом 1682 года, те, кто не мог одолеть Сильвестра Медведева, не прибегая к помощи карательных отрядов и мастеров заплочных дел, оказались готовыми предать церковь в кровавые руки тирана и грязные длани его наймитов.

Как ни старались и в XVII веке, и столетия спустя доказать хоть какую-либо полезность деяний „мудроборцев”, это оказалось невозможным без явных подлогов. Даже попытка выдать основанные Иоакимом „еллино-славянские схолы” за предтечу Славяно-греко-латинской академии провалилась. Так и не став академией, „схолы” влачили жалкое существование до начала нового столетия, когда их возглавил ученик Виленского, Нисского, Оломоуцкого университетов и Римской коллегии Палладий Роговский, некогда пытавшийся получить образование в „схолах”, но разочаровавшийся в них и выехавший „ради совершеннаго учения” в Западную Европу. Как и все, что строили „мудроборцы”, „схолы” были построены на песке. К тому времени, когда по прямому указу Петра I за строительство академии взялся известный общественный деятель Стефан Яворский, в строениях патриарха Иоакима потолки обрушились и печи рассыпались. В первом десятилетии XVII века безотлагательность реализации многих идей Сильвестра Медведева стала очевидной.

Просвещение было признано первоочередной государственной задачей, приобщение России к достиже-

ниям научной революции из „ереси” стало повседневной политикой. Контроль за развитием науки перешел, как и требовал Медведев, к государству. Еще не скоро (и не в полной мере) страна получит университет, о котором мечтал просветитель XVII века, но светские учебные заведения уже создавались. Лозунг „Не рассуждать!” пуще прежнего витал над отечественными просторами, но слова „понеже” (потому что) и „поелику” (поскольку) настолько часто встречались в указах, что стали своего рода символом петровского законодательства. Драгунские команды жестоко преследовали старообрядцев, но уже в 1702 году было объявлено: „Совести человеческой приневоливать не желаем и охотно предоставляем каждому христианину на его ответственность печься о блаженстве души своей”. Память о Сильвестре Медведеве оставалась оскверненной — но его книги читались и переписывались. На ученом-рационалисте долго еще держалось клеймо „еретика”, а его „злую мысль” повторял сам император: „Выше всех добродетелей — разсуждение, ибо всякая добродетель без разума пуста”⁶⁰.

Глава

V

Духовное ведомство империи



Регламент



олное подчинение церкви государству, столь основательно подготовленное историей, столь закономерное при неуклонном усилении абсолютной самодержавной власти, было произведено столь же демонстративно, так же грубо и варварски, как и прочие реформы Петра I — „Отца Отечества”. „Духовный регламент”, составленный Феофаном Прокоповичем и дополненный Петром I (действовал в 1721—1917 годах), является ярким образцом тех петровских указов, которые, по меткому выражению А. С. Пушкина, „кажутся, писаны кнутом”. В нем сочетаются свойственные царю Петру Алексеевичу патологический страх, ненависть и отвращение, даже брезгливость к отечественным традициям. Феофан Прокопович, этот талантливый наемник и авантюрист, имевший одну веру — в беспредельную власть монарха (и за это превознесенный историками), сумел и на этот раз угодить хозяину.

„Духовный регламент” является политическим памфлетом в форме закона, манифестом, в котором желчью и ядом выписана идеологическая программа желаемой самодержавием церкви. Его авторам мало подчинить церковь — они, содрогаясь от страха, стре-

мятся ее унижить и оплевать. „Важно и то, — гласит „Регламент”, — что от соборного правления не (нужно) опасаться отечеству мятежей и смущения, каковые происходят от единого собственного правителя духовного (то есть патриарха. — А. Б.). Ибо простой народ не ведает, как различается власть духовная от самодержавной, но, удивляемый честью и славой великого высочайшего пастыря, помышляет, что такой правитель есть — то второй государь, самодержцу равносильный или больше его, и что духовный чин есть другое и лучшее государство.

Это, — продолжает „Регламент”, — сам собой народ так умствовать привык. Что же, если еще и плевельные разговоры властолюбивых духовных приложатся и сухому хворосту огонь подложат? Так простые сердца мнением этим развращаются, что не так на самодержца своего, как на верховного пастыря в каком-либо деле смотрят. И когда услышится некая между оными распря, все духовному больше, нежели мирскому правителю, хотя и слепо и пребезумно, согласуют, и за него борются и бунтовать дерзают...

Что же, когда еще и сам пастырь, таковым о себе надмен мнением, спать не захочет? Изречь трудно, kolikoе отсюда бедствие бывает! И не вымыслы то, дал бы Бог, чтоб о сем домышляться только можно было, но на деле не единожды во многих государствах это показалось. Вникнуть только в историю константинопольскую, ранее юстиниановых времен, — и много того покажется. Да и папа не иным способом столько превозмог, не только государство римское полностью пресек и себе великую часть похитил, но и иные государства едва не до крайнего разорения неоднократно потряс. Да не вспомнятся подобные и у нас бывшие замахы!”

Что имел в виду составитель „Регламента”, понятно, ибо далее пространно говорится о трудностях, встающих перед светской властью, желающей избавиться от

„единого самовластного пастыря” — патриарха. Его-де поддерживает людское мнение, и он не хочет „от подручных себе епископов судиться”. „От чего деется, — гласит „Регламент”, — что на злого такого единовластителя нужда есть созывать собор вселенский, что и с великого всего отечества трудностью, и с немалыми расходами бывает, и в нынешние времена (когда восточные патриархи под игом турецким живут и турки нашего государства больше, нежели прежде, опасаются) отнюдь мнится быть невозможно”.

Отцовский урок с Никоном Петр запомнил очень хорошо. Никаких даже внешне, формально суверенных духовных владык в Российской империи не должно быть! Править церковью отныне будет Духовный Коллегиум — по образцу других коллегий (Юстиц-коллегии, Берг-коллегии, Мануфактур-коллегии и т. п.). В конце концов, по мнению Петра и его слуги Прокоповича, религиозное служение есть такое же дело, как отправление правосудия или изготовление ситца. Поэтому и сами духовные лица должны быть преимущественно исполнителями, а не управителями церкви; из 10 назначаемых светской властью членов Духовного Коллегиума только трое были архиереи. И возглавлялся Коллегиум (или, как он стал затем называться, Святейший правительствующий синод) должностным лицом с характерным званием — обер-прокурор!

Хотя Синод несколько отличался от задуманного Коллегиума, его члены вплоть до 1901 года приносили при вступлении в должность установленную еще Петром присягу: „Исповедую же с клятвою крайнего судию Духовная сея Коллегии быти самого всероссийскаго монарха, государя нашего всемилостивейшаго”. Синод действовал, как и другие центральные имперские учреждения, „своею от царскаго величества данною властью”, „по указу его императорского величества”.

Петр I,
император
всероссийский



В „Регламенте” недаром подчеркивалось, что „Коллегиум — правительское под державным монархом есть и от монарха уставлено”. Подчиненность духовного чина должна быть видна всем: „А когда еще видит народ, что соборное сие правительство монаршим указом и сенатским приговором установлено есть, то и паче пребудет в кротости своей, и весьма отложит надежду иметь помощь к бунтам своим от чина духовного”. Да и против кого бунтовать, если высшая власть в государстве и церкви принадлежит не просто божьему помазаннику, а „Христу Господню”, как без обиняков именует Петра I „Регламент”! Как видим, Феофан Прокопович превзошел в своем рвении самые буйные фантазии Паисия Лигарида.

Можно было отменить патриаршество, но даже Прокорович и Петр не представляли себе церкви без архиереев. К ним были приняты особые меры, направленные на исключение митрополитов, архиепископов, епископов из общецерковной жизни. Прежде всего, епархиальные архиереи полностью подчинялись Синоду, на который не имели формальной возможности влиять. Центр брал на себя и многие функции по управлению епархиями. Архиереям оставалась богослужебная деятельность, однако и этого составителям „Регламента” казалось слишком много, так как архиереи сохраняли возможность завоевывать высокий авторитет у прихожан, у народа.

Поэтому „Духовный регламент” подчеркивает, что архиереи являются только орудием, инструментом имперской церкви: „это того ради предлагается, чтобы укротить оную весьма жестокою (так!) епископов славу... Честь (епископов) умеренная есть, а лишняя и, почитай, равно царская — да не будет”. И даже более того: „Ведал бы всякий епископ меру чести своей, и невысоко бы о ней мыслил, и дело убо великое — но честь никаковая”!¹

Выступление „Регламента” против чести архиерея (а следовательно, и всего священства) выглядит как подступ к новому указу, появившемуся в следующем, 1722 году и обязывающему священнослужителей быть доносчиками. Этот позорнейший документ требовал неукоснительно нарушать тайну исповеди при малейшей склонности исповедующегося „к измене или бунту на государя” (впоследствии сфера доносительства расширилась). По мнению правительства, честь и совесть, безусловно, излишни для служителя русской православной церкви. Однако далеко не все архиереи и простые священники склонны были отказаться от этого „излишества” — свидетельством тому служат многочисленные дела Синода, Тайной канцелярии, позже — Тайной экспедиции, еще позже — III Отделения е. и. в.

канцелярии и т. п. учреждений, расследовавших „оплошности“ священнослужителей по отношению к шпионским обязанностям.

„Начинается „вавилонское пленение“ Русской Церкви, — пишет об этом времени (опуская указ 1722 года) протоиерей Георгий Флоровский. — Духовенство в России с Петровской эпохи становится „запуганным сословием“. Отчасти оно опускается или оттесняется в социальные низы. А на верхах устанавливается двусмысленное молчание... Эта запуганная скованность „духовного чина“ есть один из самых прочных итогов Петровской реформы. И в дальнейшем Русское церковное сознание долгое время развивается под этим двойным торможением — административным приказом и внутренним испугом...”

Не могу не процитировать и общую аналитическую оценку церковных преобразований петровского времени из знаменитого, но пока еще труднодоступного для советского читателя исследования Г. Флоровского. „Государство утверждает себя самое, как единственный, безусловный и всеобъемлющий источник всех полномочий, и всякого законодательства, и всякой деятельности или творчества. Все должно стать и быть государственным, и только государственное попускается и допускается впредь. У Церкви не остается и не оставляется самостоятельного и независимого круга дел, — ибо государство все дела считает своими. И всего менее у Церкви остается власть, ибо государство чувствует и считает себя абсолютным. Именно в этом вбирании всего в себя государственной властью и состоит замысел того „полицейского государства“, которое заводит и утверждает в России Петр...”

„Полицейское государство“ есть не только и даже не столько внешняя, сколько внутренняя реальность. Не столько строй, сколько стиль жизни. Не только политическая теория, но и религиозная установка. „Полицейзм“ есть замысел построить и „регулярно сочи-

нить” всю жизнь страны и народа, всю жизнь каждого отдельного обывателя, ради его собственной и ради „общей пользы” или „общего блага”. „Полицейский” пафос есть пафос учредительный и попечительный. И учредить предлагается не меньшее что, как всеобщее благоденствие и благополучие, даже попросту „блаженство”. И попечительство обычно слишком скоро превращается в опеку...

В своем попечительном вдохновении, — продолжает Г. Флоровский, — „полицейское государство” неизбежно оборачивается против Церкви. Государство не только ее опекает. Государство берет от Церкви, отбирает на себя, берет на себя ее собственные задачи. Берет на себя безраздельную заботу о религиозном и духовном благополучии народа. И если затем доверяет или поручает эту заботу снова духовному чину, то уже в порядке и по титулу государственной делегации („*vicario nomine*”), и только в пределах этой делегации и поручения Церкви отводится в системе народно-государственной жизни свое место, но только в меру и по мотиву государственной полезности и нужды.

Не столько ценится или учитывается истина, сколько годность — пригодность для политико-технических задач и целей. Потому само государство определяет объем и пределы обязательного и допустимого даже в вероучении. И потому на духовенство возлагается от государства множество всяких поручений и обязательств. Духовенство обращается в своеобразный служилый класс. И от него требуется именно так, и только так, о себе и думать. За Церковью не оставляется и не признается право творческой инициативы даже в духовных делах. Именно на инициативу более всего и притязает государство, на исключительное право инициативы, не только на надзор...

Не позволяется возражать против внушительных указных „понеже”. Правительство спешит все обдумать и разсудить наперед, и собственное разсуждение обыва-

телей оказывается тогда ненужным и лишним. Оно может означать только некое неблагонадежное недоверие к власти. И составитель „Регламента” поторопился все разсудить и обосновать наперед, чтоб не трудиться разсуждать другие, чтоб не вздумали разсудить иначе...”²

Феофана Прокоповича и Петра заботило, в частности, церковное слово (когда, например, последний патриарх Адриан выступал против зверской жестокости по отношению к восставшим стрельцам); „Регламент” указывает поэтому, о чем следует говорить. „Проповедовали бы проповедники твердо, — гласит закон, — с доводов священного писания, о покаянии, о исправлении жития, о почитании властей, паче же самой высочайшей власти Царской, о должностях всякаго чина”.

„Регламент” определял, что следует читать, как читать и каким образом истолковывать прочитанное. Разумеется, наиболее заботило законодателей не чтение, а письмо, в частности известные своей древней письменной культурой монастыри. Петр I напряженно размышлял, следует ли превратить монастыри в рабочие дома, дома для сирот и инвалидов, в лазареты или мастерские для выделки кружев... Пока же в приложениях к „Регламенту” „правилах” о монашестве, отметил главное: „Монахам никаких по кельям писем, как выписок из книг, так и грамоток советных, без собственного ведения настоятеля, под жестоким на теле наказанием, никому не писать, и грамоток, кроме позволения настоятеля, не принимать, и по духовным и гражданским регулам (правилам. — А. Б.) чернил и бумаги не держать, кроме тех, которым собственно от настоятеля для общедуховной пользы позволяется. И того над монахи прилежно надзирать, понеже ничто так монашеского безмолвия не разоряет, как суетные их и тщетные письма...”

Эта позиция, казалось бы, противоречила петровской установке на просвещение государства. Но следует учитывать, что для Петра I и его подручных речь шла о государственном, полицейски-подконтрольном просвещении, собственно говоря, о создании круга подготовленных к исполнению определенных государственных задач специалистов. Самостийное книжное творчество каких-то там монахов представлялось государю не только бесполезным, но и опасным. Другое дело, что позже Петру приходила мысль приспособить монастыри в мастерские переводов полезных для властей книг... Согласно указу от 1 сентября 1723 года требовалось всех молодых монахов (до 30-летнего возраста) забрать в Московскую Заиконоспасскую академию, как прежде в духовную школу насильственно рекрутировались дети духовных лиц.

Программа обучения для нужд духовного департамента излагалась уже в „Регламенте“, имевшем специальный раздел: „Домы училищные, и в них учителя и ученики, також и церковные проповедники“. Феофан Прокопович совершенно справедливо отмечал, что, „когда нет света учения, нельзя быть доброму Церкви поведению, и нельзя не быть нестроению, и многим смеха достойным суевериям, еще же и раздорам и пребезумным ересям“. В центре образовательной системы должна была находиться Академия — многоступенчатая общеобразовательная школа-училище, венчавшаяся философским и богословским классами.

Тщетно, однако, мы будем искать в „Духовном регламенте“ медведевский проект всеобщего автономного университета. Для Феофана Прокоповича Академия — это бурса, куда насильно вербуют детей духовного сословия для подготовки к духовной службе в условиях, близких к тюремному заключению, при полном отрыве от родственников и привычной среды. „Такое молодых людей житье, — признавал сам Прокопович, — кажется тяжелым и заключению пленническому

**Феофан Прокопович,
архиепископ
новгородский**



подобным”, но автор „Регламента” надеялся, что ученики привыкнут к такой жизни и вскоре именно в несвободе обретут счастье. „В полицейском государстве, — заметил по этому поводу Г. Флоровский, — не различают учение и службу. Самое учение есть служба или повинность. На ученика (даже совсем малолетнего) в это время смотрят именно как на служащего человека, отбывающего повинность... под страхом... уголовного наказания... Неявившихся, убылых и беглых полагалось разыскивать и приводить силой, иногда даже в кандалах, — „для обучения и употребления над ними

изображенного в Духовном Регламенте искушения”.

„Не следует уменьшать объем и значительность ученых и даже учебных достижений XVIII века, — констатировал тот же исследователь. — Во всяком случае, это был очень важный культурно-богословский опыт. И по всей России раскинулась довольно сложная школьная сеть... Но все это „школьное” богословие было в собственном смысле беспочвенным. Оно возшло и взросло на чужой земле... Точно надстройка над пустым местом... и вместо корней свай... Богословие на сваях — вот итог XVIII века”.

Собственно, для церкви, превратившейся в духовный департамент империи, образовательные учреждения, на которые столь надеялся Феофан Прокопович, действительно дали мало. В то же время наука и просвещение в России развивались, преодолевая полицейское буйство крепостнического государства и лавируя между полицейскими препонами. Этому процессу способствовали и церковные образовательные учреждения, особенно Московская славяно-греко-латинская академия (возникшая, впрочем, еще до принятия „Духовного регламента” под покровительством противника его и его составителей знаменитого Стефана Яворского).

Немногие окончили в XVIII веке Московскую Академию, завершив учение курсом богословия: почти все ученики покидали ее стены раньше. Всесословная Академия, дававшая стипендии неимущим студентам, была своеобразным окном к знаниям выходцам из демократических слоев, становилась трамплином для тех из них, в ком проявлялся талант. Не случайно именно отсюда вышли поэт, ученый и композитор В. К. Тредьяковский, поэты Петр Буслаев, Е. И. Костров, В. П. Петров, профессора Московского и Петербургского университетов, члены Академии наук А. А. Барсов, А. М. Брянцев, Н. Н. Поповский, врач С. Г. Забелин, географ

и естествоиспытатель С. П. Крашенинников, математик Л. Ф. Магницкий, архитектор В. И. Баженов и многие другие выдающиеся русские люди, наконец, великий ученый и поэт, гордость России Михаил Васильевич Ломоносов.

Характерно, что столкновения с духовным ведомством, испытывавшиеся многими бывшими учениками Московской Академии, были как бы заложены в традиции этого учреждения, начиная с церковного преследования ее первых ректоров. Книга самого митрополита Стефана Яворского, высокого покровителя Академии, была при жизни Петра I запрещена к изданию. „Камень веры” Яворского удалось опубликовать только в 1728 году с дозволения Верховного Тайного Совета, но со временем дело о ней оказалось в Тайной канцелярии. Указом от 19 августа 1732 года книга вновь была запрещена и арестована. Для свободного обращения „Камень веры” был выпущен только в 1741 году.

Дух новой церкви, духовная цензура, дух „Регламента” тяжело лег на богословскую, на церковно-историческую и на дидактическую литературу. Преследованию подвергалась любая нерегламентированная мысль. Так, в 1760-х годах в стенах Московской Академии Павел Пономарев (будущий ее ректор, будущий архиепископ тверской и ярославский) перевел историческую книгу, немедленно запрещенную цензурой. Еще раньше были запрещены к распространению в России и к переводам уже переведенные многоученым Симонем Тодорским богословские книги. Казалось бы, вне подозрения должен был пребывать архангельский протоиерей, член Российской Академии Петр Алексеев, автор знаменитого в то время „Церковного словаря”. Не тут-то было: сначала в 1779 году было на середине издания остановлено его „Православное исповедание”, а впоследствии не допущен к печати „Катехизис”. Как будто православность взглядов Петра Алексеева была сомнительной!³



Стефан Яворский,
митрополит
рязанский
и муромский

Церковь не меньше, чем все общество, страдала от военно-полицейского гнета, от регламентации и фискальства. Играя роль одного из винтов, закручивавших крепостнический абсолютистский пресс, она сама испытывала то же давление, которое оказывала на подданных империи. Регламентированное положение церкви, впрочем, оказывалось отчасти полезным, отчасти давало вздохнуть от ее духовного гнета другим „департаментам”. Так, военное ведомство могло более не опасаться погромных речей духовенства по поводу своей

кадровой политики или военных планов. Правда, капитан-лейтенант Возницын, обращенный в иудейскую веру своим приятелем Борухом Лейбовым, был вместе с ним сожжен в июле 1738 года⁴. Литература, признанная при дворе, была во многом ограждена от церковной критики, хотя книги продолжали запрещаться Синодом, а авторы могли оказаться в заточении, как Н. И. Новиков. Духовным деятелям трудно было вмешиваться в работу ученого, имевшего гражданский чин и должность в Академии наук, однако и здесь секуляризация была связана с постоянной и подчас острой борьбой.

«Борода- глазам замена!»



один из весенних дней
1757 года (точно его

установить невозможно, но где-то перед шестым марта) из здания Санкт-Петербургской императорской Академии наук окрестными дворниками наблюдалась ретирада весьма представительных духовных лиц. Подхватив полы своих дорогих одеяний, архиереи смело сигали в разлившиеся по мостовой лужи, не дожидаясь кучеров, и в брызгах весенних вод устремлялись к своим экипажам. За их спиной в академическом здании раздавался глухой рев, как если бы владыки потревожили в берлоге огромного российского медведя.

Дверь в очередной раз распахнулась, и на крыльцо вывалил преогромнейший мужчина с круглым побагровевшим лицом, изрыгавший вослед поспешно удаляющимся экипажам совершенно непереводимые слова и длинные выражения. Грозно махнув палкой с золотым набалдашником, он убедился в конфузии неприятеля, вытер свой большой лоб зажатым в левой руке париком и, сильно хлопнув высокой дверью, так что с нее чуть не спрыгнули львиные морды, удалился восвояси.

При первом появлении мужчины дворники успокоились и продолжили привычный труд. Михайло Васильевич Ломоносов скандалил нередко, и сегодня не о чем было беспокоиться. Никто не был сброшен в воду,

не выпал из окна, не восчувствовал на своей фигуре огромных кулаков академика и не требует доставки к ближайшему лекарю. Пресекать буйство Михайла Васильевича было небезопасно — да и отходчив был первейший русский поэт и ученый: коли не погнался за колясками, то более ничего не вытворит. Но дворники были не правы. Ломоносов удалился в сильнейшем гневе и в этот момент, ломая перья, уже начал гвоздить своих супротивников посильнее, чем кулаком.

Пока Михаил Васильевич, то брызгая пером, то довольнo улыбаясь, пишет свой ответ духовенству, вспомним вкратце историю его взаимоотношений со Святейшим синодом. Не испытывая особого уважения к служащим духовного ведомства, Ломоносов отнюдь не стремился к конфликту с ним. В своих многочисленных официальных одах и похвальных словах светским властям он уделял необходимое внимание прославлению забот самодержцев о православной вере и церкви. По-видимому, сам он не придавал значения подобным ритуальным фразам. Первое упоминание об отношении Ломоносова к церкви относится к 1728 году, когда, согласно исповедальным книгам, его отец и мать были у исповеди, а 17-летний „сын их Михайло” уклонился от нее „по нерадению”⁵.

„Не радеть” Михаил Васильевич ухитрялся и в дальнейшем, особенно когда стал известнейшим поэтом и крайне занятым ученым. Он не желал специально вторгаться в сферу деятельности Синода, однако духовенство само выступало со взглядами, несовместимыми с развитием науки. Так, показывая в исследовании „О слоях земных” (50-е годы) непрерывную изменчивость физического облика нашей планеты, Ломоносов должен был констатировать:

„Твердо помнить должно, что видимые телесные на земле вещи и весь мир не в таком состоянии были с начала от создания, как ныне находим, но великие происходили в нем перемены... Когда и главные вели-



Михаил Васильевич
Ломоносов

чайшие тела мира, планеты и самые неподвижные звезды изменяются, теряются в небе, показываются вновь, то в рассуждении оных малого нашего шара Земного малейшие частицы, то есть горы (ужасные в наших глазах громады), могут ли от перемен быть свободны?

Итак, — продолжал ученый, — напрасно многие думают, что все, как видим, сначала Творцом создано; будто не токмо горы, доли и воды, но и разные роды

минералов произошли вместе со всем светом; и потому-де не надобно исследовать причин, для чего они внутренними свойствами и положением мест разнятся.

Таковые рассуждения весьма вредны приращению всех наук, следовательно, и натуральному знанию шара Земного, а особливо искусству рудного дела, хотя оным умникам и легко быть философами, выучась наизусть три слова: Бог так сотворил, — и сие дая в ответ вместо всех причин”.

В последних словах великого ученого явственно слышится гроза, ведь сам он изложил свою жизненную позицию так: „Что ж до меня надлежит, то я сему себя посвятил, чтобы до гроба моего с неприятельми наук российских бороться!” Он как бы предлагал церкви не вставать на его пути, когда писал о развитии Вселенной, атомном строении материи, о том, что „природа крепко держится своих законов и всюду одинакова”, что следует „из наблюдений устанавливать теорию, через теорию исправлять наблюдения, — заключая, что это, — есть лутчей всех способ к изысканию правды”. Но и открытый им закон сохранения вещества и энергии, и исследования электричества, и другие достижения зарождающейся материалистической по сути науки не были для Ломоносова поводом для нападения на веру.

Научная „правда, — писал он, — и вера суть две сестры родные, дочери одного высшего родителя”; они „никогда между собой в распрю притти не могут”, следует лишь внимательно каждый раз рассматривать, „нет ли какого способа к объяснению и отвращению лишнего между ними междоусобия”. Нужно помнить, что „не здраво рассудителен математик, ежели он хочет божескую волю вымерять циркулем”. Но „таков же и богословия учитель, если он думает, что по псалтире научиться можно астрономии и химии”. Если ученый и богослов берутся описывать и объяснять одно и то же явление — каждому из них должно быть позволено

делать собственные выводы, ибо у них принципиально разные подходы, они читают разные божественные книги: „видимый сей мир, им созданный” и „священное писание”⁶.

О мировоззрении Ломоносова, и в частности о его религиозности (или даже атеизме, что весьма сомнительно), написано множество работ. Тема эта явно не завершена, и мы не будем здесь ее разбирать. Для нас важно подчеркнуть, что Михаил Васильевич не был оголтелым критиком церкви, каким его временами пытались представить. У него не было ни желания, ни времени сражаться с духовенством. И если Ломоносов наступил в буквальном смысле на бороды духовных лиц, то его к этому вынудили крайние обстоятельства. Духовное ведомство усиленно добивалось — и добились-таки — от академика внушительной оплеухи.

Почвой для столкновения науки и церкви стали астрономические представления, точнее, защита Ломоносовым гелиоцентрической системы, к его времени уже довольно известной в России. Еще князь А. Д. Кантемир в 1730 году перевел, а в 1740 году опубликовал на русском языке книгу Б. Фонтенеля „Разговоры о множестве миров”. В своих популярнейших сатирах Кантемир также излагал „старую” „Птолемаическую” и новую „Коперническую” системы мироздания. Хвалебные рецензии сопровождали издание этих сатир в Западной Европе на французском (1749, 1750 годы) и немецком (в 1752 году) языках.

Общевропейскую известность получили (во французском и немецком переводе) и великолепные оды Ломоносова, написанные в 1743 году и вошедшие в издание его „Сочинений” 1751 года. В первой из них — „Утреннем размышлении о Божием величестве” — поэт дает описание фотосферы Солнца, соответствующее и современным научным представлениям:

Там огненны валы стремятся
И не находят берегов,
Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков;
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят.

Научная идея Ломоносова отнюдь не противопоставлена вере. Напротив, поэт в величии природного явления видит величие Создателя, перед которым даже громада Солнца — малая искра. Исследование природы наполняет ученого восторгом и сознанием славы божества. Само исследование мира есть служение Богу — эту традиционную в европейской (в том числе русской) ученой поэзии идею Ломоносов излагает в последней строфе оды:

Творец! Покрытому мне тьмою
Простри премудрости лучи
И что угодно пред тобою
Всегда творити научи
И, на твою взирая тварь,
Хвалить тебя, бессмертный царь.

Считать, как это делают некоторые современные исследователи, подобные заявления данью цензурным условиям — значит не только отметить большую часть самой оды Ломоносова, но и не знать русской поэтической традиции. Еще в 1692 году ученый монах и поэт Карион Истомин открыто заявлял при царском дворе, что

Все убо вещи	Богом сотворенны
В разсмотрительство	людям положенны,
Да с благой мыслью	тыя созерцают,
Всетворца Бога	присно восхваляют.
Ангелы, небеса,	на Земле чудеса,
Моря, реки, воды	зри колики роды,
Но паче всего	человек избранный,
Рукою Бога	в эту жизнь созданный!

Человек, по Истомину, создан для познания мира — и через это познание идет к восхищению Создателем:

Человек мал мир всю тварь созерцает,
Благого Творца гласом восхваляет...

Именно через познание мира выражается „небесная” природа человека, разумом своим читающего три „листа” божественной книги природы:

Небо — лист первый,	слова по нем — звезды...
Второй лист — Земля,	и на ней все вещи...
Третий — Человек,	малый мир зовется,
Вещь боготворна,	в нем видно сомкнется.
По телу — земной,	по душе — небесный,
Славой увенчан	к Богу зритель десный

(правый. — А. Б.).

То, что миропознание является высшим предназначением человека и неразрывно связано с „размышлением о божием величестве”, во времена Ломоносова вряд ли нуждалось в доказательстве. Но если Карийон Истомин, зная гелиоцентрическую систему, собственноручно чертя ее в своих рукописях, опасался излагать ее открыто (в стихах он — птоlemeанец), то Ломоносов смело вводил новые для общества научные представления в ткань поэзии.

В самом блестящем стихотворении Михаила Васильевича — „Вечернем размышлении о Божием величестве при случае великого северного сияния” — прямо говорится о множественности населенных миров, где властвуют единые законы природы. Поэт-естествоиспытатель как бы стоит на краю бездны нескончаемого познания, где сомнения развивающейся науки связаны с трепетным восхищением величием замысла мироздания. Эта вторая из упомянутых нами од, любимейшая автором, вызывала не только восторг просвещенных современников, но, вместе с „Утренним размышлением”, вошла в России XVIII века в многочисленные рукописные песенники. Стихи Ломоносова „много,

часто, в широкой городской, и не только городской, среде распевались любителями, твердились ими наизусть, повторялись с голоса...". И они заслуживали этого:

Лице свое скрывает день,
Поля покрыла мрачна ночь,
Взошла на горы чорна тень,
Лучи от нас склонились прочь.
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.

Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном ветре тонкой прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мыслями утомлен!

Уста премудрых нам гласят:
„Там разных множество светов,
Несчетны солнца там горят,
Народы там и круг веков;
Для общей славы божества
Там равна сила естества”.

Нет никаких сведений, что чтение и публикация этих од (особенно последней) вызывали сопротивление духовенства, что в них был заложен намеренный вызов церковным представлениям о мироздании. Не публицистическая заостренность, а философское сомнение звучит в обращении автора к ученым, которые пока не в силах объяснить многие явления:

Сомнений полон ваш ответ
О том, что окрест ближних мест.
Скажите ж, коль пространен свет?
И что малейших дале звезд?
Неведом тварей вам конец?
Скажите ж, коль велик Творец?

„Что святее и что спасительнее быть может, как поучаясь в делах Господних, на высокий славы его престол взирать мысленно и проповедывать его вели-

чество, премудрость и силу? — вопрошал Михаил Васильевич в 1749 году в похвальном слове императрице Елизавете Петровне. — К сему отворяет Астрономия пространное рук его здание: весь видимый мир сей и чудных дел его многообразную хитрость Физика показывает, подавая обильную и богатую материю к познанию и прославлению Творца от твари”⁷.

Едва ли эти риторические обороты отражали глубокие черты мировоззрения Ломоносова. Важен, скорее, мирный по отношению к религии тон его публичных выступлений. Между тем гроза надвигалась. 50-е годы были отмечены общеевропейской клерикальной реакцией. В России уже с конца 40-х годов все отчетливее проявлялось стремление Синода распространить сферу своего „цензурного действия” на литературу, как научную, так и художественную, особенно на сочинения, „трактующие о множестве миров, о Коперниковской системе и склонные к натурализму”⁸. Активизировалось духовное ведомство и в области контроля над просвещением.

„Кратко объявляю и думаю, — писал Ломоносов в 1748 году в ответ на запрос В. К. Тредьяковского о „Регламенте” академического университета, — что в Университете неотменно должно быть трем факультетам: юридическому, медицинскому и философскому (богословский оставляю синодальным училищам)”. В самом „Регламенте” Михаил Васильевич выразился жестче: „Духовенству к учениям, правду физическую для пользы и просвещения показующим, не привязываться, а особливо не ругать наук в проповедях”. В записке И. И. Шувалову об учреждаемом по инициативе Ломоносова Московском университете (1754) и в „Проекте об учреждении Московского университета” (см. § 4) богословие также было категорически исключено из круга изучаемых в нем дисциплин”⁹.

„Не привязываться” Михаил Васильевич требовал не случайно, ибо духовенство, пока еще неофициально, выражало недовольство светским образованием. В 1750 году И. Д. Шумахер записал в дневник: „Кое-кто из духовенства заявил, что профессора внушают студентам опасные начала”. Всполошившееся академическое начальство немедленно внесло в „учреждение об университете и гимназии” требование к ректору „смотреть... прилежно, чтоб профессора лекции свои порядочно имели, оные по произвольному образцу и в Канцелярии (Академии наук. — А. Б.) апробированному располагали и не учили б ничего, что противно может быть православной греко-российской вере, форме правительства и добронравию”.

Поскольку „противной православной... вере” духовенство упорно считало гелиоцентрическую систему, Ломоносову пришлось включить в свое знаменитое „Письмо о пользе стекла... писанное в 1752 году” резкую отповедь „невеждам свирепым”, веками стремящимся погубить научную астрономию. Считая миф о наказании Прометея подлыми и нескладными враками, поэт предполагает:

Не свергла ль в па́губу наука Прометея?
Не злясь ли на него, невежд свирепых полк
На знатны вымыслы сложил неправой толк?
Не наблюдал ли звезд тогда сквозь Телескопы,
Что ныне воскресил труд щастливой Европы?
Не огонь ли он Стеклом умел сводить с небес
И пагубу себе от Варваров нанес,
Что предали на казнь, обнесши чародем?
Коль много таковых примеров мы имеем,
Что зависть, скрыв себя под святости покров,
И груба ревность с ней, на правду строя ков,
От самой древности воют многократно,
Чем много знания погибло невозвратно!

Приводя пример гибели знания, Ломоносов рассказывает о греческом астрономе III века до н. э. Аристархе Самосском, доказывавшем, что Земля вращается

вокруг своей оси и вокруг Солнца, и за это обвиненным неким Клеантом в богохульстве:

Под видом ложным сих (языческих. — А. Б.) почтения Богов
Закрит был звездный мир чрез множество веков.
Боясь падения неправой оной веры,
Вели всегдашню брань с наукой лицемеры,
Дабы она, открыв величество небес,
И разность дивную неведомых чудес,
Не показала всем, что непостижна сила
Единого Творца весь мир сей сотворила,
Что Марс, Нептун, Зевес, все сонмище Богов
Не стоят тучных жертв, ниже под жертву дров,
Что агнцов и волов жрецы едят напрасно:
Сие одно, сие казалось быть опасно!
Оттоле Землю все считали посреде.
Астроном весь свой век в бесплодном был труде
Запутан циклами, пока восстал Коперник,
Презритель зависти и варварству соперник...

Поэт показывает читателю преимущества гелиоцентрической системы, рассказывает о подтверждении мыслей Коперника с помощью телескопов Гюйгенсом, Кеплером, Ньютоном, о новой небесной механике. Такие идеи, подтверждающие величие Бога, говорит поэт, веселят гораздо больше, чем измерение Вселенной без математики, чем напрасное употребление „слова божия”, ведущее к заблуждениям. Он не оставляет у читателя сомнений в том, что сказанное о языческих жрецах относится и к христианскому духовенству.

Пример нелепых заблуждений Ломоносов находит не у кого иного, как у самого Августина Блаженного (основоположника католической догматики), отрицавшего возможность существования антиподов. „Что есть Америка, напрасно он не верил!” — восклицает поэт, говоря о чествовании Августина в американских католических храмах. Обращаясь к отечественным священнослужителям, Михаил Васильевич прямо сравнивает их с Августином:

Он слово Божие употреблял напрасно,
В Системе света вы тож делаете власно (аналогично. — А. Б.).

Из-за задержек с изданием „Письмо о пользе стекла” со вставным экскурсом в астрономию было вручено императрице в рукописи; в марте 1753 года оно все же вышло в свет отдельным изданием. Духовное ведомство проглотило отповедь академика, но отнюдь не смирилось с гелиоцентризмом. Поводом для нового выступления Синода стало появление основанного по предложению Ломоносова академического журнала „Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие”.

Согласно докладу Синода императрице, этот журнал печатает богохульные произведения, „многие, а инде и бесчисленные миры быти утверждающие, что и Священному писанию, и вере христианской крайне противно есть, и многим неутвержденным душам причину к натурализму и безбожию подает”.

16 сентября 1756 года Ломоносов получил новый удар. Куратору Московского университета И. И. Шувалову была возвращена рукопись русского перевода поэмы А. Попа „Опыт о человеке” с указанием, что „к печатанию оной книги Святейшему Синоду позволения дать было несходственно”, ибо „издатель оныя книги ни из Священного писания, ни из содержимых в православной нашей церкви узаконений ничего не заимствуя, единственно все свои мнения на естественных и натуральных понятиях полагает, присовокупляя к тому и Коперникову систему, тако ж и мнения о множестве миров, Священному писанию совсем не согласные”.

Переводчиком книги был профессор Н. Н. Поповский, любимый ученик Ломоносова. Михаил Васильевич лично следил за переводом, одобрил его и представил Шувалову как образцовый. Попытка Ломоносова и его покровителей защитить издание привела к новому поражению научной мысли. „Исправление” книги поручили московскому архиепископу Амвросию — и когда она в 1757 году вышла в свет, оказалось, что стихи Попа о Коперниковской системе и множественности



**Амвросий
Зертис-Каменский,
архиепископ
московский
и калужский**

миров не просто исключены, но заменены противоположными по содержанию виршами самого Амвросия!

Ободренный запрещением перевода Поповского, Синод перешел в развернутое наступление на науку. 21 декабря 1756 года духовное ведомство представило императрице подробный доклад о вредности для православия гелиоцентрических воззрений. Синод испрашивал именной указ, согласно которому следовало „отобрать везде и прислать в Синод” издание книги Фонтенеля (1740 год) и номера академических „Ежемесячных сочинений” 1755 и 1756 годов, а также стро-

Гедеон Криновский,
епископ
псковский
и нарвский



го воспретить, „дабы никто отнюдь ничего писать и печатать как о множестве миров, так и о всем другом, вере святой противном и с честными нравами не согласном, под жесточайшим за преступление наказанием не отваживался”.

Прямо против Ломоносова была направлена читанная перед императрицей и изданная в том же 1756 году проповедь „придворного ея величества проповедника иеромонаха Гедеона” (Криновского). Кляня „натуралистов, афеистов и других богомерзких”, монах-царедворец намекал, что „за свои дела отвечать должны”

и те, что украшен „рангами, достоинством и богатством”, высмеивал ученых как „безразсудных Адамовых деток”. Всех этих поводов было более чем достаточно, чтобы Михаил Васильевич не мог смолчать¹⁰.

Он взялся за перо — и вскоре вся Россия хохотала, читая разлетевшуюся по стране во множестве списков эпиграмму „Гимн бороде”, которую переписывали в Петербурге и Москве, Костроме и Ярославле, Казани и других городах, даже в Красноярске и Якутске. Ломоносов точно выбрал главную свою цель — невежество служителей духовного ведомства и основной образ — длинную бороду, ношение которой Синод рассматривал в то время как непрременную обязанность духовных лиц. За эту бороду академик и дернул со всем своим стихотворческим талантом и остроумием.

Мрачно уставив бороды в пол, члены Святейшего синода разбирали содержание столь распространенных в народе „пашквильных стихов”, начало которых звучало, как ода:

Не роскошной я Венере,
Не уродливой Химере
В имнах жертву воздаю:
Я похвалу песнь пою
Волосам, от всех почтенным,
По груди разпространенным,
Что под старость наших лет
Уважают наш совет.

За этими строками чувствовалась уверенная рука придворного поэта, но в ушах членов Синода звучал звонкий насмешливый припев, завершавший каждую строфу „Гимна” и звучащий на каждом перекрестке Петербурга:

Борода предорогая!
Жаль, что ты не крещена
И что тела часть срамная
Тем тебе предпочтена.

Погрузившись в стихию народной прибаутки, автор не мог удержаться, чтобы в изящной строфе не сравнить бороду с „несравненной красотой” ее подобия, окружающего отнюдь не уста, а путь, которым человек приходит в мир... Архиреев передернуло.

Хитрый автор „Гимна” умело замаскировал направленность своей сатиры, посвятив следующие две строфы явно старообрядческим бородам, лишь намекнув на обогащение казны и церкви от преследований „суетверов”, для коих борода дороже головы. Обвиняя автора „Гимна”, Синод должен был сам признать, что следующие далее стрелы сатиры поразили не только староверов:

О коль в свете ты блаженна,
Борода, глазам замена!
Люди обще говорят
И по правде то твердят:
Дураки, ввали, проказы
Были бы без ней безглазы;
Им в глаза плевал бы всяк;
Ею цел и здрав их зрак.

Насмешливое отношение простонародья к глупым и проказливым попам сочеталось здесь с ясно просвечивающей мыслью, что духовенство не желает видеть очевидного, заслоняясь традиционными взглядами от окуляра телескопа, в который давно предлагал заглянуть Ломоносов. Следующая строфа подтверждала правильность такой догадки и с головой выдавала сочинителя:

Если правда, что планеты
Нашему подобны свету,
Конче (конечно. — А. Б.) в оных мудрецы
И всех пуше там жрецы
Уверяют бородою,
Что нас нет здесь головою.
Скажет кто: мы вправды тут,
В трубе там того сожгут.

Сожгут так же, как сожгли Джордано Бруно, говорившего об иных обитаемых мирах, как на Руси собирались сжечь книги, упоминающие о множественности

миров. Не останавливаясь на этой горькой шутке, Ломоносов порицает духовенство оптом: духовное звание — это карьера, требующая лишь внешнего соответствия требованиям ведомства:

Естли кто не взрачен телом,
Или в разуме не зрелом,
Естли в скудости рожден,
Либо чином не почтен, —
Будет взрачен и разсуден,
Знатен чином и не скуден
Для великой бороды:
Таковы ея плоды!

Вслед за шуткой звучит настоящий гнев, обещание „заплатить” бородам за „невозможные” действия и защиту ложных мнений. Даже спустя более двух столетий через печатную строку видится, как Михайло Васильевич сжимает кулак, многозначительно помахивая им в сторону Синода:

О прикраса золотая,
О прикраса даровая,
Мать дородства и умов,
Мать достатков и чинов,
Корень действий невозможных,
О завеса мнений ложных!
Чем могу тебя почтить,
Чем заслуги заплатить?

Посвятив еще строфу роскоши духовенства, автор сатиры удовлетворенно констатирует, что теперь-то бороды будут хорошо расти, ибо, подражая крестьянам, он их хорошо удобрил:

Борода, теперь прости,
В жирной влажности расти!¹¹

К чести членов Синода нужно отметить, что они достаточно хорошо разбирались в поэзии, чтобы догадаться об авторстве „Гимна бороде” по стилю, не говоря уже о содержании. И вот, пылая благородным гневом и потрясая расчесанными бородами, синодальные члены отправились разбираться с Ломоносовым. По понят-

ным соображениям они поначалу не хотели давать делу официального хода и, возможно, удовлетворились бы „раскаянием” автора. Вместо того чтобы вызвать Михаила Васильевича в Синод, они отправились на „свидание” с академиком. Чем оно завершилось — мы видели в начале рассказа.

Мы оставили Ломоносова в тот момент, когда он писал свой ответ Синоду. Не желая обращаться к его членам, он обращался сам к себе:

О страх! о ужас! гром! ты дернул за штаны,
Которы подо ртом висят у сатаны.

Ты видишь, он за то свирепствует (и) злится,
Диравой красной нос, халдейска печь, дымится,
Огнем и жупелом исполнены усы,

О как бы хорошо коптить в них колбасы!

Козлята малые рождаются з бородами:
Как много почтены они перед попами!

О полза, я одной из сих пустых бород
Недавно удобрял бесплодный огород.

Уже и прочие то (го) ж себе желают
И принести плоды обильны обещают.

Чего немощно ждять от толь мохнатых лиц,

Где в тучной бороде премножество площиц (вшей. — А. Б.)?

Сидят и меж собо (й), как люди, разсуждают,

Других с площицами бород не признавают (то есть староверов. — А. Б.)

И проклинаят всех, кто молвит про козлов:

Возможно ль быть у них толь много волосов?¹²

Комментарии здесь излишни. Ломоносов в полной мере излил свой гнев на „особо невежественное” духовенство, как охарактеризовал героев этих эпиграмм митрополит Филарет (Гумилевский). Этот просвещенный деятель церкви не усмотрел в „Гимне бороде” ничего предосудительного, из-за чего оно могло поднять „бурю против себя”: „А чего и ждять от тупых голов”, — заметил Филарет, аттестовав таким образом членов Святейшего синода¹³. Последние, однако, придерживались другого мнения и, получив в „подарок” от академика очередную эпиграмму (она, как и „Гимн бороде”, подшита к синодальному делу), написали жалобу самой императрице, описав в ней свои обиды и

злоключения. Вот текст этой жалобы, не публиковавшейся полностью уже более столетия:

„Всепресветлейшей, державнейшей, великой государыне, императрице и самодержице всероссийской, всеподданнейший доклад Синода.

В недавнем времени проявились в народе пашквильные стихи, надписанные „Гимн Бороде”, в которых не довольно того, что тот пашквильянт, под видом якобы на раскольников, крайне скверныя и совести и честности христианской противныя ругательства генерально на всех персон, как прежде имевших, так и ныне имеющих бороды написал, но и Тайну Святого Крещения к зазрительным частям тела человеческого наводя, богопротивно обругал, и чрез название бороды ложных мнений завесою всех Святыя Отец учения и предания еретически похулил.

И когда, по случаю бывшего с профессором Академии Наук Михайлом Ломоносовым свидания и разговора о такомове вовсе непотребном сочинении от Синодальных Членов рассуждаемо было, что оной пашквиль, как из слогу признательно, не от простаго, но от какого-нибудь школьнаго человека, а чают и не от него ли самаго произошел? И что такому сочинителю, ежели в чувство не придет и не раскается, надлежит как казни Божией, так и Церковной клятвы ожидать.

То услыша означенной Ломоносов исперва начал оной пашквиль шилески (издевательски. — А. Б.) защищать, а потом, сверх всякаго чаяния, сам себя тому пашквильному сочинению автором оказал, ибо в глаза перед Синодальными Членами таковыя ругательства и укоризны на всех духовных за бороды их произносил, каковых от добраго и сущаго (действительнаго. — А. Б.) Христианина надеяться отнюдь не возможно.

И не удовольствуясь тем, еще опосле того вскоре таковой же другой пашквиль в народ издал, в коем, между многими явными уже духовному чину ругательства, безразумных козлят далеко почтеннейшими,

нежели Попов, ставит, а при конце точно их назвавши козлами, упомянутую ему при разсуждении Церковную клятву за едину тщету вменяет.

Из каковых не Христианских, да еще от Профессора Академического, пашквилев не иное что, как только противникам Православных Веры и таковым предержателям к безстрашному кощунству им Святых Таин и к ругательству духовнаго чину явный повод происходит и впредь, ежели не изменится, происходить может.

А понеже, между прочими вседражайшаго вашего императорского величества родителя блаженныя и вечныя славы достойныя памяти государя императора Петра Великаго правами, жестокия казни хулителем закона и Веры чинить повелевающими, Военнаго Артикула главы 18, 149 пунктом таковых пашквилей сочинителей наказывать, а пашквильныя писма чрез палача под виселицею жечь узаконено. — Того ради со оных пашквилев всеподданнейше вашему императорскому величеству подносит Синод копии (так!) и всенижайше просит, чтоб ваше императорское величество, яко Богом данная и истинная Церкви и Веры святой и духовному чину защитница, высочайшим своим указом таковыя соблазнительныя и ругательныя пашквилы истребить и публично сжечь, и впредь то чинить запретить, и означеннаго Ломоносова, для надлежащаго в том увещания и исправления, в Синод отослать, высочайше указать соизволили.

Вашего императорскаго величества
всепокорные рабы и богомольцы:

Смиранный Сильвестр архиепископ С.-Петербургский.
Смиранный Димитрий епископ Рязанский.
Смиранный Амвросий епископ Переславский.
Смиранный Варлаам архимандрит Донской.

Марта 6-го дня 1757 года”¹⁴.



Сильвестр Кулябка,
архиепископ
санкт-петербургский
и ревельский

Пока слезная мольба обиженных членов Синода добиралась до императрицы, Ломоносов сочинил новый „пашквиль”, высмеяв синодальный суд. В „Гимне бороде за суд” описывается, как уязвленные сатирой бороды жалуются главной бороде, что

Брадоборец неотложно
Говорит, что есть безбожно
Почитать наши чины
Тем, что мы не крещены...

Выслушав все жалобы, главная борода разъярилась:
Борода над бородами,
С плачем к стаду обратясь,

Осеньяла всех крестами
И кричала разсердясь:
„Становитесь все рядами,
Вейтесь, бороды, кнутами,
Бейте ими сатану;
Сам ево я прокляну!”

Угроза церковного проклятия вызывает у Ломоносова насмешку: он прекрасно знает, что духовное ведомство несамостоятельно и ничего не может предпринять в отношении Академии наук без высочайшего соизволения. Фантасмагорическая картина заседания Синода в „Гимне бороде за суд” отражает, скорее, представление об общественной опасности людей, ценность которых выражается лишь длиной бороды:

О, какой же крик раздался
От бород сердитых тут;
Ус с усом там в плоть свивался,
Борода з брадою в кнут;
Тамо сеть из них готовят,
Брадоборца чем уловят;
Злобно потащат на суд
И усами засекут!

К счастью, засечь Ломоносова „усами” не удалось. Мы не знаем всех обстоятельств придворной борьбы вокруг антинаучных инициатив Синода, но результат ее известен. На этот раз Михаил Васильевич победил. Именного указа императрицы, запрещающего писать „как о множестве миров, так и о всем другом, вере святой противном”, издано не было. Синоду не удалось запретить распространение уже изданных книг с изложением гелиоцентрической теории. Не удалось „бородам” и заполучить в свои руки „брадоборца”.

Позиция Ломоносова оказалась слишком прочной. Как раз в это время ему удалось фактически отстранить от управления Академией своего старого врага И. Д. Шумахера. За пять дней до подачи синодальной жалобы Ломоносову и Тауберту был вручен ордер президента Академии наук Кирилла Григорьевича Разу-

мовского (подписанный еще 13 февраля) о введении их в управление академической Канцелярией, „дабы в отсутствии моем, — писал президент, — в случае иногда болезни г. статского советника Шумахера или иного приключения, которому он по дряхлости и старости лет своих (Шумахеру было 66 лет. — А. Б.) подвержен быть может, Канцелярия академическая праздна не осталась... и над всеми академическими делами могло быть всегдашнее доброе смотрение”¹⁵.

Вопреки нападкам духовенства, в феврале 1757 года типография Московского университета начала новое издание Собрания сочинений М. В. Ломоносова. Хорошо задуманная атака на Михаила Васильевича в литературе — путем распространения своего рода контрсатиры — тоже не вполне удалась. Духовенство пыталось пустить по рукам анонимные письма против Ломоносова и пародию на его сатиру под заглавием: „Переодетая борода или имн пьяной голове”. Эти сочинения, подписанные вымышленным именем „Христофор Зубницкий” из Колмогор, даже пытались напечатать в академических „Ежемесячных сочинениях” (надеясь на неприязнь ряда ученых к Ломоносову).

Автор пасквилей — талантливый и весьма жестокий рязанский епископ Дмитрий Сеченов — с помощью В. К. Третьяковского собрал, как сейчас сказали бы, весь „компромат” на академика, включая даже ошибку Ломоносова в анализе рудных образцов и появление отрицательной рецензии на его труды в *Commentarii* (Лейпциг, 1752). Хорошо знакомый с Михаилом Васильевичем выпускник Московской славяно-греко-латинской академии, Дмитрий усердно поливал своего бывшего коллегу грязью, обвиняя его в пьянстве, корыстолюбии, самонадеянности, хвастовстве, необразованности и наглости.

С хмелю безобразен телом
И всегда в уме незрелом
Ты, преподло быв рожден,
Хоть чинами и почтен,

— писал автор пасквиблей, довольно ловко используя форму „Гимна бороде“:

Не напрасно он дерзает;
Пользу в том свою считает,
Чтоб обманом век прожить,
Общество чтоб обольстить
Либо мозаиком ложным,
Либо бисером подложным

(намек на предполагаемые выгоды от строившейся Ломоносовым стеклянной фабрики в Усть-Рыбцах). Впрочем, Христофор Зубницкий довольно вульгарен; он никак не может отойти от темы выпивки (в страсти к которой епископ Дмитрий сам жаловался на себя в проповедях). Для него характерны обращения типа: „пьяный рыболов“, „твоя хмельная рожа“, „век с свиньями почивай“ и т. п.

И на твой раздутый зрак
Правей харкнуть может всяк

— вот образец красноречия, представленный служащим духовного ведомства.

„Поверьте, — писал пасквилянт, — что он столько подл духом, столько высокомерен мыслями, столько хвастлив на речах, что нет такой низости, которой бы не предпринял ради своего малейшего интереса, например для чарки вина“. „Он, — говорилось про великого русского ученого, — всегда за лучшие и важнейшие свои почитает являемые в мир откровения, которыми не только никакой пользы отечеству не приносит, но еще, напротив того, вред и убыток, употребляя на оные немалые казенные расходы, а напоследок вместо чаемья похвалы и удивления от ученых мужей заслуживая хулу и поругание, чему свидетелем быть могут „Лейпцигские комментарии“. Короче, Ломоносов гордится, „сребро сыскав в дерьме“.

В XVIII столетии подлые писания епископа не имели успеха, в отличие от ответной эпитагмы Ломоносова Зубницкому:

Безбожник и ханжа, подметных писем враль!
Твой мерзкий склад давно и смех нам и печаль:
Печаль, что ты язык российской развращаешь,
А смех, что ты тем злом затмить достойных чаешь.
Наплюем мы на срам твоих поганых врак:
Уже за 20 лет ты записной дурак...
Хоть ложной святостью ты бородой скрывался,
Пробин (то есть Честный. — А. Б.), на злость твою взирая,
Улыбался:

Учения ево, и чести, и труда,
Не можешь повредить ни ты, ни борода¹⁶.

На этот раз Ломоносов действительно не позволил деятелям духовного ведомства повредить свое учение, честь и труд. В дальнейшем он еще не раз отражал наскоки на науку и литературу, как в своих поэтических сочинениях, так и в ученых трудах. Примерно к концу 1759 года Михаил Васильевич ответил на выход в свет четвертого тома „Собрания разных поучительных слов” псковского епископа Гедеона (Криновского), пренебрежительно отзывавшегося о красноречии, риторике и ученых вообще. Вероятно, Ломоносов ушел в высказываниях Гедеона намек на новое издание своей „Риторики” (1759 год). Как бы то ни было, он возмутился и написал эпитагму к Пахомию, сохранившую для потомков память о книге Гедеона и затронувшую не только епископа псковского:

Пахомий говорит, что для святого слова
Риторика ничто, лишь совесть будь готова.
Ты будешь Казнодей, лишь только стань попом
И стыд весь отложи. Однако врешь, Пахом.
На что риторику совсем пренебрегаешь?
Ее лишь ты одну и то худенько знаешь.

Ломоносов пользуется случаем, чтобы еще раз защитить науку и литературу от нападков духовенства, ссылаясь на церковные авторитеты:

Василий, Златоуст — церковные столпы —
Учились долее, как нынешни попы:
Гомера, Пиндара, Демосфена читали
И проповедь свою их штилем предлагали;
Натуру, общую всей прочей твари мать,
Небес, земли, морей, старались испытать,
Дабы Творца чрез то по мере сил постигнуть
И важностью вещей сердца людски подвигнуть.

Конфликт, в который он был втянут, Ломоносов представляет однозначно: как конфликт между правдой просвещения и ханжеством невежества, характерного, как признавали и духовные авторы, для русского священного чина XVIII века:

Ты словом божим незнанье закрываешь
И больше тех мужей у нас быть уповаешь;
Ты думаешь, Пахом, что ты уж Златоуст!
Но мы уверены о том, что мозг твой пуст.

Литературная беллетристика, считает Михаил Васильевич, гораздо ценнее поучений подобного духовенства. Поймав Гедеона на слове, когда тот осуждает чтение в частности, романа Ф. Фенелона „Приключения Телемака” (1699 год) вместо Евангелия, Ломоносов замечает:

Нам слово Божие чувствительно, любезно,
И лишь во рте твоём бессильно, бесполезно.
Нравоучением преславной Телемак
Стократ полезнее твоих нескладных врак¹⁷.

Что это за „враки” и в чем глубоко ошибочна проповедь малообразованного и не рассуждающего под пятой Синода духовенства, академик ясно показал в написанных вскоре научных трудах. Во „Втором прибавлении к металлургии” (1760 год) он ярко изложил свою теорию развития Земли, в корне противоречащую легенде о „сотворении” мира за шесть дней. Это именно легенда, утверждает Ломоносов:

„Кому противна долгота времени и множество веков, требуемых на обращение дел и произведения вещей в натуре, больше нежели как принятое у нас церковное исчисление, тот возьми в разсуждение... что оно не догмат веры, ниже узаконение, утвержденное соборами...

Если же кто сим недоволен, — иронизирует ученый, — то пусть отнесет вышеписанные природы деяния в оное время, когда Земля была невидима и неустроена (так! — А. Б.), то есть прежде шестидневного произведения тварей: там не будет никакого спору и сомнения о времени, не описанном и не определенном чрез течение светил небесных”.

В следующем, 1761 году вышло из печати „Прибавление” к астрономическому исследованию Ломоносова „Явление Венеры на Солнце”. При прохождении планеты через видимый солнечный диск ученому удалось обнаружить на ней атмосферу, то есть найти сильнейший аргумент в пользу гипотезы о наличии жизни не только на Земле. Михаил Васильевич указал, что его взгляды приходят в противоречие с мнением невежественного духовенства, и постарался (на первый взгляд) уйти от конфликта, прикрывшись рассуждением о „двойственности истины”. Однако не мог удержаться от насмешки над своими противниками-проповедниками.

„Некоторые спрашивают, — иронически замечает академик, — ежели-де на планетах есть живущие нам подобные люди, то какой они веры? Проповедано ли им евангелие? Крещены ли они в веру Христову?

Сим дается ответ вопросный. В южных великих землях, коих берега в нынешние времена почти только примечены мореплавателями, тамошние жители, также и в других неведомых землях обитатели, люди видом, языком и всеми поведением от нас отменные, какой веры? И кто им проповедал евангелие?

Ежели кто про то знать или их обратить и крестить хочет, тот пусть по евангельскому слову... туда пойдет. И как свою проповедь окончит, то после пусть поедет для того ж и на Венеру. Только бы его труд не был напрасен. Может быть, тамошние люди в Адаме не согрешили; и для того всех из того следствий не надобно”.

Из подобных заявлений видно, что Михаил Васильевич даже учитывая цензурные условия, уже не желал поддерживать „мирное сосуществование” своего творчества с пытающимся ограничить его духовным ведомством. Примерно в том же 1761 году он переводит басню Лафонтена о монашестве „Крыса, удалившаяся из мира”:

Мышь некогда, любя святыню,
Оставила прелестной мир,
Ушла в глубокую пустыню,
Засевшись вся в галланской сыр.

Судя по бумаге, чернилам и расположению в рукописи, этот популярный перевод был сделан Ломоносовым в непосредственной связи с набросанным выше планом уже упомянутого „Прибавления второго” к „Первым основаниям металлургии”. В плане же ясно сказано о намерении автора осудить „некоторых поведение, кои осмежают науки, особливо новые откровения и изыскания, разглашая, будто бы они были противны веры”. Однако научный труд, явно непосильный для понимания духовных надсмотрщиков, был вскоре издан, а ясная всем басня оставалась в рукописи еще целое столетие.

Эта борьба Ломоносова, счастливо избежавшего громов и молний Святейшего синода и неукоснительно одерживавшего моральные победы над своими противниками, требовала от него немалого напряжения сил, отнимала время. Даже столь великий ученый, поэт и борец за правду вынужден был временами идти на

уступки церкви. Так же как басня о мышке в сыре, не была издана при жизни Михаила Васильевича записка для И. И. Шувалова „О сохранении и размножении российского народа”, написанная в 1761 году.

Это во многих отношениях замечательное произведение мыслителя-гражданина, наполненное искренней болью за российский народ, дает самую резкую характеристику влияния деформированной церкви на развитие народа. В ряде случаев Ломоносов даже слишком суров.

„Взгляды, уборы, обходительства, роскоши и прочие поступки везде показывают, — пишет Михаил Васильевич, — что монашество в молодости не что иное есть, как черным платьем прикрытое блудодеяние и содомство, наносящее знатный ущерб размножению человеческого рода, не упоминая о бывающих детоубивствах, когда законопреступление закрывают злодеянием. Мне кажется, что надобно клобук запретить мужчинам до 50, а женщинам до 45-ти лет”.

Среди причин детской смертности Ломоносов называет крещение холодной водой, которое попы производят согласно церковному предписанию о том, чтобы вода была „натуральная без примешения”, считая примесью и теплоту. Бесплезно „невеждам попам физику толковать”, пишет ученый, следует употребить власть для прекращения этой пагубной практики. „Таких упрямых попов, кои хотят насильно крестить холодною водою, почитаю я палачами, затем что желают после родин и крестин вскоре и похорон для своей корысти”.

В зрелом возрасте здоровью народа сильно вредит неумеренное заговение и разговение в связи с постами. „Паче других времен, — отмечает Ломоносов, — пожирают у нас масленица и святая неделя великое множество народа одним только переменным употреблением питья и пищи. Легко разсудить можно, что, готовясь к воздержанию великого поста, во всей России много

людей так загавливаются, что и говеть времени не остается. Мертвые по кабакам, по улицам и по дорогам и частые похороны доказывают то ясно. Разговенье тому ж подобно”.

Яркой страницей русской сатирической прозы стало описание Михаилом Васильевичем „светлого Христова воскресенья”, „всеобщей христианской радости”, когда наряду с торжественными службами в храмах „недавние строгие постники, как с привязу спущенные собаки, как накопленная вода с отворенной плотины, как из облака прорвавшиеся вихри, — рвут, ломают, валят, опровергают, терзают: там разбросаны разных мяс раздробленные части, разбитая посуда, текут пролитые напитки, там лежат без памяти отягченные объедением и пьянством, там валяются обнаженные и блудом утомленные...”.

— О, истинное христианское прощение и празднество! — восклицает автор. — Не на таких ли Бог негодует у пророка: *Праздников ваших ненавидит душа моя, и кадило ваше мерзость есть предо мною...* Между тем бедный желудок... не имея требуемого довольства жизненных соков, несваренные ядения по жилам посылает: они спираются, пресекается течение крови, и душа в отворенные тогда райские двери из тесноты тела прямо улетает... Вышеписанных строгих постников, притом усердных и ревностных праздничколюбцев, самоубийцами почесть можно.

Ломоносов, вполне в духе игумена троицкого Артемия, не видит особого смысла в телесном, физическом посте и внешнем покаянии. „Обманщик, грабитель, неправосудный, мздоимец, вор” никаким постом „прощения не сыщет”, „хотя бы он вместо обыкновенной постной пищи в семь недель ел щепы, кирпич, мочало, глину и уголье и большую бы часть того времени простоял на голове вместо земных поклонов”. Спасение человека не в обрядах, а в „добром житии”. Тем не менее отменить посты вовсе ученый не видел возмож-

ности. Он считал лишь, что, созвав вселенский собор, можно было бы в России перенести масленицу на май, а святую неделю приблизить к Петрову дню, то есть ближе ко времени сельских работ: „меньше было бы праздности, матери невоздержания”, и, соответственно, пьянства и обжорства, „надрывающих человеческое здравие”. Церковные установления должны максимально соответствовать благополучию верующих, а не иным соображениям.

Уже из сказанного понятно, какие препятствия должно было вызвать издание сочинения Ломоносова. Сам он не пошел на новую войну с Синодом, экономя время и силы. Только в 1819 году в „Журнале древней и новой словесности” записка „О размножении и сохранении российского народа” увидела свет, вызвав настоящий скандал. Министр духовных дел и народного просвещения сделал выговор цензурному комитету за разрешение издания, содержавшего мысли, противные православной церкви и оскорбляющие „честь нашего духовенства”. Цензор Яценков пострадал за свою „оплошность” и был отстранен от цензурования журнала. Преследованиям подвергся издатель записки В. О. Олин. При издании этого памятника русской общественной мысли в „Сочинениях” М. В. Ломоносова А. Смирдиным в 1847 году текст был изуродован цензурой. Только в 1871 году ученый Н. С. Тихонравов смог полностью опубликовать произведение¹⁸.

Усилия самодержавной власти и внутренних мракобесов превращали русскую православную церковь в орудие духовного надзора. И далеко не всегда находились силы, чтобы остановить его размах. Так, вскоре после победы М. В. Ломоносова в споре с Синодом в 1769 году возникло дело в связи с профессорской диссертацией преподавателя Московского университета Д. С. Аничкова. Оно особенно любопытно тем, что

показывает наивность принятых в литературе последних десятилетий оценок позиций исторических лиц по должностному или ведомственному принципу.

Толчок к осуждению книги Аничкова дала группа профессоров университета (Дильтей, Керштенс, Рост, Рейхель, Шаден, Лангер и Барсов) — уже тогда немало деятелей так называемого „народного просвещения” отличалось завидным даже для их церковных коллег мракобесием. Оставшиеся в меньшинстве передовые профессора также вынуждены были согласиться с решением о переделке диссертации, чтобы оставить автору возможность продолжить научную деятельность. Аничкову пришлось спешно опубликовать исправленный вариант книги.

О продолжении истории с работой выпускника Троице-Сергиевой семинарии Аничкова, направленного семинарским начальством в Московский университет, рассказывают не профессор, а... митрополит Евгений Болховитинов, крайне возмущенный этими гонениями. Не заботясь о „чести мундира”, видный ученый и литератор в духовном звании обвиняет в доносе на Аничкова университетского катихизитора, ключаря кремлевского собора Петра Алексеева. По словам Евгения, вследствие этого доноса первое издание диссертации было не просто изъято из обращения: „...экземпляры этого сочинения были отобраны и по распоряжению начальства публично сожжены палачом на Лобном месте в Москве”.

В дальнейшем, как гласят документы, преследование Аничкова продолжил архиепископ московский Амвросий (уже упоминавшийся нами „усовершенствователь” А. Попа). В „Доношении” Синоду от 10 сентября 1769 года Амвросий писал, что до его сведения дошло „производимого в профессоры магистра Дмитрия Аничкова соблазнительное и вредное сочинение под заглавием „Разсуждение из натуральной богословии о начале и происшествии натурального богочита-

ния”, которое должно быть рассмотрено духовными властями.

Мотивируя это требование, Амвросий указывал, что автор книги „1) явно восстает противу всего христианства, богопроповедничества и богослужения; 2) опровергает Священное писание, и в нем богознамения и чудеса, тако ж рай, и ад, и дьяволов, соравняя их хитроковарным образом с натуральными или небылыми вещьми, а Моисея, Сампсона и Давида — с языческими богами; 3) во утверждение того атеистического мнения приводит безбожного Епикурова последователя Люкреция да всескверного Петрония; 4) положения под нумерами... совсем натуральной и откровенной богословии противны”. В доказательство „безбожия” и „невежества” Аничкова архиепископ ссылается на „весьма благоразумную и благочестивую” речь профессора Рейхеля.

Во избежание повторения подобных изданий в университете, Амвросий просил „как о истреблении сего безбожного сочинения, купно же и о пастырском сочинителя запрещении”. Инквизиционные требования были незамедлительно поддержаны Синодом, определившим дело Аничкова как важное и срочное. Уже 9 ноября Синод вынес „Определение” о приведении сочинителя „в чувство своея погрешности” и вынесении предостережения университетским властям. Пользуясь случаем, Синод еще раз указывал всем типографиям на пункты законов об обязательном предоставлении духовной цензуре всего, что каким-либо образом касается религии.

Как ни странно, главным препятствием к проведению синодального решения в жизнь оказалась твердая позиция обер-прокурора Синода бригадира П. П. Чебышева. Он воспротивился тому, чтобы „Определение” по делу Аничкова было передано в Сенат. После трехнедельных колебаний члены Синода все же скрепили „Определение” своими подписями. В ответ разгневанный

Чебышев написал „Предложение”, утверждая, что во втором издании книги Аничкова вообще нет ничего предосудительного, прозрачно намекая, что она прочитана в верхах. Обер-прокурор язвительно замечал, что в сочинениях духовенства обвинения против Аничкова ничем не аргументированы и потому „упоминаемого магистра Аничкова по требованию Святейшего синода в чувство приводить будет не можно”.

Светская власть не желала допускать инициативу духовенства даже в охранительной области. Бригадир — обер-прокурор наложил на „Определение” резолюцию: „Не исполнять, для представленных от меня в письменном Предложении резонов”, в частности, „дабы сохранена была бы благопристойность, посредством бы которой был отвращен могущий произойти каковой-либо в простых людях соблазн”. Видя упорство подчиненных, Чебышев забрал из делопроизводства Синода все относящиеся к делу материалы. Однако в Синоде еще в течение 18 лет дело Аничкова значилось среди „интересных” и „нерешенных”. Оно было закрыто лишь в 1787 году, за год до смерти ученого.

Нависшее обвинение, возможность ежечасного продолжения следствия долгие годы отравляли жизнь и научную работу Аничкова. Его „диссертация больше других чести принесла автору” — так оценил сожженный в первой редакции труд Евгений Болховитинов. Самоцензура — этот страшный бич русской литературы, равно научной и художественной, — оставила глубокие следы во всех последующих книгах Аничкова¹⁹.

С изменением политики правительства Екатерины II механизм преследования иномыслящих духовным ведомством стал действовать значительно более результативно. Донос уже известного нам протоиерея московского Архангельского собора Петра Алексеева на Н. И. Новикова послужил поводом для ареста проsvетителя. Новиков был на 15 лет брошен в Шлиссельбургскую крепость, а изданные им книги конфискова-

ны. „Но если думаешь, что хулением Всевышний оскорбится, — урядник ли благочиния может быть за него истец?“ — иронически вопрошал А. Н. Радищев. „Может!“ — отвечало духовное ведомство. Сочинения Радищева были найдены „противными закону божьему, десяти заповедям, Священному писанию, православию и гражданскому закону“. В 80-х годах XVIII века на улицах русских городов запылали огромные книжные костры, в которых горели и сочинения Ломоносова. Только в октябре 1793 года служащими духовного ведомства было сожжено 18 656 экземпляров книг. В 1797 году была организована особая духовная цензура с широкими полномочиями. В соответствии с волей правительства ее чиновники усиленно искореняли в государстве „заразу“ свободной мысли.

Духовная цензура не делала скидки на жанр преследуемых книг, их происхождение и время создания. Русская и иностранная, научная и художественная литература равно подвергалась усекновению и запрещению. Из десятков тысяч цензурных операций вспомним лишь несколько эпизодов. От красного карандаша пострадали „Мертвые души“ Н. В. Гоголя, многие места были вычеркнуты из его полного собрания сочинений, издававшегося в 1853 году. М. Загоскин, чтобы издать свои произведения, должен был переделывать их по указаниям церковных властей. В 1866 году духовная цензура наложила арест на „Рефлексы головного мозга“ И. М. Сеченова; автора предлагалось сослать на Соловки „для смирения и исправления“. В тех же 60-х годах было запрещено издание перевода романа Жюль Верна „Путешествие к центру Земли“.

Понятно беспокойство П. И. Мельникова-Печерского (редактора газеты „Русский дневник“), писавшего в 1858 году историку М. П. Погодину: „Попов боюсь. Впрочем, употребляю все средства, чтобы в духовную цензуру не пошло. А ведь эти господа... делают такие пакости, каких не видано и не слыхано“. Мельников-

Печерский забыл о том, насколько взаимосвязаны ведомства Российской империи: его отзыв о духовной цензуре был прочитан почтовым ведомством и записан в III Отделении.

В 1866 году редактор „Дела” Г. Е. Благосветлов писал русскому врачу, революционеру и публицисту Павлу Якоби: „Пока давящая сила не ослабнет, пишите серьезные статьи по естественным наукам, но только не касайтесь религии. Пока это строго запретный плод”. Письмо, разумеется, оказалось в том же Секретном архиве III Отделения²¹. К тому же довольно благонамеренный Благосветлов ошибался — печатать научные труды было также затруднительно, причем чем далее, тем хуже. Преследовались русские ученые К. Ф. Рулье, Т. Н. Грановский и многие другие (неприятности с цензурой имели даже Мечников, Менделеев и Тимирязев). Труды немецкого естествоиспытателя Эрнста Геккеля запрещались в России в 1873, 1879 и 1902 годах (последние два раза они были сожжены). В 1886 году по настоянию духовной цензуры была запрещена книга известного французского астронома К. Фламариона, а в 1893 году в списки запрещенных книг попала „Автобиография Земли” выдающегося ученого Г. Н. Гетчинсона. Преследовались книги Чарлза Дарвина, запрещались также сочинения о нем.

Цензурные „приключения” сочинений М. Е. Салтыкова-Щедрина могли бы составить целую повесть. Духовная цензура „растерзала” весь шестой том сочинений Н. С. Лескова, в довершение всего уничтожив тираж книги. „Подлое самочинство и самовластие со стороны всякого прохвоста” увидел в этом деянии автор, крайне нелестно отзывавшийся о „попах толстопузых”. А при попытке издания сочинений А. И. Герцена в 1893 году из 4 тысяч страниц цензура вымарала более 3 тысяч! „Не везло”, впрочем, и Гл. Успенскому, и Некрасову, и Короленко, и Шевченко, и Чехову, и многим другим отечественным писателям, а из иностранцев —

Г. Флоберу, Э. Золя, А. Франсу, Г. Гейне, А. Барбюсу... Не забывала духовная цензура и старые произведения: чиркала Ломоносова, многократно запрещала и уничтожала труды Вольтера, Дидро, Гоббса. Гельвеция — костры из их книг горели и в конце XIX века! „Путешествие” Радищева по требованию духовной цензуры „удостоилось” сожжения в 1903 году²¹.

Наконец, следует подчеркнуть, что от цензурных и иных преследований не были избавлены старообрядцы и даже вполне ортодоксальные церковные писатели. Например, труды профессора Московской духовной академии Н. Ф. Каптерева были подвергнуты „урезанию”, а затем и полному запрещению. Под гнетом духовного ведомства русская православная церковь все более и более сдавала свои общественные позиции.

Отлучение



ействия духовного ведомства империи от-носительно литературы и литераторов иллюстрируют процесс расхождения синодальной церкви с российским обществом, процесс, который к концу XIX века приобретает характер раскола. Даже для глубоко верующих людей духовное ведомство не только теряет авторитет, но как бы отпадает от православия. Безусловно, и в конце XIX столетия, и в бурные годы начала нового века в церкви существовали глубокоуважаемые, высокоавторитетные для различных слоев и групп общества священнослужители и архипастыри; среди них было немало передовых людей, мыслителей, литераторов и ученых. Но это был личный авторитет, личные заслуги, не связываемые в общественном сознании с церковной организацией в целом. И здесь, как и во всем обществе, здоровые силы, не желавшие далее жить под пятой самодержавия, готовились и начинали борьбу за спасение русской православной церкви, которое могло произойти только при уничтожении военно-полицейского государства. Но „чудище обло, озорно, стозевно” еще стояло, и его духовное ведомство творило свои безумные дела. Одним из таких безумств гибнущего, разлагающегося организма было отлучение от церкви великого русского писателя Льва Николаевича Толстого²².

Здесь не место разбирать сложные религиозные взгляды и учение Толстого. Достаточно сказать, что на протяжении десятилетий он сознательно полемизировал с ортодоксальным православием, часто смешивая его с реальной деятельностью духовного ведомства. Толстой проповедовал, по существу, новое, отличное от православия учение. Он не всегда был последователен, не всегда справедлив в оценках и давал представителям разных лагерей, в том числе официальной церкви, немало поводов для выступлений против его учения. Лучшее всего об этой деятельности Толстого сказал его замечательный современник А. Ф. Кони: „Он мог иногда заблуждаться в своем гневном искании истины, но он заставлял работать мысль, нарушал самодовольство молчания, будил окружающих от сна и не давал им уснуть в застое болотного спокойствия...”²³

Состоявшееся в 1901 году отлучение Толстого имело долгую предысторию. Цензурные архивы наполнены делами о запрещении сочинений писателя за „богохульство, глумление, издевательство и кощунство над религией”, „проповедь безнравственности” (так!), „анархизма”, „социализма”, „оскорбления государя-императора” и т. п. Последнее, впрочем, не становилось причиной преследований графа. Светская власть фактически устранилась от борьбы с великим писателем, переложив ее на духовное ведомство.

Несмотря на то что Толстой печатал за границей самые резкие статьи против существующего в Российской империи строя, многократно писал едкие письма государям-императорам и их министрам, несмотря на то что он открыто занимался запрещенной правительством деятельностью, самодержавие опасалось трогать всемирно известного литератора. Лев Николаевич даже требовал, чтобы к нему применялись те же репрессивные меры, что и к другим авторам запрещенных сочинений. „Тем более, — писал он в 1896 году министру внутренних дел и министру юстиции, — что я вперед

заявляю, что буду продолжать до самой смерти делать то дело, которое правительство считает преступлением, а я считаю своей священной перед Богом обязанностью”²⁴.

Для взаимоотношений писателя со светскими властями характерен эпизод с арестом в конце 1887 года филолога М. А. Новоселова и его товарищей, распространивших не пропущенную цензурой статью Толстого „Николай Палкин”. Толстой сам отправился в Московское жандармское управление с требованием освободить арестованных или посадить его, автора статьи. „Думаю, — писал в этой связи московский генерал-губернатор В. А. Долгоруков министру внутренних дел, — помимо высокого значения его таланта, что всякая репрессивная мера, принятая относительно графа Л. Толстого, окружит его ореолом страданий и тем будет наиболее содействовать распространению его мыслей и учения”. „Высочайше повелено принять к сведению”, — пометил на докладе министр, выражая волю императора Александра III. Посему начальник Московского жандармского управления генерал Слезкин с улыбкой сообщил Толстому: „Граф, слава ваша слишком велика, чтобы наши тюрьмы могли ее вместить”. Арестованные были освобождены. Ту же линию в отношении Толстого продолжал император Николай II со своими министрами и жандармами.

Иное дело — церковные власти, вынужденные постоянно защищаться от наиболее резких обличений Льва Николаевича. „Я ведь в отношении православия — вашей веры, нахожусь не в положении заблуждающегося или отклоняющегося, я нахожусь в положении обличителя”, — писал граф в 1882 году. Через два года, осуждая содержание книги московского митрополита Макария „Православно-догматическое богословие”, Толстой писал еще более определенно: „Православная церковь? Я теперь с этим словом не могу уже соединить никакого другого понятия, как несколько нестри-

женых людей, очень самоуверенных, заблудших и малообразованных, в шелку и бархате, с панагиями бриллиантовыми, называемых архиереями и митрополитами, и тысячи других нестриженных людей, находящихся в самой дикой, рабской покорности у этих десятков, занятых тем, чтобы под видом совершения каких-то таинств обманывать и обирать народ”²⁵.

Разумеется, официальная церковь, ее цензура, проповедники и печать не оставались в долгу, приписывая Толстому все и всяческие пороки, изображая его чуть ли не дьяволом во плоти, всячески стремясь ограничить распространение его взглядов и опорочить писателя. Выдающиеся писатели и ученые церковного звания не участвовали в этой травле. Те же „умственные силы” Синода, те деятели официальной церкви, кто мешал Толстому и нападал на него, напоминали пигмеев, пытающихся связать гиганта нитками и заглушить его голос своим писком. Терпя поражение за поражением, духовное ведомство все более склонялось к крайним мерам относительно писателя.

В 1886 году обсуждалась мысль о заточении Толстого в Суздальский монастырь-тюрьму. В 1888 году херсонский архиепископ Никанор писал, что „мы (Синод. — А. Б.) без шуток собираемся провозгласить торжественную анафему... Толстому”. В 1891 году в речи „О лжеучении графа Л. Н. Толстого” харьковский протоиерей призвал предать писателя анафеме; речь была опубликована, но не возымела действия. В 1892 году до Толстого дошла весть, что за отлучение его от церкви выступает московский митрополит; мнение Синода было сформировано, обер-прокурор К. П. Победоносцев присоединился к нему. Однако император Александр III запретил открытое преследование писателя.

После смерти Александра III вопрос об отлучении Толстого вновь стал на повестку дня. О необходимости этого акта писал в 1896 году сам Победоносцев. Ко

Льву Николаевичу неоднократно посылались духовные лица с целью склонить его к возвращению в православие. Граф был непреклонен и, принимая гостей, избегал разговоров на церковные темы. Однако он продолжал писать -- и в ноябре 1899 года харьковский архиепископ Амвросий составил проект постановления Синода об отлучении Толстого, который по неизвестным причинам вновь не был принят. Возможно, церковные власти надеялись на „естественное” разрешение конфликта: Толстой был уже стар и, по-видимому, близок к смерти.

В 1900 году, когда газеты сообщили о серьезной болезни Льва Николаевича, по всем епархиям было „конфиденциально” разослано письмо „О запрещении поминовения и панихид по Л. Н. Толстом в случае его смерти без покаяния”. Подписано оно было первоприсутствующим членом Синода митрополитом Иоанникийем. Помимо указанного в заглавии и мотивированного в тексте предписания, в письме прямо говорилось, что Толстой достоин анафемы: „Таковых людей Православная Церковь торжественно, в присутствии верных своих чад, в Неделю православия объявляет чуждыми церковного общения”.

Особое озлобление духовного ведомства было связано с выходом в 1899 году романа „Воскресение”. Несмотря на многочисленные цензурные исправления и изъятия, роман сохранял колоссальную обличительную силу. Помимо прочего, под именем Топорова Толстой вывел в романе обер-прокурора Синода Победоносцева. Он, по словам писателя, „как и все люди, лишенные основного религиозного чувства, сознания равенства и братства людей, был вполне уверен, что народ состоит из существ совершенно других, чем он сам, и что для народа необходимо нужно то, без чего он очень хорошо может обходиться. Сам он в глубине души ни во что не верил и находил такое состояние очень удобным и приятным, но боялся, как бы народ не при-

шел в такое же состояние, и считал, как он говорил, священной своей обязанностью спасти от этого народ.

Так же, как в одной поваренной книге говорится, что раки любят, чтобы их варили живыми, он вполне был убежден, и не в переносном смысле, как это выражение понималось в поваренной книге, а в прямом, — думал и говорил, что народ любит быть суеверным.

Он относился к поддерживаемой им религии так, как относится куровод к падали, которою он кормит своих кур: падаль очень неприятна, но куры любят и едят ее, и потому их надо кормить падалью⁵²⁶.

В декабре 1900 года Л. Н. Толстой так охарактеризовал обер-прокурора Синода в письме к императору Николаю II: „Из всех этих преступных дел самые гадкие и возмущающие душу всякого честного человека, это дела, творимые отвратительным, бессердечным, бессовестным советчиком вашим по религиозным делам, злодеем, имя которого, как образцового злодея, перейдет в историю — Победоносцевым”.

К. П. Победоносцев (1827—1907), чья неукротимая „охранительная” деятельность усугубила глубокий кризис русской православной церкви и привела, по словам Г. Флоровского, к „отступлению Церкви из культуры”²⁷, решился наконец на шаг, ставший подлинным символом этого „отступления”. Считается, что инициатива отлучения Толстого исходила от митрополита Антония, ставшего в 1900 году первоприсутствующим членом Синода. Есть, однако, обстоятельства, заставляющие сомневаться в этом.

Антония характеризуют как человека безвольного, о котором сам Победоносцев говорил в досаде: „Кто нашего митрополита, как метлу, в руки возьмет, тот и метет”. Первоначальный текст синодального послания об отлучении писателя был написан лично обер-прокурором, причем, по воспоминаниям участника событий, Синод, посвятивший обсуждению текста целых два заседания, занимался в основном смягчением

Константин Петрович
Победоносцев,
обер-прокурор
Синода



К. Победоносцев

тона послания. По-видимому, Антоний, „совершенно неожиданно и в настойчивой форме” потребовавший отлучения Толстого (как вспоминал служащий Синода В. Скворцов), выступил на этот раз в роли „метлы” в руках Победоносцева.

Не следует идеализировать состав Синода (митрополиты Антоний, Феогност, Владимир, архиепископ Иероним, епископы Иаков, Маркелл и Борис), принимавшего решение об отлучении Толстого, но нельзя не обратить внимание на его колебания и даже некое

скрытое противодействие озлоблению Победоносцева. Синодальное послание, по его замыслу, должно было грянуть со страниц „Церковных ведомостей” 17 февраля, накануне Недели православия, когда в кафедральных соборах при торжественной архиерейской службе звучала „анафема” врагам православной церкви. 11 февраля митрополит Антоний писал Победоносцеву, что „теперь (выделено мной. — А. Б.) в Синоде все пришли к мысли о необходимости обнародования... суждения о графе Толстом... Это не будет уже суд над мертвым, как говорят о секретном распоряжении (не служить по Толстому панихид. — А. Б.), и не обвинение без выслушания оправдания, а „предостережение” живому...”. Тем не менее сомнительно, чтобы Синод был единодушен: публикация послания об отлучении Толстого задержалась на целую неделю по сравнению с намеченным сроком. „Определение Св. Синода” появилось на страницах „Церковных ведомостей” 24 февраля, а 25 февраля было на видном месте перепечатано почти всеми газетами.

„...Все силы Ада, — гласило „Определение”, — по обетованию Господню, не могли одолеть Церкви святой, которая пребудет непреодоленною во веки. И в наши дни Божиим попущением явился новый лжеучитель, граф Лев Толстой. Известный миру писатель, русский по рождению и воспитанию своему, граф Толстой в прельщении гордого ума своего дерзко восстал на Господа и на Христа его и на святое его достояние, явно пред всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его Матери, Церкви Православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила вселенную, которою жили и спасались наши предки и которою доселе держалась и крепка была Русь святая...

Он проповедует, с ревностью фанатика, ниспровержение всех догматов Православной Церкви и самой сущности веры христианской... отвергает все таинства Церкви... и, ругаясь над самыми священными предметами веры православного народа, не содрогнувшись подвергнуть глумлению величайшее из Таинств, святую Евхаристию...”

Можно себе представить, какими словами был написан Победоносцевым проект послания, если после двухдневного „смягчения” его остался такой текст! Хитроумие (как им казалось) проявили члены Синода в определении меры наказания Толстому. „Определение” говорило не об отлучении писателя, а о самоотторжении его от православной церкви. „Посему Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею”.

Отлучение Толстого — именно так восприняло публикацию синодального послания российское общество — было подобно небольшому толчку, вызывающему лавину. Оно было задумано не как единичное действие; все силы духовного ведомства империи, все находящиеся под влиянием Победоносцева черносотенные газеты включились в травлю писателя. На Толстого посыпались угрозы фанатиков, вслед ему, случалось, выкрикивали проклятия. Но все это буквально потонуло в огромной волне возмущения Синодом, поднявшей все слои общества России.

Толпы людей шли поклониться Толстому, в Петербурге, Москве, Киеве и других городах начались демонстрации в поддержку писателя, вспыхнули студенческие волнения во многих университетах. Сочувственных телеграмм было столько, что их наконец запретили передавать. „Величайшему и благороднейшему писателю нашего времени” приходили приветственные адреса с тысячами и более подписей, коллективные и частные письма. „По своей близорукости, — писали

в адресе рабочие Прохоровской мануфактуры, — Синод просмотрел самое главное Ваше „преступление” перед ним — то, что Вы своими писаниями рассеиваете тьму, которой он служит...” Представления пьес Толстого превращались в митинги, пресса, не имея возможности высказаться прямо, откликнулась на послание Синода баснями и карикатурами. Возмущение деянием Синода докатилось и до деревни. „Мужики объясняют это отлучение так, — говорила сельская учительница: — „Это все за нас; он (Толстой. — А. Б.) за нас стоит и заступается, а попы и взъелись на него”.

Обеспокоенное размахом общественного движения в защиту писателя, правительство принимало самые разнообразные, по преимуществу полицейские меры. Между прочим, департамент полиции производил перлюстрацию частных писем, главным образом чиновничьих, чтобы выяснить глубину проникновения „неприятеля” в свой лагерь. Полицейская сводка по результатам тайного чтения писем была неутешительна для правительства. От генерал-адъютанта графа Н. П. Игнатьева до мелкого чиновника авторы писем осуждали Синод, Победоносцева и других причастных к отлучению Толстого лиц за несвоевременное, вредное и глупое деяние. „Осрамили Россию на весь мир”, — читали в чужих письмах служащие „черных кабинетов”.

Немалый общественный резонанс вызвало письмо графини Софьи Андреевны Толстой к митрополиту Антонию. „Непостижимым” назвала она синодальный акт. „Неужели для того, чтобы отпевать моего мужа и молиться за него в церкви, я не найду — или такого порядочного священника, который не побоится людей перед настоящим Богом любви, или не порядочного, которого можно подкупить большими деньгами для этой цели?

Но мне этого и не нужно, — продолжала Софья Андреевна. — Для меня церковь есть понятие отвле-

ченное, и служителями ее я признаю только тех, кто истинно понимает значение церкви.

Если же признать церковью людей, дерзающих своей злобой нарушать высший закон любви Христа, то давно бы все мы, истинно верующие и посещающие церковь, ушли бы из нее”.

Впрочем, полиции не нужно было даже вскрывать письма, чтобы узнать общественное мнение: множество лиц, в том числе из интеллигенции и „высшего общества”, открыто заявляло о своей солидарности с Толстым и письменно уведомляло Синод о своем выходе из православия. Характерно письмо И. К. Дитерихса из Лондона, адресованное обер-прокурору Синода:

„Милостивый государь,

Вы состоите главой касты, именующей себя российским православным духовенством, и вершите все так называемые „религиозные дела”...

Вы... не только не повредили Л. Н. Толстому, но оказали ему значительную услугу, привлекли к нему симпатии всех искренних людей. Кроме того, всякий искренний и свободомыслящий человек может пожелать только, чтобы и над ним Вы проделали ту же манипуляцию и освободили его от тех обязательств при жизни и по смерти, которые накладывает государственная церковь на паству свою.

Но вместе с тем этим декретом о Толстом Вы лишний раз обнаружили присущее Вам и Вашему синклиту грубое, кощунственное отношение к идее христианства, ханжество и высочайшее лицемерие, ибо ни для кого не тайна, что этим путем Вы хотели подорвать доверие народных масс к авторитетному слову Льва Толстого...

Люди вашей касты так привыкли к этой власти, что даже мысли не допускаете, что царству вашему придет конец...

Но то же думали все угнетатели свободы духа всех народов, о которых ныне история повествует с ужасом и омерзением. Вы тщательно скрываете Вашу роль суф-

лера, действуя повсюду под прикрытием царского имени, и потому личность Ваша не всем ясна; но число зрячих как в обществе, так и в народе растет, слава Богу, и я один из тех, кто имел возможность оценить воочию плоды Вашей деятельности и оценить их по достоинству...

Я мог бы... выставить деятельность Вашу на моей родине в настоящем свете, если бы знал, что письмо это способно навести Вас на размышление о нравственной правоте Ваших поступков; но, зная Вашу самоуверенную бессовестность, и то, что Вы слишком поглощены заботами об охране государства от надвигающейся отовсюду крамолы, я считаю это излишним.

Да и главная цель моего письма не есть изобличение Вас, но желание заявить публично о своем выходе из православия, пребывать в коем, даже номинально, стало для меня невыносимым. (Несмотря на мою немецкую фамилию, я принадлежу к чисто русской семье, был воспитан в строго православном духе.)...

Упомянутый указ Синода о Л. Н. Толстом помог мне разобраться в моем личном отношении к православию, как государственной религии, и я искренно рад, что теперь открыто могу заявить перед всеми, что православным перестал быть...

Считаю долгом довести об этом до Вашего сведения только потому, что, не будучи эмигрантом и имея паспорт русского подданного, по которому числюсь православным, я тем самым пользуюсь и привилегиями, связанными с этим, и которых, по существующим русским законам, должен буду лишиться, — о чем и можете донести, куда следует..."

Опубликованное в заграничной прессе письмо Дитерихса стало широко известно. Иностранные газеты сочувственно откликнулись на отлучение Толстого, многие писатели за рубежом поспешили выразить свои симпатии русскому собрату, а во Франции более сорока писателей издали в честь Льва Николаевича специальный сборник.

Лев Николаевич
Толстой



А что же сам Толстой? По воспоминаниям современников, он на первых порах был равнодушен и к акту Синода, и к поднявшимся вокруг отлучения волнениям. Вскоре, однако, вежливость заставила его направить в газеты ответ на многочисленные присылаемые в его адрес приветствия. Ответ этот, со свойственным Толстому юмором, гласит:

„Г. Редактор!

Не имея возможности лично поблагодарить всех тех лиц, от сановников до простых рабочих, выразивших мне как лично, так и по почте и по телеграфу свое со-

чувствие по поводу постановления св. Синода от 20—22 февраля, покорнейше прошу вашу уважаемую газету поблагодарить всех этих лиц, причем сочувствие, высказанное мне, я приписываю не столько значению своей деятельности, сколько остроумию и благовременности постановления св. Синода.

Лев Толстой”.

Напечатать такое письмо подцензурные газеты не могли: оно ходило по рукам и появилось, как это обыкновенно бывает, в заграничной прессе. Вскоре, однако, Толстой вынужден был написать развернутый ответ Синоду. Среди получаемых им писем были и такие, которые содержали „увещевания”, ругательства и угрозы расправы со стороны фанатиков, но они составляли незначительную в процентном отношении часть. Людям, обвиняющим его в безбожии, писатель и решил объяснить свою истинную позицию. Ознакомиться с этим весьма обширным посланием можно в Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого (Т. 34. С. 245—253). Писатель отмечал, в частности: „Распространение моих писаний о религии, благодаря цензуре, так ничтожно, что большинство людей, прочитавших постановление Синода, не имеют ни малейшего понятия о том, что мною писано о религии...”

Оно (послание. — А. Б.) есть... подстрекательство к дурным чувствам и поступкам, так как вызвало, как и должно было ожидать, в людях непросвещенных и нерассуждающих изобление и ненависть ко мне, доходящие до угроз убийства и высказываемые в получаемых мною письмах”.

„То, что я отрекся от церкви, называющей себя православной, — пишет, между прочим, Лев Николаевич, — это совершенно справедливо. Но отрекся я от нее не потому, что я восстал на Господа, а, напротив, только потому, что всеми силами души желал служить ему”. Толстой подробно отвечает на все предъявленные ему

Синодом обвинения и объясняет неприемлемость для него учения официальной церкви.

„...Если когда какой человек попытается напомнить людям то, что не в этих волхвованиях, не в молебнах, обеднях, свечах, иконах учение Христа, а в том, чтобы люди любили друг друга, не платили злом за зло, не судили, не убивали друг друга, то поднимается стон негодования тех, которым выгодны эти обманы...

Ужасно, главное, то, что люди, которым это выгодно, обманывают не только взрослых, но, имея на то власть, и детей, тех самых, про которых Христос говорил, что горе тому, кто их обманет. Ужасно то, что люди эти для своих маленьких выгод делают такое ужасное зло, скрывая от людей истину, открытую Христом и дающую им благо, которое не уравнивается и в тысячной доле получаемой ими от того выгодой... Можно бы согласиться в 10 раз лучше, в величайшей роскоши содержать их, только бы они не губили людей своим обманом. Но они не могут поступать иначе. Вот это и ужасно. И потому обличать их обманы не только можно, но должно. Если есть что священное, то никак уж не то, что они называют таинством, а именно эта обязанность обличать их религиозный обман, когда видишь его...

Я начал с того, что полюбил свою православную веру более своего спокойствия, потом поллюбил христианство более своей церкви, теперь же люблю истину более всего на свете. И до сих пор истина совпадает для меня с христианством, как я его понимаю. И я исповедую это христианство; и в той мере, в какой исповедую его, спокойно и радостно живу и спокойно и радостно приближаюсь к смерти”.

Ответ Толстого был напечатан за границей. В русской печати он появился только во время революции, в 1905 и 1906 годах. В 1911 году это сочинение вновь было запрещено и вырезано из книги сочинений Толстого. Оно становилось все более и более актуальным

по мере усиления черносотенной реакции, травившей Толстого со страниц черно-желтой прессы, с церковных кафедр и т. п. В отличие от Льва Николаевича, Константин Петрович Победоносцев с чиновниками министерства внутренних дел и черносотенцами не могли сказать о себе, что живут спокойно и радостно.

Много усилий реакция затратила на то, чтобы воспрепятствовать распространению сочинений писателя. Было запрещено печатать его портреты. Призывы „истинно русских” людей к правительству „добраться до Ясной Поляны и разорить это вражье гнездо клеветов Антихриста” сочетались с лихорадочной деятельностью различных учреждений по предотвращению и пресечению чествований Толстого, празднования общенациональностью его юбилеев и т. п. В холодный пот бросала реакционеров мысль о том, какой общественный резонанс приобрела бы смерть „нераскаянного” писателя. Всероссийский размах приняла мероприятия ряда ведомств в связи с болезнью Льва Николаевича в 1901—1902 годах: министерство внутренних дел, министерство путей сообщений, Синод и другие организации готовились к смерти писателя почти как к вторжению неприятеля.

Возможно, Толстой не знал о замысле Победоносцева инсценировать его раскаяние, но, безусловно, догадывался о подобном плане духовного ведомства. Не случайно писатель в разговорах и дневниковых записях не раз категорически отвергал возможность своего раскаяния. „Повторяю, — писал Лев Николаевич, — что возвратиться к церкви, причаститься перед смертью, я так же не могу, как не могу перед смертью говорить похабные слова или смотреть похабные картинки, и потому все, что будут говорить о моем предсмертном покаянии и причащении, — ложь... Повторяю при этом случае и то, что похоронить меня прошу также без так называемого богослужения...”²⁸

Болезнь и смерть Толстого в 1910 году вызвали

переполох в верхах. Особую активность проявлял корпус жандармов и полиция. Председатель Совета министров П. А. Столыпин обратился к обер-прокурору Синода С. Н. Лукьянову с запросом о реакции духовного ведомства на возможную кончину писателя. Продолжительные заседания Синода были посвящены разработке планов „обращения” Толстого и мер на тот случай, если он не „раскается”. Энергичные действия эмиссаров Синода оказались безуспешными. Лев Николаевич не обнаружил никаких признаков желания возвратиться к церкви. „Никто из членов семьи, — констатировал вице-директор департамента полиции в письме товарищу министра внутренних дел, — не нашел возможным удостоверить, чтобы умерший выражал какое-либо желание примириться с церковью”.

Попытка сделать вид, что духовное ведомство империи не находится вне культуры, не порвало с ней, провалилась. Святейший синод стал на привычный путь: рука об руку с губернаторами, полицией, жандармами, охранкой чиновники духовного ведомства приступили к подавлению общественных выступлений в память великого русского писателя.

Эпилог



еформированная организация русской православной церкви, превращенная в винтик машины самодержавной власти, дошла до того предела падения, за которым зияла бездна небытия. Крушение машины военно-полицейского и духовного гнета поставило верующих и священнослужителей перед сложным и ответственным выбором. Епархиальные и общие, частные и правящие собрания 1917 года знаменовали начало нового этапа в истории православной церкви. В разнообразии мнений, борьбе реакционных и передовых сил она делала шаги к обновлению и возрождению. Собор 1917—1918 годов восстановил патриаршество. „Орел петровского, на западный образец устроенного, самодержавия, — говорилось на соборе, — выклевал это русское православное сердце. Святотатственная рука нечестивого Петра свела первосвященителя с его векового места в Успенском соборе. Поместный собор Церкви Российской от Бога данной ему властью поставит снова Московского патриарха на его законное неотъемлемое место”. На законное место ставилась и сама церковь, отделенная от государства и лишенная исконно не присущих ей карательных функций. Конечно, не один Петр был виновником кризиса русской православной церкви в целом и ее организации в частности. Как орга-

низация и как сообщество верующих православная церковь имела судьбу, неотделимую от судеб России, накапливала в себе кризисные явления и в полной мере переживала страдания, выпавшие на долю народов нашего государства. В советское время церковь была не просто отделена от государства, но извержена, обескровлена и даже вновь частично подчинена государственному аппарату. Выздоровление, или, лучше сказать, возрождение, русской православной церкви — это долгий, зачастую мучительный процесс. Следует надеяться, что он будет продолжаться вместе с оздоровлением нашего общества. И избавление от груза прошлых заблуждений будет опираться на верно понятый и оцененный исторический опыт.

ПРИМЕЧАНИЯ

К главе 1. „МОЛЧИ, ОТЧЕ!“

- ¹ См. главные исследования: В и л и н с к и й С. Г. Послания старца Артемия (XVI века). Одесса, 1906; З и м и н А. А. И. С. Пересветов и его современники. Очерки по истории русской общественно-политической мысли середины XVI века. М., 1958. Ч. 1. Гл. IV. § 2. Дело старца Артемия. С. 153—168. Здесь же указана библиография.
- ² Все известные ныне послания Артемия опубликованы: Русская историческая библиотека. Спб., 1878. Т. 4. Ст. 1201—1448.
- ³ С т е ф а н о в и ч Д. О Стоглаве. Его происхождение, редакция и состав. К истории памятников древнерусского церковного права. Спб., 1909. С. 51—52.
- ⁴ Источники опубликованы: Б е л о к у р о в С. А. О библиотеке московских государей в XVI столетии. М., 1898. Приложения. С. IX, XXI, LXXIII, LXXVI—LXXVII.
- ⁵ Послание Сильвестра опубликовано: Г о л о х в а с т о в Д. П., Л е о н и д. Благовещенский иерей Сильвестр и его писания // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1874. Кн. 1.
- ⁶ Об описанных ниже событиях мы узнаем из „Дела Висковатого“ — материалов освященного собора конца 1553 — начала 1554 г. (лучшая публикация: Б о д я н с к и й О. М. Розыск или список о богохульных строках и о сумнении святых честных икон диака Ивана Михайлова сына Висковатого // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1858. Кн. 2. Отд. III.

С. 1--42). Подробнее см. З и м и н А. А. И. С. Пересветов и его современники. Ч. 1. Гл. IV. § 3. Вольнодумец Бацкин и его единомышленники. С. 168--182.

- ⁷ Челобитные (доносы) Сильвестра и Симеона опубликованы с „Делом Висковатого” (см. также: Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспедицией императорской Академии наук (далее — ААЭ). Спб., 1836. Т. 1. С. 246--249). Отсюда взяты приведенные выше без ссылок характеристики Артемия, его отношений с Сильвестром и царем, его популярности.
- ⁸ Об изложенных ниже событиях мы узнаем из „Соборной грамоты в Соловецкий монастырь о заточении бывшего троицкого игумена Артемия, с приписанием соборного о нем определения”, опубликованной в ААЭ (Т. 1. С. 249--256).
- ⁹ Сочинения князя Курбского // Русская историческая библиотека. Спб., 1914. Т. 31. Ст. 335--338, ср. ст. 333. Упоминаемое ниже письмо Курбского Марку Сарыгозину с оценкой Артемия опубликовано здесь же, ст. 415--420.
- ¹⁰ Опубликована: Полное собрание русских летописей. Спб., 1910. Т. 13. См. с. 232--233.
- ¹¹ Московские соборы на еретиков XVI в. // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1847. Кн. 3. С. 1; З и м и н А. А. И. С. Пересветов и его современники. С. 160--162; и др.
- ¹² Сообщения Андрея и Захарии см.: Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1847. Кн. 8. С. 2--3; Русская историческая библиотека. Спб., 1878. Т. 4. Ст. 913.
- ¹³ С а д к о в с к и й С. Артемий, игумен Троицкий // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1891. Кн. 4. Отд. III. С. 140.

К главе 2. ЖЕРТВЫ СМУТЫ

- ¹ „Словеса” И. А. Хворостинина опубликованы: Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. 2-е изд. Спб., 1909. Ст. 525--558 (Русская историческая библиотека. Т. 13).

- 2 О жизни и деятельности И. А. Хворостинина см.: Платонов С. Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник. Спб., 1888. С. 182—203; Зеньковский С. Друг самозванца, еретик и стихотворец князь Иван Андреевич Хворостинин. Нью-Йорк, 1956; Семенов Е. А. Русская общественная мысль первой половины XVII века (творчество С. И. Шаховского и И. А. Хворостинина). Автореферат дис. канд. ист. наук. Л., 1982; Анашкина Н. В. И. А. Хворостинин — писатель первой четверти XVII века. Автореферат дис. канд. филол. наук. М., 1989.
- 3 Сказания Массы и Геркмана о Смутном времени в России. Спб., 1874. С. 208.
- 4 Сведения о первой ссылке И. А. Хворостинина приведены в грамоте царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета Никитича Романовых от января 1624 года об освобождении князя из вторичного заточения (в Кирилло-Белозерском монастыре). Грамота содержит обзор всех прежних „прегрешений” Хворостинина и церковных преследований, которым он подвергался, излагает приговор князю, вынесенный священным собором в конце 1622 года. См.: Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел. Спб., 1822. Ч. 3. С. 331—332. № 90.
- 5 О нем подробнее см.: Смирнов А. Святейший патриарх Филарет Никитич // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1874. № 2.
- 6 Цит. по: Платонов С. Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник. С. 187.
- 7 Цит. по рукописям: Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Отдел рукописей. Ф. 256 (собрание Румянцева). № 413. С. 2341; Центральный государственный архив древних актов. Ф. 181 (собрание МГАМИД). № 20/25. Л. 805; и др.
- 8 Об их осуждении см.: Скворцов Д. Дионисий Зобниновский, архимандрит Троице-Сергиева монастыря. Тверь, 1890; Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1961. Кн. 5. С. 316—320; здесь же рассказывается о противниках Дионисия с товарищами, которых мы упомянем ниже.
- 9 Подробнее см.: Богданов А. П. К полемике конца 60 — начала 80-х годов XVII в. об организации высшего учебного за-

- ведения в России. Источниковедческие заметки // Исследования по источниковедению истории СССР XIII–XVIII вв. М., 1986.
- ¹⁰ Савва В. И. Сочинения князя Ивана Андреевича Хворостинина // Летопись занятий императорской Археографической комиссии за 1905 год. Спб., 1907. С. 14 и др.
- ¹¹ Там же. С. 33–37.
- ¹² Там же. С. 38–80.
- ¹³ Об источниках и форме „Изложения” см. новейшее исследование: Анашкин Н. В. У истоков русского виршеписания (Наблюдения над стиховыми формами И. Хворостинина). МГУ. Филологический факультет. М., 1988. Деп. в ИНИОН АН СССР № 32999 от 09.03.88.
- ¹⁴ Акты Археографической экспедиции. Т. III. № 147. „Учительный свиток” сохранился в рукописи Государственной публичной библиотеки РСФСР им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, собрание Погодина, № 1563. Л. 115–122 об.
- ¹⁵ Наиболее подробное исследование жизни и творчества Антония см.: Былинин В. К. Стихотворения Антония Подольского // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. М., 1990. Вып. 48.
- ¹⁶ Орлов А. С. Домострой по Кашинскому списку и подобным. Кн. 2 // Чтения в Обществе истории и древностей российских. М., 1911. Кн. 1. Отд. II. С. 103–112.
- ¹⁷ Православный собеседник. Казань, 1862. Ч. 1. С. 283–288.
- ¹⁸ Большинство названных сочинений до сих пор не изданы (о них см. в работе В. К. Былинина); „Слово о царствии небесном” опубликовано: Православный собеседник. Казань, 1864. Ч. 1. С. 108–126, 227–246.
- ¹⁹ Подробнее см.: Былинин В. К. Стихотворные „Предисловия многообразны” в рукописях первой половины XVII века // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. М., 1983. Вып. 44. С. 7–18; предисловие к Хронографу опубликовано: Попов А. Н. Обзор хронографов русской редакции. М., 1869. Вып. 2. С. 245–252.

- ²⁰ Все цитируемые далее послания Антония Подольского и справщика Ильи опубликованы в приложениях к статье В. К. Былинина „Стихотворения Антония Подольского“.
- ²¹ Цит. по кн.: Соловьев С. М. История России... Кн. 5. С. 317 и сл.
- ²² Иван Наседка. О новой новине, претворенной на Богоявленское водосвящение. См. в рукописях: Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Отдел рукописей. Собрание Московской духовной академии. Фунд. (ф. 173). № 177. Л. 382—417; Государственный исторический музей. Отдел рукописей. Синодальное собрание. № 298. Л. 496—530. Здесь см. и описание церковных споров.
- ²³ Цит. по кн.: Соловьев С. М. История России... Кн. 5. С. 322—323.

К главе 3. РАСКОЛЬНИКИ

- ¹ О патриархе Никоне и его осуждении см.: Макарий, митрополит московский и коломенский. История русской церкви. Т. XII. Патриаршество в России. Кн. III. Спб., 1883; Гиббенет Н. А. Историческое исследование дела патриарха Никона. Спб., 1882—1884. Ч. 1—2; Дело о патриархе Никоне. Спб., 1897; Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев-Посад, 1909—1912. Т. 1—2; Он же. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. 2-е изд. Сергиев-Посад, 1913; и др.
- ² Макарий. История русской церкви. Т. XII. С. 684. Ср. С. 682—683.
- ³ Жизни и трудам Аввакума посвящена обширная литература. Подробнее о нем см.: Бороздин А. К. Протопоп Аввакум. Очерк из истории умственной жизни русского общества в XVII веке. 2-е изд., доп. и испр. Спб., 1900; Жуков Д. А. Аввакум Петров // Жуков Дм., Пушкарев Л. Русские писатели XVII века. М., 1973; Малышев В. И. Материалы к „Летописи жизни протопопа Аввакума“ // Древнерусская книжность. По материалам Пушкинского дома. Сб. научных трудов. Л., 1985. С. 277—322; и др.
- ⁴ Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 523—524.
- ⁵ Там же. С. 524.

Примечания

- 6 Флоровский Г. Пути русского богословия. 2-е изд. Париж, 1981. С. 63—65.
- 7 Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 533.
- 8 Флоровский Г. Пути русского богословия. С. 73.
- 9 Приведенные сопоставления основаны на материалах монографии Н. Ф. Каптерева „Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович”. Т. 2.
- 10 Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. Горький, 1988. С. 50, 52—53, 70, 75, 86, 94, 96—97, 101, 135, 146, 90. Ср. с. 178.
- 11 Там же. С. 46.
- 12 Эти вопросы подробнейшим образом исследованы: Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к Православному Востоку в XVI и XVII столетиях. 2-е изд. Сергиев-Посад, 1914.
- 13 Житие протопопа Аввакума... С. 56, 83, 137.
- 14 Там же. С. 47, 92. Неприятие протопопом науки и учености хорошо выражено в его выговоре духовной сестре: „Евдокея, Евдокея, почто гордаго беса не отринешь от себя? Высокие науки исчезь, от нея же падают Богом неокормлени, яко листовие. Что успе Платону, и Пифагору, и Демостену со Аристотелем? — Коловратное течение тварное разумеюще, от Ада не избывше. Дурька, дурька, дурище! На что тебе, вороне, высокие хоромы? Граматику и риторичу Васильев, и Златоустов, и Афанасьев разум обдержал. К тому же и диалектик, и философию, и что потребно — то в церковь взяли, а что непотребно — то под гору лопатою сбросили... Ай, девка! Нет, полно, меня при тебе близко, я бы тебе оципал волосье за граматику ту!” (С. 184).
- 15 Там же. С. 137.
- 16 Восстание С. Т. Разина, как и Коломенский бунт, Аввакум считал „беззаконием грешных человек” и такой же „пагубой”, как мор и война (Там же. С. 163).
- 17 Там же. С. 79, 84, 115, 131. Ср. с. 153.

- ¹⁸ Там же. С. 145, 137—138, 69. Ср. с. 132 и др.
- ¹⁹ Там же. С. 175.
- ²⁰ Там же. С. 104, 109—110, 112, 115, 177, 179.
- ²¹ Там же. С. 64—65, 79—81, 84, 85.
- ²² Там же. С. 82, 111, 113, 151—152, 166; слова дьякона Федора цит. по: Флоровский Г. Пути русского богословия. С. 68.
- ²³ Житие протопопа Аввакума... С. 113.
- ²⁴ Там же. С. 152, 165.
- ²⁵ Там же. С. 22, 23, 30.
- ²⁶ Там же. С. 66, 77.
- ²⁷ Там же. С. 40—41, 69.
- ²⁸ Там же. С. 38, 49, 54, 70—72, 81, 187.
- ²⁹ Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 12—37 и др.; Субботин Н. И. Материалы для истории раскола за первое время его существования. М., 1886. Ч. VIII. С. 17, 199—200, 233—238 и др.; Житие протопопа Аввакума... С. 35.
- ³⁰ Деяния собора опубликованы: Субботин Н. И. Материалы для истории раскола за первое время его существования. М., 1877. Ч. II.
- ³¹ Подробнее см.: Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 224—249; Макарий. История русской церкви. Т. XII. С. 754—762.
- ³² Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к Православному Востоку...; Он же. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 256—332.
- ³³ Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 489—502; Гибенет Н. А. Историческое исследование дела патриарха Никона. Т. 2. С. 397—416.
- ³⁴ Центральный государственный архив древних актов. Ф. 396 (Архив Оружейной палаты). № 955 (1029). Л. 7—7 об., 8—8 об., 28, 31, 81 об. — 82 об.

- ³⁵ Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 322, 465—488, 503—516.
- ³⁶ Житие протопопа Аввакума... С. 145.
- ³⁷ Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 325—338, 362—365, 492—493.
- ³⁸ Житие протопопа Аввакума... С. 42 и др.
- ³⁹ Сочинение Дионисия дважды опубликовано Н. Ф. Каптеревым: Православное обозрение. 1888. № 7, 9; Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. Приложение № 11.
- ⁴⁰ Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 340, 369—527.
- ⁴¹ Субботин Н. И. Материалы для истории раскола за первое время его существования. Ч. II. С. 211—222, 233, 237, 269, 273—275, 373—375 и др.
- ⁴² Там же. Т. VI. С. 244—257.
- ⁴³ Подробнее о послании Паисия константинопольского см.: Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1. С. 162—177.

К главе 4. „РАЗУМ ПРОТИВ ВЛАСТИ”

- ¹ Все материалы сыска, следствия, суда и тюремного содержания Семена Агафонниковича (Сильвестра) Медведева опубликованы: Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Издание Археографической комиссии. Спб., 1884. Т. 1.; Спб., 1888. Т. 3. Основные источники о герое очерка приведены в работах: Козловский И. П. Сильвестр Медведев. Очерк из истории русского просвещения и общественной жизни в конце XVII века. Киев, 1895; Прозоровский А. А. Сильвестр Медведев (его жизнь и деятельность). Опыт церковно-исторического исследования. М., 1896; Брайловский С. Н. Темные места в биографии Сильвестра Медведева. Спб., 1901; Богданов А. П. Сильвестр Медведев // Вопросы истории. 1988. № 2. С. 84—98.
- ² Эти и последующие события придворной борьбы с позиции Матвеевых описаны: История о невинном заточении ближнего

- боярина Артемона Сергеевича Матвеева... Изд. Н. Новиков. 2-е изд. М., 1785; Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева // Сахаров И. П. Записки русских людей. Спб., 1841.
- ³ См.: Богданов А. П. Летописные известия о смерти Федора и воцарении Петра Алексеевича // Летописи и хроники. Сб. 1980 г. М., 1981. С. 197—206; Он же. Дашков Андрей Яковлевич // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1985. Т. 39. С. 32—33.
- ⁴ См. исследования и документы о Московском восстании 1682 года: Богоявленский С. К. Хованщина // Исторические записки. Т. 10; Буганов В. И. Московские восстания конца XVII века. М., 1969; Восстание в Москве 1682 года. Сб. документов. М., 1976; Богданов А. П. Начало Московского восстания 1682 года в современных летописных сочинениях // Летописи и хроники. Сб. 1984 г. М., 1984. С. 131—146; Он же. Московское восстание 1682 г. глазами датского посла // Вопросы истории. 1986. № 3. С. 78—91; и др.
- ⁵ Лермонтова Е. Д. Самодержавие царевны Софьи по неизвестным документам. Спб., 1912; Богданов А. П. Литературные панегирики как источник изучения соотношения сил в правительстве регентства Софьи (1682—1689 гг.) // Материалы XVII ВНСК „Студент и научно-технический прогресс”. История. Новосибирск, 1979. С. 71—79.
- ⁶ Куракин Б. И. История о царе Петре Алексеевиче и близких к нему людях, 1682—1694 гг. // Архив князя Ф. А. Куракина. Спб., 1890. Кн. 1. С. 62, 64, ниже цитируется по с. 54—55.
- ⁷ О провокаторах см. документы: Второв Н. Н., Александров-Дольник К. О. Воронежские акты. Воронеж, 1850. Кн. 1. С. 80—91 (документы на с. 73—74 подтверждают свидетельства Розыских дел 1689 г. о том, что стрельцы разных полков собирались на охрану кельи Медведева от патриарха добровольно). События, связанные с переворотом 1689 г., отразились, хотя и своеобразно, в Розыских делах о Федоре Шакловитом (Спб., 1884—1893. Т. I—IV).
- ⁸ См. тексты и комментарии в кн.: Богданов А. П. Памятники общественно-политической мысли в России конца XVII века. Литературные панегирики. М., 1983. № 22—31, 33.
- ⁹ Богданов А. П. Сильвестра Медведева панегирик царевне Софье 1682 года // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1982 г. Л., 1984. С. 45—52.

- ¹⁰ Привилей со стихотворным „Вручением” опубликован: Древняя Российская Вивлиофика. Изд. 1. Ч. VI. С. 390—420. Более точное издание „Вручения” см.: Прозоровский А. А. Сильвестр Медведев. С. 383—388.
- ¹¹ Подробнее см.: Богданов А. П. Политическая гравюра в России периода регентства царевны Софьи Алексеевны // Источниковедение отечественной истории. Сб. 1981 г. М., 1982. С. 225—246.
- ¹² Библиотека Академии наук СССР (далее — БАН), П.1.А.85; Государственный исторический музей (далее — ГИМ), Барсовское собрание № 799.
- ¹³ Прозоровский А. А. Сильвестра Медведева „Созерцание краткое лет 7190, 91 и 92, в них же что содеяся во гражданстве” // Чтения в обществе истории и древностей российских. 1894. Кн. 4. О сочинении и обстоятельствах его создания подробно см.: Богданов А. П. К истории текста „Созерцания краткого” // Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода. М., 1983. С. 127—161; Он же. К вопросу об авторстве „Созерцания краткого лет 7190, 91 и 92, в них же что содеяся во гражданстве” // Там же. М., 1987. С. 114—146; Он же. „Промышление общих добр неленостное” // Чистякова Е. В., Богданов А. П. „Да будет потомкам явлено...” Очерки о русских историках второй половины XVII века и их трудах. М., 1988.
- ¹⁴ Остен. Памятник русской духовной письменности XVII века. Казань. 1865. С. 74—76.
- ¹⁵ Сведения о рождении и юности Медведева содержатся в документах: ГИМ, Чудовское собрание № 302. Л. 182—182 об.; Центральный государственный архив древних актов (далее — ЦГАДА), ф. 27 (приказ Тайных дел), № 245. Л. 2—3; № 143. Л. 2; № 181. Л. 2; Акты Московского государства. Спб., 1901. Т. 3. С. 313, 427, 494, 508; Русская историческая библиотека. Спб., 1904. Т. 23. Ст. 434, 440, 483, 489, 500—501, 504.
- ¹⁶ Подробнее см.: Гурлянд И. Я. Приказ великого государя Тайных дел. Ярославль, 1902.
- ¹⁷ О нем см.: Татарский И. Симеон Полоцкий (его жизнь и деятельность). Очерк исследования из истории просвещения и внутренней церковной жизни во вторую половину XVII века. М., 1886; и др.

- ¹⁸ О нем см.: Галактионов И. В., Чистякова Е. В. А. Л. Ордин-Нащокин — русский дипломат XVII века. М., 1961.
- ¹⁹ См.: Брайловский С. Н. Письма Сильвестра Медведева // Памятники древней письменности. Спб., 1901. Т. 144; Копанев А. И. Письмо Сильвестра Медведева к Симеону Полоцкому // Вопросы социально-экономической истории и источниковедения периода феодализма в СССР. М., 1961. С. 281—283.
- ²⁰ О ней см.: Покровский А. А. Древнее новгородско-псковское письменное наследие // Труды XV Археологического съезда в Новгороде. М., 1916. Т. 2; Киселев Н. П. О московском книгопечатании XVII века // Книга. Исследования и материалы. М., 1960. Т. 2. С. 164—169; Голенченко Г. Я. Белорусы в русском книгопечатании // Там же. М., 1966. Т. 13. С. 106—119.
- ²¹ Ундольский В. М. Сильвестр Медведев, отец славяно-русской библиографии // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1846. № 3; и др.
- ²² См., например: Дурново Н. Н. „Приветство брачное” Сильвестра Медведева // Известия Общества русского языка и словесности. 1904. Кн. 2. С. 303—350; „Эпитафий” Симеону Полоцкому // Прозоровский А. А. Сильвестр Медведев. С. 389—393; „Плач и утешение двадцатью двумя виршами...” на смерть царя Федора Алексеевича // Древняя Российская Вивлиофика. Ч. XIV. С. 95—111; ГИМ, Синодальное собрание № 1705; и др.
- ²³ Подробнее см.: Богданов А. П. К полемике конца 60 — начала 80-х годов XVII в. об организации высшего учебного заведения в России. Источниковедческие заметки // Исследования по источниковедению истории СССР XIII—XVIII вв. М., 1986. С. 177—209.
- ²⁴ Остен. С. 77; ГИМ, Синодальное собрание V. Л. 370; там же 369/969. Л. 37 об.
- ²⁵ О них см.: Сменцовский М. Н. Братья Лихуды. Спб., 1899.
- ²⁶ Читатель может сам сравнить полемические сочинения, значительная часть которых опубликована в книге А. А. Прозоровского: Сильвестра Медведева „Хлеб животный” (с. 415—430), „Праведный ответ” (сохранившийся отрывок, с. 450—452), „Манна” (издана с купорами, с. 452—538); Афанасия Иоаннова

„Обличение на новопотаенных волков” (с. 577—593); Евфимия Чудовского „Показание на подверг латинского мудрования” (с. 430—434); „Опровержение латинского учения о пресуществлении” (с. 434—450); братьев Лихудов „Акос” (с. 538—577). См. также: Сильвестра Медведева „Известие истинное”. Публикация С. А. Белокурова // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1885. Кн. 4. Отд. II. С. 1—87 (с посланиями о пресуществлении св. даров гетмана И. С. Мазепы и Иннокентия Монастырского); его же „Книга, глаголемая церковноставник или изъяснитель” (ГИМ, Чудовское собрание 283/81); Зубовский П. Контroversия. Poleмическое сочинение XVII века. Спб., 1888; Иннокентия Монастырского книга в защиту Медведева (Государственная публичная библиотека РСФСР им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (далее — ГПБ), собр. Погодина 688.1; ГИМ, Синодальное собр. 294. Л. 274 и сл.; Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (далее — ГБЛ), собр. Ундольского 481; и др.).

²⁷ ГИМ, Синодальное собрание 433, 567, 683 и др.

²⁸ Подробнее см.: Богданов А. П. Хронографец Боголепа Адамова // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1988. Т. 41; Он же. Борьба за организацию Московской славяно-греко-латинской академии // Советская педагогика. 1989. № 4.

²⁹ См.: Белокуров С. А. Арсений Суханов. М., 1894. Ч. 1—2; Богданов А. П. Автограф „Прений с греками о вере” Арсения Суханова // Источниковедение отечественной истории. М., 1989. Вып. 7.

³⁰ Акты исторические. Спб., 1842. Т. 5. С. 117; Соболевский А. И. Образованность Московской Руси XV—XVII вв. Спб., 1892; Очерки истории СССР. Период феодализма. XVII век. М., 1955. С. 554—556; Бакланова Н. А. Русский читатель XVII века // Древнерусская литература и ее связи с новым временем. М., 1967; Богданов А. П. Известия Карiona Истомина о книжном чтении // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1986 г. Л., 1987; и др.

³¹ Остен. С. 114—117.

³² Миркович Г. О времени пресуществления святых даров. Спор, бывший в Москве во второй половине XVII века. Вильна, 1886. С. 91.

³³ Переписку московского патриархата с украинским православленным духовенством и экс-патриархом константинополь-

- ским см.: Архив Юго-Западной России. Киев, 1872. Т. V. Ч. 1. См. также: Письма Лазаря Барановича. 2-е изд. Чернигов, 1865; Шляпкин И. А. Святой Димитрий Ростовский и его время (1651—1709). Спб., 1891.
- ³⁴ Материалы для истории раскола. М., 1879. Т. VI. С. 227.
- ³⁵ Этих обстоятельств не может скрыть даже в целом апологетическая книга: Смирнов П. Иоаким, патриарх московский. М., 1881. См. также упомянутые монографии А. А. Прозоровского и И. А. Шляпкина.
- ³⁶ Источники этих и нижеприведенных отзывов см.: Розыские дела... Т. 1. Ст. 553—554, 572; Яхонтов И. Иеродиакон Дамаскин, русский полемист XVII века. Спб., 1884. С. 27; Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. Спб., 1858. Т. 1. С. 349—350; Смирнов П. Иоаким, патриарх московский. С. 233—235.
- ³⁷ Подробнее см.: Прозоровский А. А. Сильвестр Медведев. С. 315—319; следует отметить, что среди украинских иерархов московская клевета и анафема на Иннокентия не произвели впечатления, и в 1690 году он играл видную роль в церемонии избрания на митрополичий престол ученого Варлаама Ясинского.
- ³⁸ Остен. С. 76, сравни с. 141—142 и др.
- ³⁹ Подробнее см.: Шляпкин И. А. Святой Димитрий Ростовский и его время (1651—1709). С. 211—229, 235.
- ⁴⁰ Поскольку вопрос о времени заочного расстрижения Медведева (и, таким образом, передачи его уголовному суду) вызвал в литературе споры, укажу на документы сыского дела, показывающие, что это событие уже произошло к 12 сентября: Розыские дела... Т. 1. Ст. 383, 519.
- ⁴¹ Там же, ст. 531—532. Намеренно сохраняю орфографию подлинника.
- ⁴² В дополнение к опубликованным в Розыских делах документам см. архивные дела о пожалованиях за поимку Медведева: ЦГАДА, ф. 396 (Архив Оружейной палаты), оп. 1, ч. 17, д. 26843 и 26888.
- ⁴³ Экземпляр книги с автографом Медведева, который держала в руках царевна Софья, сохранился: ГИМ, Синодальное собрание VII/995.
- ⁴⁴ Подробнее см. тексты и комментарии: Богданов А. П. Памятники общественно-политической мысли в России, № 12—13, ср. № 15—16.

- ⁴⁵ Этот указ находим среди Розыскных дел (Т. 1. Ст. 829—830).
- ⁴⁶ Опись основной части конфискованных у Медведева книг (попавших в Патриаршую, затем Синодальную библиотеку, ныне в ГИМ) опубликовал И. Е. Забелин (Временник Общества истории и древностей российских. М., 1853. Кн. 16. Отд. III. С. 53—67); из того же источника были добыты книги № 697—735 по „Описанию Патриаршей библиотеки, 1718 года” (Русский архив. 1864. Приложение).
- ⁴⁷ Например, судебное дело „О непристойных речах... об отношении царевны Софьи Алексеевны к князю Василию Голицыну” велось уже в 1701 году (ЦГАДА, ф. 6, оп. 1, д. 15).
- ⁴⁸ Эти сочинения вошли отдельными статьями в упоминавшуюся уже книгу „Остен” (изданную по не лучшему списку) и сохранились в разных редакциях в книге „Щит веры” и других рукописях. Перечислю их вкратце с указанием основных списков.

Памфлет „О ростриге, бывшем монахе Сильвестре Медведеве, вводившем ересь латинскую в великороссийский народ”: отдельный, возможно, авторский список в сборнике ГИМ, Синодальное собрание 979/369. Л. 33—40; Остен, ГИМ, Синодальное собрание 545. Л. 79 и сл., отдельно из „Остена” там же V. Л. 366 и сл., ЦГАДА, ф. 196 (Мазуринского собрания), № 595. Л. 185—196; в особом списке „Остена”, принадлежавшем царевичу Алексею Петровичу, БАН, 34.4.3 (А.П.6); „Щит веры” краткой редакции 1690 года, БАН, А. П. 8 или П. I. В. 8. Л. 23 и сл. (книга царевича Алексея Петровича); „Щит веры” пространной редакции 1693 года, ГИМ, Синодальное собрание 310/346. Л. 38 и сл., ГПБ, собр. Титова 3245 (сравни также редакции „Щита веры” в Ленинградском отделении Института истории СССР АН СССР (далее — ЛОИИ), К-115-РКП кн. 125; Институт русской литературы АН СССР (далее — ИРЛИ), Отд. пост., оп. 24, № 3).

Извещение от имени патриарха Иоакима о покаянном писании Сильвестра Медведева: в „Остене”, ГИМ, Синодальное собрание 545. Л. 83 и сл., БАН, А.П.6; в „Щите веры” 1693 года, ГИМ, Синодальное собрание 346/310. Л. 226 и сл., ГПБ, собрание Титова 3245.

„Покаянное исповедание бывшего монаха Сильвестра Медведева”: в „Остене”, ГИМ, Синодальное собрание 545. Л. 85 и сл., БАН, А.П.6; в „Щите веры” 1693 г., ГИМ, Синодальное собрание 310/346. Л. 229 об., ГПБ, собрание Титова 3245, ЛОИИ К-115-РКП кн. 125; ИРЛИ, Отд. пост., оп. 24, № 3; в различных сборниках, ГБЛ, ф. 556 (Вифанская духовная семинария), № 37/2369. Л. 439—445, ГПБ, Софийская библиоте-

ка 1481, ГБЛ, ф. 310 (собрание Ундольского), № 478, ЦГАДА, ф. 199 (портфели Миллера), оп. 2, д. 528, ч. 1; № 729, ЦГАДА, Рукописи Московской синодальной типографии, № 228.

Поучительное слово о ереси Медведева для прочтения от имени патриарха Иоакима в Крестовой палате: в указанных списках „Остена” и „Шита веры” 1693 года, а также в отдельных рукописях — ГБЛ, ф. 556 (Вифанская духовная семинария), № 37/2369. Л. 456—480, ГПБ, собрание Толстова, Q.1.334. Л. 1 (с указанием, что оно было прочтено „на соборе всему священному чину всего царствующего града Москвы в лето 7198/1690 месяца ианнуария”), ГПБ, ф. 487, оп. 2, Q.145.

Наконец, в „Шите веры” редакции 1693 года есть статья „Соборное определение о разрешении от ... отлучения Сильвестра Медведева” (ГИМ, Синодальное собрание 310/346. Л. 259 и сл., 452/290; ЦГАДА, Рукописи Московской синодальной типографии, № 228. Л. 494), опубликованная под видом официального церковного документа в „Актах исторических, собранных и изданных Археографической комиссией” (Спб., 1842. Т. 5. С. 337—342).

Поношения Медведеву содержались также в сочинении Гавриила Домецкого о книге „Остен”, вызвавшем резкую критику иеродиакона Чудовского монастыря Дамаскина в первые годы XVIII в. (БАН, А.П.7; ГБЛ, ф. 310, собрание Ундольского, № 424, 1011, 1019).

В пространной редакции „Шита веры” 1693 года помещена, кроме того, полемическая заметка „О творящих раздоры” (ГИМ, Синодальное собрание 310/346. Л. 286; и др. списки) и приведенная нами выше переписка патриархата с Украиной (Л. 87—187), а в списке первоначальной краткой редакции за отсутствием другого „обличительного” материала — совершенно фантастическая повестушка иеродиакона Чудовского монастыря Пимена о том, что при отъезде Медведева из Молчинской пустыни в Москву дракон превеликий вслед его возлетел и дуб могучий сам собой свалился (БАН, 34.4.5/П.1.В.8. Л. 27 об.).

⁴⁹ О слухах при московском дворе подробнее см.: Браудо А. И. Записки Невилля о Московии 1689 г. // Русская старина. 1891. Т. 71. № 9, 11; Давид И. Современное состояние Великой России, или Московии. Публикация А. С. Мыльникова // Вопросы истории. 1968. № 1, 3, 4; сравни: Коялович М. О. Письма и донесения иезуитов в России конца XVII и начала XVIII века. Спб., 1904; и др.

⁵⁰ Об обстоятельствах его ссылки см.: Розыскные дела... Т. 1. Ст. 161—162, 150—151.

⁵¹ ГИМ, Синодальное собрание 452/290. Л. 247—247 об.

- 52 Я х о н т о в И. Иеродиакон Дамаскин, русский полемист XVII века. С. 27.
- 53 Б а р с у к о в Н. П. Житие и Завещание святейшего патриарха московского Иоакима // Общество любителей древней письменности. М., 1897. Т. 47. Опубликованный здесь кодекс (он известен ныне в двух рукописях, ГБЛ, Беляева 29/1535 и ТСЛ-П № 14) включает несколько сочинений двух авторов. Главный из них, новоспасский архимандрит Игнатий Римский-Корсаков, написал неоконченное „житие” предполагавшегося „святого” Иоакима, пространное послание своему другу архиепископу Афанасию о кончине Иоакима и многих событиях междупатриаршества (мы обратимся еще к этому посланию) и завершающие кодекс стихи „Над гробом” почившего патриарха. Секретарем Иоакима Карионом Истоминым написано было „Духовное завещание” патриарха, полное злобных выпадов против иноверцев и всяких ростков свободы вероисповедания в России, а также стихотворные и прозаические эпитафии Иоакиму (сравни черновые и беловые автографы этих сочинений в архиве Истомина: ГИМ, Чудовское собрание 98/300. Л. 311—312; 100/302. Л. 87 Б, 163; 88/290. Л. 139 и сл., 161 об. и сл.).
- 54 Остен. С. 77: ГИМ, Синодальное собрание V. Л. 372 об. — 373; 369. Л. 40—40 об.
- 55 Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Спб., 1888. Т. III. Ст. 1233—1238, 1267—1274 (здесь же и ответы В. В. Голицына). Документы включены в дело о ссылке князей Голицыных с женами и детьми из Яренска в Пустозерский острог на вечное житье.
- 56 Ср.: Б о г д а н о в А. П., С и м о н о в Р. А. Прогностические письма доктора Андреаса Энгельгардта царю Алексею Михайловичу // Естественные научные представления Древней Руси. Счисленные лет. Символика чисел. „Отреченные” книги. Астрология. Минералогия. М., 1988.
- 57 М а н с в е т о в И. Д. Как у нас правились церковные книги в XVII веке. М., 1883. С. 157.
- 58 О судьбе Истомина подробнее см.: Б р а й л о в с к и й С. Н. Один из „пестрых” XVII столетия. Спб., 1902; и др.
- 59 С т р о е в П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. Спб., 1887. Ст. 144, 188, 317; и др.

- ⁶⁰ Полное собрание законов Российской Империи — 1. Т. IV. № 1910; Введенский Н. А. Законодательные акты Петра I. М.—Л., 1945. С. 151.

К главе 5. „ДУХОВНОЕ ВЕДОМСТВО ИМПЕРИИ”

- ¹ См.: Памятники русского права. Вып. 8. Законодательные акты Петра I (первая четверть XVIII века). М., 1961; Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. Сергиев-Посад, 1912. С. 253—255; Флоровский Г. Пути русского богословия. 2-е изд. Париж, 1981. С. 84—89.
- ² Флоровский Г. Пути русского богословия. С. 83—85, 89.
- ³ Там же. С. 91, 96, 97, 99, 100, 103, 106—107, 114.
- ⁴ XVIII век. № 3. М., 1958. С. 50.
- ⁵ Цит. по: Морозов А. М. В. Ломоносов. М., 1950. С. 83.
- ⁶ Ломоносов М. В. Избранные философские произведения. М.—Л., 1950. С. 95, 264, 356—357, 396—397, 431; Он же. Полное собрание сочинений. М.—Л., 1954. Т. 5. С. 65.
- ⁷ XVIII век. № 3. С. 383—386; Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. М.—Л., 1959. Т. 8. С. 117—123, 252, 909—914; Богданов А. П. Естественнонаучные представления в стихах Кариона Истомина // Естественнонаучные представления Древней Руси. М., 1988. С. 265—268; Ливанова Т. Русская музыкальная культура XVIII века в ее связях с литературой, театром и бытом. М., 1952. Т. 1. С. 59, 481—482.
- ⁸ Котович А. Духовная цензура в России (1799—1855 гг.). Спб., 1909. С. 1.
- ⁹ Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. М.—Л., 1960. Т. 9. С. 539; Он же. Избранные философские произведения. С. 653—655, 780—782; Белявский М. Т. М. В. Ломоносов и основание Московского университета. М., 1955. С. 278; Биллярский П. Материалы для биографии Ломоносова. Спб., 1865. С. 418.
- ¹⁰ Пекарский П. История императорской Академии Наук в Петербурге. Спб., 1873. Т. 2. С. 141; Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 9. С. 885; Т. 8. С. 516—519, 1060—1062; Барсов Т. В. О духовной цензуре в России // Христианское чтение. 1901. Т. ССХII. Ч. 1. С. 111—112; Райков Б. Е. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России. 2-е изд. М.—Л., 1947. С. 262 и сл.

Примечания

- ¹¹ Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 616—626.
- ¹² Там же. С. 627—629.
- ¹³ Филарет (Гумилевский). Обзор русской духовной литературы. Спб., 1884. С. 335—336.
- ¹⁴ Цит. по: Ламанский В. И. Ломоносов и Петербургская Академия Наук. Материалы к столетней памяти его: 1765—1865, апреля 4-го // ЧОИДР. 1865. Кн. 1. Отд. IV. С. 59—61.
- ¹⁵ Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 830—836; Т. 10. М.—Л., 1957. С. 350—351, 761.
- ¹⁶ Там же. Т. 8. С. 630, 1072—1082.
- ¹⁷ Там же. С. 658, 1095—1097.
- ¹⁸ Там же. Т. 5. С. 617—618, 769, 1168—1170; Т. 6. С. 387 и сл.; Он же. Избранные философские произведения. С. 257; Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. Спб., 1889. Т. 1. С. 459—460.
- ¹⁹ Евгений (Болховитинов). Словарь русских светских писателей. М., 1838. Т. 1. С. 14; Друг просвещения. 1805. № 3. С. 197; Коган Ю. Я. Очерки по истории русской атеистической мысли XVIII в. М., 1962. С. 250—272.
- ²⁰ Цит. по: Карпов Н. Духовная цензура — душитель атеизма в русской литературе // Русская литература в борьбе с религией. М., 1963. С. 269—270.
- ²¹ См.: Котович А. Духовная цензура в России. Спб., 1909.
- ²² Цитированные далее без ссылок материалы приведены в исследовании: Петров Г. И. Отлучение Льва Толстого от церкви. М., 1978.
- ²³ Кони А. Ф. Воспоминания о писателях. Л., 1965. С. 292.
- ²⁴ Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1973. С. 351—355.
- ²⁵ Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 23. С. 296.
- ²⁶ Там же. Т. 32. С. 297.
- ²⁷ Флоровский Г. Пути русского богословия. С. 417.
- ²⁸ Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 57. С. 16—17.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Аввакум Петров, протопоп, вождь староверов 3, 9, гл. 3
 Августин Блаженный 408
 Авраам, праотец 139
 Авраамий, митр. * рязанский 367
 Агафангел, дьякон Паисия Лигарида 184
 Адам 139
 Адриан Ангелов, быв. троцкий келарь 43
 Адриан, митр. казанский и свияжский; патр. московский 367, 369, 380, 391
 Айгустов Ф., подполк. 356
 Акакий, еп. тверской и кашинский 37
 Александр, еп. вятский 127, 169
 Александр III, имп. 437—438
 Алексей Михайлович, царь 3, 9, гл. 3, 243, 283
 Амвросий Зертис-Коменский, архиеп. московский 409, 429, 430
 Амвросий, еп. переславский 417
 Анания, архиеп. синайский 127
 Анастасия Романова-Юрьева, царица 25
 Андрей Венгерский 59
 Андрианов В., капитан 341
 Аникей Киянский, еретик 58
 Аничков Д. С. 428—431
 Антоний Крылов, м. 82
 Антоний, митр., первоприсутствующий член Синода 440—442, 444
 Антоний Римлянин, св. 304
 Ануфрий Великий, св. 77
 Апраксины 245, 248, 253
 Арий, еретик 139
-
- * В указателе используются следующие сокращения: ап. — апостол; архиеп. — архиепископ; архим. — архимандрит; б. — боярин; быв. — бывший; в. кн. — великий князь; ген.-губ. — генерал-губернатор; еп. — епископ; иером. — иеромонах; имп. — император; кн. — князь; митр. — митрополит; м. — монах; патр. — патриарх; подполк. — подполковник; проф. — профессор; св. — святой; чудотв. — чудотворец.
- Аристарх Самосский 407
 Арсений, архиеп. псковский 127
 Арсений Грек, справщик 141, 186
 Арсений Глухой, м. 82, 111—112, 116
 Арсений, м., келейник Сильвестра Медведева 234, 236, 280, 298, 350—351
 Арсений Суханов 134, 142, 309—310
 Артаксеркс 178
 Артемий Троицкий 3, 8—9, 11, гл. 2, 88, 427
 Афанасий, архиеп. Холмогорский 331, 367, 369—370, 379
 Афанасий, еп. суздальский и тарусский 37
 Афанасий Иоаннов, иеродьякон 315—316, 318, 338, 345, 366
 Афанасий, митр. иконийский 127, 187—190
 Баженов В. И. 395
 Барбюс А. 434
 Барсов А. А. 394, 429
 Башев Г., подполк. 356
 Башкин М. С., еретик 34—36, 39—40, 43, 53—54
 Башмаков И., подполк. 356
 Белободский Ян 305
 Бестужев Я., капитан 341
 Благосветлов Г. Е. 433
 Богданов Я., капитан 341
 Болотников И. И. 70
 Бордатов И., капитан 356
 Борис, еп., член Синода 441
 Борис Федорович Годунов, царь 66—67, 71, 73
 Бородин Н., капитан 356
 Бруно Джордано 413
 Брянецев А. М. 394
 Будный Симон 88
 Бурмистров Л., певчий дьяк 235, 298
 Буслаев П. 399
 Варлаам, архим. донской 417
 Варлаам Хутынский, св. 304
 Варлаам Ясинский, архим. киево-печерский 326, 337
 Варсонофий, казанский чудотв. 162
 Варфоломей, игум. бизюковский 280, 340, 341

Указатель имен

- Василий Великий, св. 16–17, 20–21, 33, 304
Василий III Иванович, в. кн. московский 141
Василий Иванович Шуйский, царь 70–73, 75–76, 116
Васька, иконник 373, 376
Вахрамеев И., дьяк 201
Вельяминов М. А. 115
Венера 412
Верн Жюль 432
Веспасиан, рим. имп. 147
Викентий, архим. троцкий 366
Вилинский С. Г. 40
Висковатый И. М., посольский дьяк 34, 35
Владимир Святой, кн. киевский 6, 221
Владимир, митр., член Синода 441
Владислав, королевич польский 75–76
Возницын П. П., посол 216
Возницын, капитан-лейтенант 397
Волконский-Меринев Ф. И., кн. 71
Волович Е., литовский сановник 60
Вольтер Ф.-М. 434
Гавриил, архиеп. вологодский 367
Гавриил Домецкий 330
Гедеон Криновский, иером.; еп. псковский 409, 422–423
Гедеон Святополк, кн. Четвертинский, митр. киевский 326, 337
Гейне Г. 434
Гельвещий К.-А. 434
Георгий Флоровский, протоиерей 132–135, 389–390, 393
Герасим, патр. антиохийский 114
Гермоген, патр. московский 6, 72–76, 80, 90–91
Герцен А. И. 433
Гетчинсон Г. Н. 433
Гиббенет Н. А. 193
Гладкий Н., пятидесятник 298, 317–318, 352
Гоббс Т. 434
Гоголь Н. В. 432
Голицын А. В., б., кн. 265, 268, 353, 376
Голицын Б. А., кн., кравчий 262–263, 265, 268, 332, 343, 348
Голицын В. В., б., кн. гл. 4
Гордон Патрик, генерал 339, 376
Грановский Т. Н. 433
Григорий Богослов, св. 16, 46, 52
Григорий Кассандр 318
Григорий, митр. никейский 127
Григорий Павлов, быв. поп 373–374
Грушевская Агафья Симеоновна, царица 244–245
Гульский М., служилый иноземец 235, 238, 298
Гурий, казанский чудотворец 162
Гюйгенс 408
Давид Иржи, иезуит 364
Давид, пророк 78, 430
Дамаскин, иеродиакон 367–368
Даниил, архиеп. погонянский 127
Даниил, митр. варнский 127
Данилов М., капитан 236
Дарвин Ч. 433
Дарий, перс. царь 178
Дидро Д. 434
Дильтей, проф. 429
Димитрий Ростовский, св. 318, 326
Дионисий Ареопагит, св. 16, 19, 47, 164
Дионисий, архим. афонский, толмач 163, 219, 227
Дионисий Зобнинский, архим. троцкий 82, 109–117, 225
Дионисий, патр. константинопольский 187, 189, 328–329
Дитерихс И. К. 445–446
Дмитрий Иванович, царь (см. Лжедмитрий I)
Дмитрий Сеченов, еп. рязанский 417, 420
Долгоруковы, кн. 248, 250
Долгоруков В. А., московский ген.-губ. 437
Долгоруков Ю. А., б. 145–146, 249
Домнин Л. А., дьяк 235–236
Дорофей, м. Ниловой пустыни 42
Досифей, патр. иерусалимский 208–209, 292, 365, 379
Ева 139
Евгений Болховитинов, митр. 429, 431
Евфимий Чудовский, справщик 164, 302, 305–306, 308, 319,

Перо и крест

- 324, 330, 333–334, 362, 366, 368, 379
- Евфимий, митр. сарский и подонский 367
- Екатерина II, имп. 431
- Елизавета I Английская 271
- Елизавета Петровна, имп. 406
- Ельчанинов В., полковник 356
- Епифаний, митр. грузинский 127
- Епифаний Славинецкий 183–184, 186
- Епифаний, старOVER 218
- Есипов Г., капитан 341, 357
- Ефрем, быв. игум. воздвиженский 359
- Ефрем Сирин 16
- Ефросин, старOVER 148
- Жаворонков В., капитан 356
- Забелин С. Г. 394
- Заборовский С. И., думный дьяк 283
- Загоскин М. 432
- Зарецкий И., староста упитский 61
- Заруцкий И. М. 78
- Захария Копыстенский 59
- Зевс 408
- Зимин А. А. 259
- Золя Э. 434
- Иаков, еп., член Синода 441
- Ибрагим-паша, наместник Египта 203
- Иван Алексеевич, царь 243, 247, 249–250, 254, 258, 262–263, 304
- Иван III Васильевич, в. кн. московский 141
- Иван IV Васильевич Грозный, царь 3, 6, 8, 15, 17, 25–28, 30–34, 38, 55, 57, 59, 140–141, 145, 162, 222–223
- Иван Калита, в. кн. московский 185
- Ивашка юродивый 346–347, 350, 354
- Игнатий Иевлевич, архим. полоцкого Борисоглебского монастыря 184
- Игнатий Курачов, м. троцкий 43
- Игнатий, м., еретик 58
- Игнатий, патриарх московский 69
- Игнатий Римский-Корсаков, архим. новоспасский; митр. сибирский и тобольский 229, 331, 359, 364–365, 368–369, 379
- Игнатьев Н. П., граф, ген.-адъютант 444
- Иевлев К., живописец 197
- Иероним, архиеп., член Синода 441
- Иларион, архиеп. рязанский гл. 3
- Илья, справщик 119–122
- Ильяш Иона, воевода молдавский 202
- Иннокентий Монастырский 312, 332, 334, 338, 366, 371, 378
- Иоаким Дьякович, еп. сербский 127
- Иоаким, архим. чудовский; патр. московский 3, 166–169, 192, 211, 228, гл. 4
- Иоаким, патр. александрийский 203
- Иоакимф, ризничий патр. Иоакима московского 330
- Иоанн Богослов 19, 322
- Иоанн Дамасков 16
- Иоанн Златоуст 33, 141, 174–175, 304
- Иоанн Лествичник 104
- Иоанн, протопресвитер Успенского собора 368
- Иоанникий, митр., первоприсутствующий член Синода 439
- Иоасаф, архиеп. тверской 127
- Иоасаф Белобаев, м. соловецкий 42, 58
- Иоасаф, митр. московский 27
- Иоасаф, патр. московский 123, 127, 203, 207, 292, 303
- Иов, м., ученик Лихудов 349
- Иов, патр. московский 69
- Иона, быв. игум. троцкий 42–43
- Иона, митр. ростовский и ярославский 127
- Иона, митр. крутицкий 111
- Иона, м., еретик 58
- Иосиф, архиеп. астраханский 127, 190, 212
- Иосиф, архиеп. коломенский 331
- Иосиф, архим. александрийский 116
- Иосиф, архим. новоспасский 193
- Иосиф Волоцкий 17, 41

Указатель имен

- Иосиф, казначей нижегородского
Благовещенского монастыря
366
- Исаак Сириянин 16
- Истомин Иван, подьячий 238, 375
- Истомин Карион (см. Карион Ис-
томин)
- Ирод иудейский, царь 52
- Иуда, ап. 119
- Казанец И. Ф., подьячий 285
- Казанец С. Ф., подьячий 285
- Казанец Ф., подьячий 285
- Каймакан-паша, великий визирь
202
- Калитин И. У., дьяк 163
- Кальвин 88
- Кантемир А. Д., кн. 402
- Каптерев Н. Ф. 131–132, 134, 174,
181, 220, 434
- Карион Истомин 238, 265, 269,
307, 316, 331, 379, 403–404
- Касьян, еп. рязанский и муром-
ский 37, 54, 58
- Каштанов С. М. 27
- Кеплер 408
- Кершенс, проф. 429
- Киприан, митр. киевский и всея
Руси 304
- Кирилл Транквиллион 115
- Клеант 408
- Климонтов И., подполк. 356
- Козьма, митр. амазийский 127
- Колупаев М., оклейщик 197
- Коменский Ян Амос 104
- Кони А. Ф. 436
- Коперник 408
- Короленко В. Г. 433
- Корнилий, игум. Псково-Печерско-
го монастыря 15, 16
- Косой 107–108
- Косой М. А., пятидесятник 237
- Костров Е. И. 394
- Крашенинников С. П. 395
- Куракины, кн. 248
- Куракин Б. И. 259, 262
- Курбский А. М., кн. 15, 34, 37, 40,
42, 59–60
- Курицын Федор, еретик 43
- Лаврентий, врач 377
- Лаврентий Зизаний 115
- Лаврентий, игум. корнильевский
43
- Лаврентий, митр. казанский 127
- Лаврентьев Д., стрелец 346
- Лаврентьев И., наборщик 213
- Лазарь Баранович, еп., затем архи-
еп. черниговский и новгород-
северский, местоблюститель
киевской митрополии 127, 326,
338
- Лазарь, библейский персонаж 139
- Лазарь, старовер 169, 218, 224
- Лангер, проф. 429
- Лафонтен 425
- Лейбов Б. 397
- Леонтий, иеродиакон бизюков-
ский 341
- Леонтий, келейник Артемия Тро-
ицкого 36–37, 39
- Лесков Н. С. 433
- Лжедмитрий I 67–69, 72–73, 298,
372
- Лихачевы, дворяне 245, 248, 253
- Лихуды Иоанникий и Софроний
301–302, 305–308, 310, 312,
315, 318, 324–325, 330, 359,
362, 379
- Логин Корова, головщик троиц-
кий 109–111, 113, 116
- Ломоносов М. В. 10–11, 395, гл. 5
(„Борода — глазам замена!“)
- Лопухин П. А., б. 348
- Лука, евангелист 139, 322
- Лукреций Кар 430
- Лукьянов С. Н., обер-прокурор
Синода 451
- Лысенко Т. Д. 304
- Лютер М. 88
- Магницкий Л. Ф. 395
- Мазепа И. С., гетман 235, 312, 325,
332, 353, 355
- Макарий, митр. московский 35,
53–54, 222–223
- Макарий, митр., историк церкви
128, 437
- Макарий, патр. антиохийский гл. 3,
291, 303
- Максим Грек 16, 26–27, 36, 43,
161, 223, 228
- Максим Исповедник 16
- Манассия 54
- Мария Ильинична, в девичестве Ми-
лославская, царица 157, 195
- Маркелл, еп., член Синода 441

Перо и крест

- Маркелл, митр. псковский 338, 365
Маркелл, ризничий троицкий 111, 113
Марковна, жена Аввакума Петрова 158
Марс 408
Марфа Ивановна, жена Филарета Никитича Романова, великая старица 111
Масса Исаак, нидерландский резидент 68
Матвеев А. С., стрелецкий полковник; б. 195, 213, 248–250, 253, 265, 288
Матфей, евангелист 322
Медведев А. Л. 282
Медведев Б. А. 238, 282
Медведев К. А., подьячий 238
Медведев К. А. 282
Медведев С. А. (см. Сильвестр Медведев)
Медведева Д. А. 235, 282
Медведева Е. А. 282
Медведева М. А. 282
Медведева С. 282
Мелетий Антиохийский, св. 161
Мелетий, иеродиакон, грек 186–188, 190–191, 212
Мелхиседек 138, 165
Мельников-Печерский П. И. 432–433
Менделеев Д. И. 433
Мефодий, еп. мстиславский, местоблеститель киевский митрополит 127
Мефодий, патр. константинопольский 203
Мехмет II Фатих, османский султан 151
Мечников И. И. 433
Милославские, б. 249, 262
Милославский И. М. 244, 248, 250, 253
Минин К. 76
Мисаил, еп. коломенский 127
Михаил Архангел 334
Михаил Федорович Романов, царь 80, 84–85, 100
Мнишек Марина, царица 69
Моисей, быв. уставщик чудовский 362
Моисей, пророк 430
Муромцев И., доносчик 342
Нарышкины 248, 250, 268
Нарышкина Наталия Кирилловна, царица 233, 243, 250, 253, 259–260, 262–263, 265, 344, 354, 374
Нарышкин И. К., б. 249
Нарышкин Л. К., б. 262, 332, 343–344
Наседка Иван, священник 82, 110
Некрасов Н. А. 433
Нектарий, архиеп. погонянский 183
Нектарий, быв. игум. ферапонтовский 41–42
Нектарий, патр. иерусалимский 189, 203, 206–208
Нектарий, чудотворец 346
Нелидов, капитан 356
Неплюев Л. Р., б. 331, 348
Непоставов А., капитан 235
Нептун 408
Нестеров А., посол 201
Нечаев И. К., полковник 234
Никандр, архиеп. ростовский и ярославский 37
Никанор, архиеп. херсонский 438
Никита Пустосвят, старover 304
Никодим Будков, м. 44
Николай I, имп. 437
Николай II, имп. 440
Никола Чудотворец Мирликийский 139
Никон, архим. донской 236–237
Никон (Никита Минов), патр. московский 6, 123, гл. 3, 329
Нил Сорский 16, 19, 346
Новиков Н. И. 397, 431
Новоселов М. А. 437
Ньютон И. 408
Оболенский М., кн. 60
Одоевские, б. 248, 252–253
Одоевский Я. Н., б., кн. 136, 190
Олин В. О. 428
Оловянников П. Ф., дьяк 255
Ольга, княгиня, св. 269
Ордин-Нащокин А. Л., б. 202, 242, 285–286, 288
Отрепьев Григорий (см. Лжедмитрий I)
Охотницкий Г., капитан 356
Павел, ап. 22, 45, 93, 163, 196

Указатель имен

- Павел, архидьякон патр. Макария антиохийского 212—213
Павел, митр. нижегородский и алатырский 367
Павел, митр. сарский и подонский гл. 3
Павел Пономарев, архиеп. тверской и ярославский 395
Паисий Лигарид, быв. митр. газский гл. 3, 291, 387
Паисий, патр. александрийский гл. 3, 291, 303
Паисий Сийский, казначей патр. московского 349
Панагиот, переводчик Оттоманской Порты 202, 210
Парфений, архиерей фивский 183
Парфений, патр. константинопольский 202
Пасынков И., капитан 356
Пахомий, архиеп. астраханский 81
Петр Алексеев, протоиерей Архангельского собора 395, 429
Петр I Алексеевич, царь, имп. 6, 10, 141, гл. 4, гл. 5 („Регламент”), 452
Петр, ап. 77, 97
Петр Могила, митр. киевский 308
Петров В. П. 394
Петроний 430
Пимен, архиеп. новгородский и псковский 57
Питирим, еп. тамбовский 367
Питирим, митр. новгородский 127, 192
Победоносцев К. П., обер-прокурор Синода 438—444, 450
Погодин М. П. 432
Подольский Антоний, подьячий 3, 9, гл. 2
Пожарский Д. М., кн. 76
Полоцкий Симеон гл. 4
Поп П. 409, 429
Поповский Н. Н. 394, 409
Порфирий Малый, м., ученик Артемия Троицкого 27, 36, 44, 58
Прозоровский А. А. 361
Прокופович Феофан гл. 5 („Регламент”)
Прометей 407
Пульхерия, имп. византийская 271
Пушкин А. С. 384
Пятин И., капитан 356
Радищев А. Н. 432
Радул, кн. мултянский 202
Разин С. Т. 146, 241, 249, 377
Разумовский К. Г. 419
Рейхель, проф. 429—430
Репский Василий, певчий 285
Родичев Д., капитан 234
Розенбуш Бутенант фон, датский резидент 246
Романовы, б. 34, 233
Рост, проф. 429
Рострига (см. Лжедмитрий I)
Ртищева А. М., кн. 166
Рукавой, еретик 44
Рулье К. Ф. 433
Савва Долгий, поп, в монастырстве Симеон 318, 361, 365—367, 369
Савва, еп. сарский и подонский 37
Савва, кельарь чудовский 189—190
Савва Шах, м., нестяжатель 37, 58
Салтыков-Щедрин М. Е. 433
Самсон 430
Самуил 176
Сапогов Ф., капитан 342, 345
Семен, нижегородец, поделщик 197—198
Семирамида 271
Сервет 88
Сергий, игум. Печатного двора 349, 362
Сергий Радонежский, св. 271
Сеченов И. М. 432
Сигизмунд, король польский 75
Силин Дмитрий, волхв 374—375, 377
Сильвестр Кулябка, архиеп. петербургский 417
Сильвестр (Семен Агафонникович) Медведев 3, 10, гл. 4
Сильвестр, протопоп Благовещенского собора 17, 25—27, 31, 33—35
Симеон, игум. кирилло-белозерский 43—44
Симеон, поп Благовещенского собора 26—27, 35
Симеон, архиеп. вологодский 127, 175
Симон Будный 60—61
Симон, врач 377

- Симон Тодорский 395
 Слезкин, начальник Московского
 жандармского управления 437
 Смирдин А. 428
 Софья Алексеевна, царевна, в мо-
 нашестве Сусанна гл. 4
 Стефан, архиеп. суздальский 127,
 175
 Стефан, грек 189—190
 Стефан, библиограф 48
 Стефан Яворский 395
 Столыпин П. А., председатель Со-
 вета министров 451
 Стрешневы, б. 248
 Стрешнев С. Л. 186
 Стрешнев Т. Н. 238, 341, 356
 Стрижев А., стрелец 298, 373, 376
 Струсь, полковник 113
 Суханов (см. Арсений Суханов)
 Сухарев М., подполк. 356
 Сырокозин Марк, ученик Артемия
 Троицкого 59
 Сянушев Ф., плотник 197
 Тауберт, академик 419
 Тимирязев К. А. 433
 Тит, имп. римский 147
 Тихон, м. Ниловой пустыни 42
 Тихонравов Н. С. 428
 Толстой Л. Н. гл. 5 (Отлучение)
 Толстая С. А. 444—445
 Тредьяковский В. К. 394, 406, 420
 Троекуров И. Б., б., кн. 341
 Туркин И., приказчик 214
 Украинцев Е. И., думный дьяк 255
 Успенский Гл. 433
 Федор Алексеевич, царь 129, 151,
 245, 247, 250, 269, 274, 284,
 292, 294—295, 300, 306, 330, 376
 Федор Борисович Годунов, царь
 67
 Федор Иванович, царь 243
 Федор, дьякон, старover 154, 165—
 166, 169, 304
 Феодорит Блаженный 161
 Феодорит, архиеп. рязанский 78—
 79
 Феодорит Соловецкий, блаж. игу-
 мен суздальского Спасо-Евфи-
 мьевского монастыря 17, 27, 42
 Феодосий, еп. коломенский и ка-
 ширский 37
 Феодосий Сафонович 326
 Феодосий Косой, еретик 16, 51,
 58—59, 61
 Феодосий, митр. белгородский 127
 Феодосий, быв. митр. сербский
 180
 Феогност, митр., член Синода 441
 Феофан, патр. иерусалимский 113—
 114, 117
 Феофан, уставщик троицкий 109—
 110
 Фенелон Ф. 423
 Филарет, архиеп. смоленский 127
 Филарет Гумилевский, еп. харь-
 ковский, историк церкви 415
 Филарет, митр. нижегородский 331
 Филарет, патр. московский 3, 80—
 82, 85, 87—88, 97—100, 103, 109,
 113—117, 123, 138, 141
 Филатов Иван, живописец 197
 Филипп Колычев, архим. соловец-
 кий; св., митр. московский 6,
 56, 58—59, 162, 223
 Филофей, митр. трапезундский
 127, 191
 Фламмарион К. 433
 Флобер Г. 434
 Фонтенель Б. 402, 408
 Франс А. 434
 Хворостинин-Старков И. А., в мо-
 нашестве Иосиф, кн. 3, 9, гл. 2,
 103, 112
 Химера 412
 Хитрово А. И., воевода курский
 238
 Хованские, кн. 264, 268
 Хованский А. И., б. 257
 Хованский И. А., б. 256—257
 Хованский И. И., спальник 257
 Христофор, архим. греческий 185
 Христофор Старый, м. Ниловой
 пустыни 42
 Чебышев П. П., бригадир, обер-
 прокурор Синода 430—431
 Черкасские, кн., б. 253
 Чехович 88
 Чехов А. П. 433
 Чичагов А., подполк. 356
 Шаден, проф. 429
 Шакловитый Ф. Л. 233, гл. 4
 Шаховской С. И., кн. 80, 82
 Шевченко Т. Г. 433
 Шереметевы, б. 253

Указатель имен

- Шереметев Б. П. 238
Шорин Иван, гость 214
Шувалов И. И. 406, 409, 426
Шумахер И. Д., академик 407,
419—420
Эпикур 430
Юдин Б., подполк. 356
- Юрий II, кн. слущкий и копыль-
ский 59
Яблонский, дьякон дворцовой
церкви 237
Языковы, дворяне 245, 248, 253
Якоби П. 433
Яценков, цензор 428

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	5
Глава 1	
„Молчи, отче!“	13
Глава 2	
Жертвы смуты	63
Глава 3	
Раскольники	125
Глава 4	
Разум против власти	231
Государственный преступник № 2	232
Заговор	240
Заговорщик	267
Беглец	280
За право рассуждать	300
Расправа	339
Глава 5	
Духовное ведомство империи	383
Регламент	384
„Борода — глазам замена!“	398
Отлучение	435
Эпилог	452
Примечания	454
Указатель имен	472

Перо и крест

События, о которых рассказывает эта книга, произошли 400, 300, 200 лет назад, хотя временами кажется, что это было только вчера. За что мощная идеологическая организация, имеющая политическую власть, столь жестоко и несправедливо судила верующих писателей, готова самой себе драматическую участь?

